



ДЕНЬ

ЛИТЕРАТУРЫ

1982

19

ЕНЬ

ПОЭЗИИ

**ДЕНЬ
ПОЭЗИИ
1982**

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1982

Р е д к о л л е г и я:

*Владимир Соколов — главный редактор;
Лев Аннинский, Эдуард Балашов, Олег
Дмитриев, Евгений Евтушенко, Егор Исеев,
Вадим Кожин, Надежда Кондакова (состави-
тель), Анатолий Парпара (составитель), Юрий
Поляков, Валентин Сидоров, Евгений Храмов
(зам. главного редактора), Владимир Цыбин.*

Х у д о ж н и к Александр Лаврентьев

*В оформлении обложки использован рисунок декоративной ткани, вы-
полненный художником Варварой Степановой в 1924 году.*

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1982

М., «Советский писатель», 1982, 176 стр.
План выпуска 1982 г. № 162

Редактор В. С. Фогельсон
Худож. редактор Д. С. Мухин
Техн. редактор Т. С. Казовская
Корректоры: Б. Ш. Котт и А. В. Му-
равьева

В семье вольной, новой...

Михаил Львов

СССР

Лежат снега,
торжественно белая,
Бросая в сердце
свет свой,
как алмаз.

Не только в дни
большого юбилея
Звенит струна
восторженности в нас.

Заглядывая
в будущность
далеко,

Великие
и властные
умы

Мою Страну
задумали высоко,

И потому —
высокие и мы.

Союзом Силы,
Смелости
и Разума

Замыслена
Страна СССР.

Слияньем Солнца,
Синевы
и Радуги —

Народам мира —
знамя и пример.

Название это
выдохнулось радостно,

Произнеслось
счастливо и светло:

Союз — Совет —
Согласие
и Равенство! —

И сразу же
бессмертье обрело.

И пусть
в канун торжественного форума
В честь Юбилея
вечных братских уз
Наследием
великих наших муз
Звучит в душе
классическая формула:
— Друзья мои!
Прекрасен наш Союз!

СЕМЬЯ

Сестра моей матери
тетя Гаян
В тридцатых уехала
в Таджикистан.
С тех пор и живет
в Душанбе постоянно.
Хотя и не сыпалась
с неба

ей манна,
Но — выросли дети,
в тепле и заботе.

Погиб ее сын
в Сорок третьем во флоте.

А дочери
замуж
все повыходили.

Ей
внуков и внучек
давно народили.

Красавица внучка
таджичка Рано
(Каких я не видывал даже в кино)
Родным разливает
с улыбкой вино...

Их всех
не вместить в помещенье одно.

Они — в Душанбе,
и в Уфе,
и в Москве!
Почти все народности
с нею
в родстве!

Шоферы,
певцы,
офицеры —
зятья.

И — ахал
и думал
восторженно
я:
— Вот это — Родня!
Да, вот это — Семья!

Когда я, прощаясь,
родных обнимал —
Сжимал
— во плоти! —
интернационал!

Тенденций
к «суженью» родни —
незаметно —
Здесь все человеческое —
незапретно,
Влюбляются
вовремя,
не безответно,
И любят —
по высшей шкале —
беззаветно.

А это —
опять! —
не проходит бесследно,
И — новые семьи
растут
не бездетно.

Пишу эти строки
почти как анкету —
Что к Факту такому
добавить
поэту?

Я вижу:
и я,
и родные мои —
Единые дети
огромной Семьи,
И небо
над нашей Семьей —
необъятно!

И солнце
над нашей Землей —
незакатно!

ВETERАНЫ

Это было в Севастополе.
...Батарея моряков —
И — не на море, а во поле —
Перед носом у врагов.
Штаб звонил сюда сначала,
Все на карте отмечал.
...Батарея
замолчала.

Телефон
не отвечал.
Голос вдруг —
сквозь тяжесть страшную:
— Извините, —
говорит, —
Отлучались...
врукопашную...
Все в порядке,
враг отбит.

В жизнь придешь
и в землю ляжешь
Или будешь жить века —
Гениальнее
не скажешь
Черноморца-моряка.

Строк сто тысяч
в рифму «свяжешь»,
Углубляя мастерство, —
Гениальнее
не скажешь
Севастопольца того...

Прерывая
человеческую
Жизнь свою —
всего одну,
Отлучались
на Отечественную
Величайшую Войну.
Возвратились
из отлучки —
Рукопашной.
Штыковой.
...Внуки выросли
и внучки.

Ходят
с гордой головой.
Вы — на пенсии...
Вы — деды,

А не можете
никак
Отлучиться
от Победы.
С ней остаться Вам
в Веках!

Гулрухсор Сафиева

ПЕСНЯ О РОДИНЕ

Клянусь родниками родного села,—
Вода в них на слезы похожа,—
Клянусь всеми звездами,
Что собрала
И в грусти рассыпала все же,

Клянусь, не копить мне богатства в
мечтах,

Одним лишь владею свободно:
То, Родина, правда твоя на устах,
Любовь твоя — свет путеводный.

И пусть злопыхателю видеть невмочь
Сиянье твое,
Все равно я
Твержу: не смогла бы и темная ночь
Тебя очернить предо мною.

Несешь сто холмов —
Сто могил сыновей,
Их звезды на землю упали,
Чтоб всюду в стозвучной эпохе своей
Мы правду твою отстаивали.

И голос над миром разносится твой,
И слово звучит твое свято.
О Родина,
Это в тебе мой покой,
Тобой я сильна и крылата.

Мой разум и высь моя,
Дальность дорог,
Мать, ближе которой не знаю,
И первый мой крик,
И последний мой вздох,
Мой бог, моя вера земная —
Ты, Родина,
Родина,
Родина!

*Перевела с таджикского
Татьяна Кузовлева*

Пимен Панченко

ДЕКАБРЬ

От Двины до Припяти — бѣло, бѣло.
От Днепра до Немана — снег и снег.
Празднество полозьями утром закрипело.
Тысячи автобусов начали свой бег.

Здравствуйте, соседи!

Будем век друзьями.

Здравствуйте, соседи!

Зимний белый свет.

Всех собрала Родина нас в семью, под знамя,
Даже тех отважных, тех, кого уж нет.
Сосчитать фамилии братьев не берусь я.

Каждая республика — в собственной красе.
А на обелисках нашей Беларуси,
На курганах братских мы найдем их все.
Славлю дружбу вечную,

славлю службу верную,
С кем в страду военную не щадили сил,
Доброту сердечную.

память незабвенную,
Всех родил Октябрь нас,
а Декабрь сроднил.

*Перевел с белорусского
Дмитрий Козалев*

Джубан Мулдагалиев

НАВЕКИ ВМЕСТЕ

На землях,
Хлебом и строкой богатых,
На ширях,
В космос шлющих корабли,
Любовь к народу русскому как к брату
Мы из глубин былого донесли.

От ураганов степь дрожала прежде.
Но, горькие печали затая,
К России в вековой своей надежде
Тянулись казахстанские края.

В пути и дружба эта и соседство
Проверены — любым врагам на страх.
Недаром меч к мечу,
А сердце к сердцу
Идут по жизни русский и казах.

В России был рожден великий Ленин.
Народ-герой!
Родство с тобой крепя,
Мы за Октябрь и годы обновлений
От всей души благодарим тебя.

В делах своих широк ты по размаху.
А кто о том забудет хоть на час:
Язык твой все края открыл казахам —
И всем краям открыл при этом нас.

Историю твоя в дороге длинной,
Идешь ты, в будущем наметив цель.
Взгляни,
Под стать тебе мы, исполину,
По широте поступков и земель!

Огонь и воду, дни жары и стыни
Пройдя плечом к плечу,
К руке рука,
Во всех свершеньях мы с тобой и ныне,
И завтра, и в грядущие века.

*Перевел с казахского
Вл. Савельев*

Виталий Коротич

СТИХИ ДЛЯ ДАВИДА ГУРАМИШВИЛИ

Туда, где он,—
придем мы, как один:
солдаты, хлеборобы и поэты...
Но он — еще остался добрым светом,
искращимся, как свет его седин.
Он — глубоко, он — дома, он — умолк
в земле, где все встречаются когда-то...
Осталась вечность —

ни доски, ни даты,
лишь небо — как хоругвей вечный шелк.
Запомним.

Это все его земля.
Здесь Грузия вболела в Украйну.
Соединились, светятся, не стынут —
для жизни и стихов — его поля.
Поэт мой, о Давид мой, это все:
вся жизнь твоя и все твои глаголы.
И ласточка на крыльях принесет
полтавской пыли на родное поле,
в Кахетию, где стебельком травы,
крылом жука, мерцаьем звезд незрячих,
стихом, что на устах ребенка плачет,
воскреснете — уже навеки — Вы.

*Перевел с украинского
В. Кухалашвили*

Юстинас Марцинкявичюс

ЗА НЕМАНОМ

Небо за Неман льется,
за Неманом — на закате —
люди идут от колодца,
полны земной благодати.

Идут через тихий воздух
по яркому дальнему свету,

будто идут по мосту
с той стороны на эту.

Идут, полны сокровенной
счастливой вечерней истомой,
в тишине — во вселенной
ласковой и бездонной.

Небо за Неман льется,
за Неманом — на закате —
люди идут от колодца,
поют о земной благодати,

и гимн, доносимый оттуда, —
как мост, нескончаем и вечен,
как жизни краткое чудо,
как тихий огромный вечер.

*Перевел с литовского
Георгий Ефремов*

Аалы Токомбаев

* * *

Кто выдумал злую химеру —
В припадке бредовых идей —
О том, что кончается эра,
Прекрасная эра людей?

Что мы уж не люди — другое,
Которому имени нет.
И я не узнаю покоя,
Пока не постигну ответ.

Не скептик — таинственный трагик
Меня вызывает на спор.
Легко отмахнуться: «Все — враки!»
И кончить на том разговор.

Но — нет! Все не так-то и просто
И даже куда как всерьез...
Планеты обугленный остов
В безмолвье космических грез —

Тупого безумства виденье
Явилось мне в дар или в месть?
...Эпохи тревожное зренье
Приемлю, как высшую честь.

Мой друг, неизбывною верой
Ты в строгое время владей:
Вовеки не кончится эра,
Прекрасная эра людей.

*Перевел с киргизского
В. Коркин*

МЫ И МИР

Говорят, высокоразвитое воображение для поэзии такое же необходимое условие, как для гидротурбины сила и папор потока. Чем они больше — тем мощнее энергия. Но сомневаюсь, что даже при воображении высших кондиций можно представить все последствия ядерной войны, к порогу которой суматошно и грубо подталкивает человечество «команда Рейгана». И логика ее похожа на автомобиль, пытающийся двигаться кверху колесами: проповедует защиту «прав человека» и нянчит на груди своей зверские по действиям и самые ничтожные по интеллекту диктатуры, декларирует «борьбу с терроризмом» якобы в интересах спокойной жизни для человечества и терроризирует всеми способами другие государства в поощрение гонки вооружений, которая грозит гибелью тому же самому человечеству. В истории было немало лжи, обмана, грубого межгосударственного шантажа, авантюризма, но такого их совмещения в едином времени и в одном эшелоне власти еще не встречалось. Достойный пресловутой книги Гиннеса рекорд срастания государственного тартюфизма с международным гангстеризмом!

В результате мир, жизнь в условиях и без того противоречивой цивилизации начинают походить на дерево, которое содрогается под ударами топора. Именно поэтому миллионы людей, отодвигая в сторону различие убеждений и свои предрассудки, бесконечными реками демонстраций текут по городам Западной Европы и другим регионам, требуют положить конец самоубийственной гонке вооружений, возвышают голос на митингах, призывая направить объединенные усилия на создание климата взаимопонимания и добрососедства. Время дискуссий на эту тему истекло — наступило время действий.

Это и есть борьба за мир.

Надо ли убеждать советских писателей в необходимости принимать в ней участие? Думаю, что нет, — такая позиция, разумная и гуманистическая, в самой природе нашей литературы, нашей народной жизни, советской нравственности и морали. Надо ли выходить на демонстрации, как на Западе, чтобы требовать от правительства мирных инициатив? Это значило бы ломиться в открытую дверь — всем на земле,

кто этим интересуется, известно, что наша партия, наше правительство сделали и делают максимум возможного для разрядки, мира, сотрудничества. Мы с трибуны нашего съезда единогласно одобрили эту политику и обратились ко всем литераторам всех континентов с призывом к совместным действиям на этом пути.

Как же нам повседневно вносить свою долю усилий в общее дело, столь необходимое и неотложное?

Давайте вспомним опыт наших знаменитых предшественников — Александра Фадеева, Николая Тихонова, Ильи Эренбурга, Александра Корнейчука, Мирзо Турсун-заде, Гафура Гуляма и многих других — они выступали в защиту мира с международных трибун, в прессе, по радио. Наши поэты создавали песни, которые обходили все материки, стихи, которые становились высокими ориентирами для поэтов других стран. Даже Анна Ахматова, поэт особой судьбы и сугубо лирического таланта, в трудные годы испытаний народных писала накаленные по силе чувства патриотически-гражданственные стихи. Сегодня на вахте — все мы.

Оружие наше известно — перо и слово. И вероятно, учитывая веление времени, каждому не вредно присмотреться — не ржавеет ли оно? Всегда ли по назначению употребляется? В последнее время поэзию нашу не раз упрекали за сентиментальные банальности, мелочное «душеустройство», лирицизм при падающем накале гражданственности, с которым связаны высшие успехи дореволюционной и советской классики. Может быть, есть резон основательно подумать над этим вместе с нашей критикой? Поэзия, если она претендует на мудрость и человечность, должна вбирать в себя всю жизнь, в том числе и в первую очередь жгучие проблемы, а бедность и обуженность содержания ведет к обеднению и обужению таланта, выпадению его из исторического бытия.

Таким образом, наша борьба за мир во всех доступных формах — это человеческая отзывчивость на чаяния и нужды человеческие, борьба за жизнь на земле для себя, детей и внуков, за высокие идеалы, завещанные нам блистательными предшественниками, наконец, за многогранность, полноту, жизнеспособность самого нашего творчества.

Говорили мы об этом достаточно — будем действовать!

Евгений Евтушенко

ИЗ ПОЭМЫ «МАМА И НЕЙТРОННАЯ
БОМБА»

Моя мама была комсомолочкой
в красной косынке
и кожаной куртке.
Теперь этой курткой,
облупленной,
в трещинах и морщинах,
мать иногда
закутывает кастрюлю,
в которой томится картошка
или пшенная каша,
и от дыханья кастрюли кожанка становится
теплой,
словно от юного тела мамы,
потерянного кожанкой,
так и не обожженной в огне мировых революций,
и не пробитой пулями
ни на каких баррикадах.
Но есть на кожанке дырка,
похожая на пулевую,
от ввинченного когда-то,
но вывинченного затем
значка,
на котором горели
четыре буквы:
«МОПР».
Я принадлежу к поколению,
которое еще помнит,
что это обозначает...
Напомню и вам,
подростки семидесятых,
меняющие воспаленно
значок «Роллинг Стоунз» на «Абба»
и «Абба» — на «Элтон Джон»...
МОПР —
Международная организация помощи
борцам революции.
Я успел поиграть этим значком,
когда его перестала носить моя мама.
Что было на этом значке?
Я, кажется, помню:
Решетка тюремная.
Руки, вцепившиеся в нее.
Руки,
ломающие решетку?
Или решетка,
ломающая руки?
МОПР —
у этого слова
запах той старой кожанки.
Моей маме —
Зинаиде Ермолаевне Евтушенко —
семьдесят два года.

Мама вышла на пенсию,¹
но продолжает работать
и только поэтому не умирает.
Мама продает газеты в киоске
у Рижского вокзала,
и ее окружает собственный маленький мир,
где мясник интересуется
еженедельником «Футбол — хоккей»,
зеленщик —
журналом «Америка»,
а продавщица молочного магазина —
журналом «Здоровье».
Эти благодарные читатели
оставляют для мамы
в своих магазинах
то мороженую курицу —
соотечественницу Мопассана,
то уважительно завернутый
целый килограмм сыра,
соотечественника Майи Лассила,
кстати говоря, прекрасно переведенного Ми-
хаилом Зощенко.
Поэтому мама,
как знатная леди социализма,
говорит: «Мой мясник»,
«Мой зеленщик»,
«Моя молочница» —
и с гордостью чувствует,
что от нее зависят
люди,
от которых зависит она.
Мама также продает значки
с Гагариным,
с олимпийским мишкой.
Внучка моей мамы,
дочка моей сестры,
пятнадцатилетняя Маша,
с мозолями на подушечках пальцев
от фортепианных гамм,
на майке,
уже приподнимающейся в двух,
отведенных природой для приподниманья,
местах,
носит значок «Иисус Христос суперстар».
Но этот значок
не из маминого киоска.

* * *

Мама
выиграла
Отечественную войну.
И танки, в бой уходя,
на броне увозили
серебристые блески
и увезли ее голос,
с концертного платья мамы
пропавший без вести на войне.

После войны моя мама
пела в фойе кинотеатра «Форум»,
рядом с буфетом,
где победители Гитлера пили пиво,
обнимая девчонок в прическах под юную
Дину Дурбин,
не слушая сорванный голос
худой некрасивой певицы
и даже не подозревая,
что и она — победитель.
Мы молча брели из «Форума»
в наш дом на Четвертой Мещанской,
и концертное платье мамы,
отдавшее танкам все блески,
по асфальту шурша, зацепилось
за лежащий совсем одиноко
лейтенантский погон,
на котором
чуть блестели три звездочки.
Больше
не блестело вокруг ничего.
Дома

мама
сняла свой парик морковного цвета,
и ее голова,
обритая после тифа,
стала совсем беззащитной,
как голова молоденького солдата,
когда он снимает свою ненадежную каску.
И я зашептал,
глотаю сухие слезы позора:

«Мама,
ты больше не будешь петь!»
И мама заплакала,
но послушалась.

Мама
выиграла Отечественную войну
и проиграла
свой голос.

* * *

Мама стала работать в Мосгорэстраде
администратором детского отдела,
волоча на себе меня
и сестренку,
брошенную моим отчимом
сразу после ее нежелательного появления
в мире,
наверное, состоящем
наполовину из детей «нон-грата».
Мама брала домой работу «налево»
и переписывала рапортички,
где проставляла фамилии авторов
исполняемых произведений,
после чего
на их сберегательные книжки
капали деньги.

Единственная сберкнижка мамы
была коробка из-под леденцов,
где очень редко соприкасались
деньги

с медалями Отечественной войны.
Покачивая кровать сестренки
носком ботинка,
разбитого вдрызг
на пустырях о консервные банки,
и слушая хриплую скороговорку
Вадима Синявского

с берегов
весьма туманного Альбиона,
где Бобров прорывался к воротам «Челси»,
я переписывал эти треклятые рапортички
и добросовестно увеличивал вклады
Блантера,

Соловьева-Седого,
Фатьянова,
Цезаря Солодаря,
а после фамилии Дунаевский,
так часто встречавшейся,

что темнело
в глазах от усталости,
ставил «И. Дун».

Из-за этого у меня
навсегда испортился почерк.
Но когда попадалась фамилия «Шостакович»,
я почему-то старался
ее выводить
по крупней.

Иногда,
почти засыпая
от переписывания чужих фамилий,
где-нибудь между «Матрешкин» и «Тренкин»
я ставил свое,

никому не известное имя,
а спохватившись,
зачеркивал...

К маме приходили гости —
елочные Деды Морозы,
из красных шуб доставая
черноголовую водку,
и пожилые Снегурочки,
одна из которых была
второй или третьей женой
полузабытого имажиниста,
чье имя «Вадим Шершеневич»
я не встречал в рапортичках.

Женщина-каучук,
уставшая быть змеей,
превращалась в домашнего котенка
и, свернувшись калачиком в кресле,
вязала моей сестренке пинетки,
а Змей Горыныч, по прозвищу Миля,
расчерчивал пульку для преферанса
и очень старался проигрывать маме,
потому что он знал, какая у мамы зарплата.

Красная Шапочка жаловалась
 на фронтовые раны,
 а сорокалетняя крошечная травести
 с глазами непойманного мальчишки,
 хлопоча у плиты,
 умело скрывала от мамы,
 что меня после школы
 она обучает любви
 в своей чистенькой комнатке
 на Красносельской,
 где над свежими сахарными подушками
 ее фотография
 в роли сына полка...
 Мама крутила
 начинку для пельменей
 из мяса,
 принесенного Серым Волком.
 Баба Яга толкла в ступке грецкие орехи
 для сациви.
 Василиса Прекрасная
 мечтательно делала фаршированную рыбу,
 а однажды зафаршировала
 свою упавшую бирюзовую сережку.
 А одна жонглерша —
 по происхождению китайка —
 делала что-то
 из чего-то,
 не похожего ни на что,
 и все это вместе ставилось
 на общую скатерть.
 Это было
 как международные съезды
 пролетарната елок,
 работающего для детей,
 включая детей «нон-грата»...
 Снегурочки поумирали от инфарктов
 и тромбозов,
 но и после смерти
 они не могли без детей
 и, наверно, показывая ангелам
 Почетные грамоты Мосэстрады,
 все-таки добивались работы
 в детском отделе неба.
 И мне кажется —
 где-нибудь в мирозданье
 мертвые Снегурочки
 и мертвые Деда Морозы
 в сейчас работают
 на другой новогодней елке,
 на которую приходят
 лишь погибшие дети.

* * *

Мама,
 я читаю сегодняшние газеты
 сквозь прозрачных от голода детей
 Ленинграда,

пришедших на всемирную елку
 погибших детей.
 Пискаревские высохшие ручонки
 тянутся к желтым фонарикам
 елочных мандаринов,
 а когда срывают,
 не знают, что с ними делать.
 Дети Освенцима
 с перекошенными синими личиками,
 захлебываясь газом,
 просят у Деда Мороза с елки
 хотя бы немножечко кислорода.
 Вырезанные из животов матерей
 неродившиеся младенцы Сонгми
 подползают
 к рыдающему Серому Волку.
 Красная Шапочка
 пытается склеить кусочки
 взорванных бомбами
 детей Белфаста и Бейрута.
 Сальвадорские дети,
 раздавленные карательным танком,
 в ужасе отшатаются
 от игрушечного.
 Бесконечен хоровод
 погибших детей
 вокруг их посмертной елки.
 А если взорвется нейтронная бомба,
 тогда вообще не будет детей:
 правда, останутся детские сады,
 где взвоят игрушечные мишки,
 раздирая
 плюшевую грудь
 пластмассовыми когтями до опилок,
 и затрубят
 надувные резиновые слоны
 запоздалую тревогу...
 Спасибо, Сэмюэл Коэп
 и прочие гуманисты,
 за вашу новую американскую «игрушку»,
 за исчезновение очереди в «Детском мире»,
 за переставшие быть дефицитными бумажные
 пеленки,
 за Диснейленд,
 в котором никто теперь ничего не ломает,
 за окна,
 которые не разобьются
 от невежливого мяча,
 за кукол,
 которым не угрожает
 жестокое отрыванье косичек,
 за карусельных,
 навеки свободных лошадок,
 поскрипывающих
 в мировой пустоте,
 за бережно оставленные
 на бельевых веревках

детские колготки,
которые никогда не порвутся
от прятков среди колючек...
Настанут последние всемирные прятки.
Детей не будет. Взрослых не будет.
На целехоньких улицах будут лежать
целехонькие часы,
с застегнутыми браслетами
и ремешками,
еще сохраняющими форму исчезнувших рук,
осыпавшиеся с пальцев обручальные кольца,
опавшие с женских мочек бирюзовые и
другие сережки,
и только целехонькие пустые перчатки
будут сжимать
целехонькие баранки
целехоньких автомобилей...
Вся международная выставка
хорошеньких ног на улицах мира
испарится —
останутся лишь опустевшие туфли
с горсточками пепла на стельках
с золотым тиснением,
и между этих замшевых и лакированных ури
будет ползать,
обнюхивая каблук,
полурасплавленная цепочка
с щиколотки
испарившейся перуанки...
Мама тоже не будет.
Останется
только киоск,
на котором перелпстывает атомный ветер
ставшие антикварными плесневеющие издания—
еженедельник «Футбол — хоккей»,
журналы «Америка»
и «Здоровье»,
и только призрак
превратившегося в пар
маминоного мясника
будет оставлять по привычке
призраку моей мамы
призрак мороженой курицы —
соотечественницы Мопассана —
из страны,
где на книжных полках —
целехонький Мопассан
и ни одного уцелевшего соотечественника...
Мама редко высказывается о политике,
но вот что она сказала однажды,
вернувшись из магазина обоев,

расположенного на бульваре Звездный,
где ей пуговицы невзначай обсрвали,
когда
«выбросили»
обои из ГДР:
«Боже,
до чего доводит жадность к вещам!
Наверно, из-за этого и придумали
нейтронную бомбу...»
И я представил
миллионы магазинов мира,
набитых обоями,
норковыми манто,
бриллиантами,
итальянскими сапогамп,
японскими проигрывателями,
датским баночным пивом,
где будет все,
но исчезнет одно —
покупатель.
Подушки начнут воровать из музеев
неандертальские черепа.
Рубашки сами себя напялят
на статуи п скелеты.
Детские коляски будут качать
заспиртованных младенцев
из мединститутов.
Бритвенные лезвия
захотят зарезаться от одиночества.
Состоится массовое повешение
галстуков на деревьях.
Книги устроят самосожжение,
тоскуя по человеческим глазам
и пальцам.
Вещи, возможно, адаптируются.
Вещи сами начнут ходить в магазины
и, наверно, устроят всемирную свалку,
когда пройдет непроверенный слух,
что в каком-нибудь магазине
«выбросили»
человека!!!
Вещи обязательно
политически перессорятся,
и, возможно, какой-нибудь
зарвавшийся холодильник
придумает новую нейтронную бомбу,
уничтожающую только вещи
и оставляющую целехонькими —
людей.
Но что останется, если людей не осталось?!
Подъявший атомный меч от него и погибнет!

Сергей Смирнов

ДОГАДКА

*Комиссару-панфиловцу,
гвардии полковнику
П. В. Логвиненко*

Глядишь, как время гонится куда-то,
И суть всего улавливаешь в нем...
Мне личность Неизвестного солдата
Все ближе, все дороже с каждым днем.

Он в сорок первом встал навстречу смерти,
Погиб, не мысля быть в богатырях,
А мы на сорок первом километре
Пашли в земле его священный прах.

И в нас не зря живут мгновенья эти,
Все мысли возвышая и светля:
Не зря — за ним, лежащим на лафете,
Наш комиссар шагал к стене Кремля.

Как тайна тайн особого причастья,
Одна догадка зримо светит нам:
Что был солдат — гвардейцем нашей части
И знал однополчан по именам.

Но мы молчим, солдаты и солдатки, —
Однополчане бури огневой:
Пусть светят всем — такие же догадки,
Кто за Москву сражался под Москвой!

СЕЛЬЧАНКА

Анастасии Степановне Смирновой

Еще одна изба осиротела.
Всевышний взял к себе свою рабу.
Ее, как мощи, сухонькое тело
Тонуло в наспех сделанном гробу.

Водитель подал трактор в черном крепе,
Взбудрил мотор, чихающий чуть-чуть.
И на раскрытом тракторном прицепе
Отправилась она в последний путь.

Свезли.
Соорудили крест над нею,
Поскольку в бога верила она.
Поминки были скромного скромнее —
Кутья, салат да горький вкус вина.

Ушла.
Ушла из жизни баба Мотя.
И никакой поблизости родни.
Четыре похоронки на киоте,
Еще с войны сюда пришли они.

Примолкли за столом односельчане.
Стояла тишь в избе, уже ничьей.
Но мнилось,
что такой обет молчанья
Превыше причитаний
и речей.

Ушла сельчанка, только и всего-то,
Предельно прост ее житейский след:
Всю жизнь — изба, да поле, да работа,
А стаж работы —
Восемьдесят лет...

РЕЛИГИЯ МОЯ

Пусть порой причины те иль эти
Омрачают сферу бытия,
Есть резон счастливо жить на свете! —
Как сказал не кто-нибудь, а я.

Есть резон, с готовностью и весом,
Подтверждать,
что все нам по плечу.
В пику литбогам и литповесам,
Сам себя иронией лечу.

Пусть в Энциклопедии —
ни слова
О тебе — умельце наших дней:
Видно, здесь отсев — первооснова,
Стань кондиционной и знатней.

Пусть в СП лихая секретарша
Нам речет, мол, Пушкин — это да!..
Но и мы
находимся на марше.
Время — не инертная среда.

Впасть в минор? —
О нет, ни в коем разе.
Здесь оптимистичинка нужна.
Ты на стрежне лет —
не Стенька Разин,
Муза —
не персидская княжна.

Пусть тебя
 возвысит и понижит
Приближение личных круглых дат.
Пусть из «ста твоих партийных книжек»
Сводный том издаст Гослитиздат.

Пусть роднятся строки те и эти.
Пусть растет их знатная семья.
Есть резон счастливо жить на свете! —
Вот она,
Религия моя!

Владимир Костров

Нет ничего более чуждого подлинной поэзии,
чем буржуазная мораль. Мораль потребительского эгоизма. Накопить, потребить, насладиться — вот три кита, на которых стоит это противоестественное чудовище.

Самая страшная несвобода — рабство денежных отношений, особенно развращающее душу человека, ибо оно выступает в добровольной форме.

Нет такой лжи, такого преступления, такого извращения, на которое не отважится накопитель и потребитель. Уже сама гонка вооружения — преступление против человечества. Несложный арифметический подсчет показывает, что минеральные ресурсы нашей матери-Земли при современном уровне потребления могут быть исчерпаны за одно-два тысячелетия. Для вечности — это мгновение. Но это и краткий срок для человечества.

Но еще более безумен призрак самоуничтожения. Разум и чувство не принимают, отказываются верить, что именно так закончится грандиозная, возможно, уникальная попытка природы осознать самое себя.

Классовый фашизм крупной интернациональной буржуазии, движимой вековой ненавистью угнетателя к угнетенным, выдвинул чудовищный лозунг: «Есть вещи и поважнее, чем мир». Это философия воинствующего невежества, присваивающая себе плоды человеческого разума. Сила, основанная на разуме, — добра. Разум, лишенный морали, — не разум.

Во все страшные времена, на всех трагических перекрестках истории говорила и будет говорить подлинная поэзия свое доброе, просветляющее слово. Ибо ничто более, чем поэзия и труд, не вмещает в себе нравственное содержание жизни человеческой.

Ибо «...Гений и злодейство — две вещи несовместные».

И это правда.

Василий Казин

1898—1981

ПУБЛИКАЦИИ



НАШЕЙ ПАРТИИ

И вновь я бьюсь с пером над этим:
Пусть и не пылко, а хотя б
С таким шестидесятилетьем
Почтить теплинкою Октябрь.

И мимо мысль тут не проскочит
С тем, что я знаю как себя:
Почтить Октябрь Великий — значат
Почтить нам, партия, тебя.

И как же не почтить тебя с ним,
Когда ведь он в своей чести
Летит и ныне вихрем красным,
Чтоб с мира иго досмести.

Когда ведь живо я, Василий,
И каждой жилочкой постиг,
Что это ты дала мне силы
Писать во имя жизни стих.

И, вдохновительница, помнишь:
С мальчишества и до седины
Писал я стих не как приемыш,
А как твой вынужденный сын.

Да у тебя, знать, всем на диво
Таким сынам-то несть числа,
Что по-русски так радиво
К вершинам счастья повела.

(Написано к 60-летию Великого Октября)

ДОСТОЯНИЕ

Да вот не диво ль? И трехтонка,
Промчавшись лихо у крыльца,
Не вытеснит мне, как тихонько
Вплывешь ты дивностью лица.

И до стеснительности тонкой
Блеснешь улыбкой и, глядишь,
С обыденнейшей комнатенкой
Невиданное сотворишь.

И как бы ни были зловещи
Подчас черты их, черт возьми,
А высветишься им — и вещи
Чуть ли не выглянут людьми.

И сам бы, видимо, немил
Смотрел на мир, когда бы ты
И мрак его не подсветлила
Отзывчивостью красоты.

И хоть он низменным стараньем
Лиши нас милости любой —
Пенять по-нищенски не станем,
Пока как с высшим достояньем
Я все с тобой, мой друг,
С тобой.

* * *

Я шепчу твое простое имя.
Вторя беспокойству моему,
Ты глазами скорбными, большими
Светишься сквозь полночь, холод, тьму.

В окна свет их льешь все шире, шире —
И сознанию кажется, что вот
По четырехкомнатной квартире
Вся их ясность теплая плывет.

Кажется, что ты с далекой Камы
Поздней ночью вызвана Москвой —
Осветить пробоины и шрамы
Комнат, с болью брошенных тобой.

В солнце комнат, в доме многих краше,
Молодость твоя цвела лицом.
В солнце комнат жило счастье наше
Постоянным пламенным жильцом.

Но, ворвавшись в памятный, врылаком,
Алчущем пыланье адских сил,
Враг как бы сорвавшимся закатом
Нашу жизнь, как дверь, перекошил.

Твердостью была с Москвой ты пара —
По ее лишь зову, в громе гроз,
Поезд из-под страшного удара
В даль, в покой пространств тебя повез.

Вот второй уж год, как скрылся поезд.
Что ему, стальному, до того,
Сколько крови сжег я, беспокоясь
В чайные возврата твоего.

В долгом затемнении, как в неволе,
Вон, поди, томится и окно.
Но легко ль, мой теплый свет, легко ли,
Если без тебя я так давно.

Я шепчу, зову тебя и руки
Простираю. Слез бы не сдержать —
Только вдруг заботливые звуки
В душу строго сыпятся опять.

То, отбросившая силы вражки,
Прежней бодрой твердости слова
Мне твердит в пустом многоэтажье,
Словно сыну, старая Москва.

Публикация Ирины и Ивана Казиных

Василий Васильевич Казин до глубокой старости оставался поэтом, он обладал на редкость чистым поэтическим голосом — неповторимой интонации и окраски. Большие художники пристально вглядывались в его стих, считали Казина своим учителем, — например, Николай Ушаков и Ярослав Смеляков. Вслушивались в его поэтическую речь, настоящую на старом московском говорке, ныне почти совершенно исчезнувшем. Что за прелесть — этот казинский неповторимый говорок! Так и вижу Василия Васильевича: в белой натурального полотна рубашке, невысокий, серьезный, с редкой лукавой усмешечкой — коренной московский мастеровой, как бы резчик по слову — плоть от плоти московского рабочего люда. И шутка у него устная была резная какая-то, негромкая, светящаяся, теперь редкая. Он был не пророк, но учитель-мастер. И удивительно скромный человек. Широко известна фотография, на которой рядом Казин и Есенин. Известны восторженные высказывания о Казине-поэте А. В. Луначарского, считавшего, что Казин по одаренности один из первых поэтов новейшего времени. Менее известно, что поэзию Василия Казина высоко ставили (о чем свидетельствуют и статьи, и письма) Андрей Белый, Валерий Брюсов, Николай Асеев... В кремлевской библиотеке В. И. Ленина находится экземпляр «Рабочего мая» Казина. Все это далеко не случайно.

Его стихи были необходимы, да и сейчас необходимы, нашему сердцу.

В. Л а з а р е в

Владимир Солоухин

ХМЕЛЬ

Посадил безответственно хмель,
А опоры ему не поставил.
По шершавой и пыльной земле
Я его пресмыкаться заставил.
Он, трудяга, не в поисках нег,
В синеватые глядя просторы,
Выпускает свой чуткий побег,
Шарит в воздухе, ищет опоры.
Ищет, ищет зеленая ткань,
По окружности тыкаясь слепо, -
Вертикаль, вертикаль, вертикаль,
Уводящую в синее небо.
Нет, усилъя напрасны. Вблизи
Никакой не встречая зацепки,
Как змея извиваясь, ползи
Через рытвины, мусор и щепки.
Но нельзя не стремиться. Нельзя
Сомневаться, стеная и ноая:
Попадется ли все же стезя,
Что тебя возпесет над землею?

ЧЕРЕМУХА

От ягод сразу вяжет рот,
Ну съешь десятка два от силы.
Конечно, ежели цветет,
То и душисто и красиво,

Но это ведь — три дня в году.
И — отцвела. И — все забыто.
И для чего сажать в саду,
Когда ее в лесу избыток?

Но я вчера окно открыл,
Нет, распахнул окно, вернее,
И белой сказкой встречен был
И сразу замер перед нею.

Пыланье белого огня
В чуть золотистый час рассвета...
О три черемуховых дня!
Пусть остальные — просто лето.

Вы не обманете меня,
Чуди, капризничай, погода...
О три черемуховых дня
За остальные будни года!

Судьба, пути свои верши.
И отживу. И в землю лягу.
Три дня цветения души!
Себе берите тонны ягод.

И расцветая и звеня,
И ты, красивая, прости мне,
Что — три черемуховых дня,
А остальные все — простые.

То утро в памяти храня,
Прошу у жизни, как награды:
Дай три черемуховых дня,
А остальных уже не надо.

ПРИДЕТ ВЕСНА

Стоит зима сурова и жестока,
Она мертвит, гуляя по лесам,
И корни, что — в родной земле глубоко,
И ветви, что — стремятся к небесам.

Сады вокруг, вращенные геками,
Не вспыхнут белым цаетом по весне,
Хотя они еще не знают сами,
Что умерли в морозе, как во сне.

И сами мы пока не знаем даже,
Где мертвый сук, где чающий весны.
Стоят деревья, черные как саж`,
На фоне ровной снежной белизны.

Но день придет, наступит разделенье,
Когда весной распустится листва:
Кому идти на черные поленья,
Кому дышать оставлены права

И геть дожди г од теплым небом мая,
Отяжеляться от плод в земных...
Придет весна, природу обновляя
И отделяя мертвых от живых.

СЕВЕРНЫЕ БЕРЕЗЫ

Хорошо вам, красивые, белые сестры,
Белоствольными рощами тихо стоять,
Не под северным ветром, как лезвие острым,
Не от северных жгучих морозов стонать

Ваши корни блаженствуют в мягком суглинке,
Под зеленым покровом цветущей травы.
Среди ржи вы красуетесь, как на картинке,
И бессмертных стихов удостоены вы.

Только как сохранить эти пышные ветви
И стволов прямизну, и приветливый вид,
Если ветви стрижет обжигающий ветер,
Если корни скользят о холодный гранит.

Где роскошного летнего полдня сиянье
Или теплых и тихих ночей благодать?

В нашем цехе не учат даром!
И сегодня, как позавчера,
только мучат с пылом и с жаром
наши грозные мастера.

Мучат! — верно, но также — учат.
Бьют! Но больше за дело бьют.
Объясняют нам нашу участь,
оступиться в нее не дают.

Ненамного он был меня старше,
но я за три считал каждый год.
При таком, при эдаком стаже
сколько прав у него, сколько льгот!

Пожелтела, поблекла кожа, —
и ухмылка нехороша.
С бахромою на брюках схожа
пропитая его душа.

Все равно, я снимаю шапку,
низко кланяюсь, благодарю,
уходя по ступеням шатким,
тем же пламенем темным горю.

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НЕУДАЧА

Крепко надеясь на неудачу,
на неуспех, на не как у всех,
я не беру мелкую сдачу
и позволяю едкий смех.

Крепко веря в послезавтра,
твердо помню позавчера.
Я не унижусь до азарта:
это еще небольшая игра.

А вы играли в большие игры,
когда на компасах пляшут иглы,
когда соборы, словно заборы,
падают, капителями пыля,
и полем,
 ровным, как для футбола,
становится городская земля?

А вы играли в сорокаградусный
мороз в пехоту, вжатую в лед,
и крик комиссара, нервный и радостный:
За Родину!.. Вперед!

Охотники, рыбаки, бродяги,
творческие командировщики
 с подвешенным языком,
а вы тянули ваши бодяги
не перед залом — перед полком?

Виктор Кочетков

* * *

На приветлужские леса
пал белый иней,
и вытаяла полоса
небесной сини.

И хоть была она бледна
и чуть заметна,
но в миг очнулась тишина
поры рассветной.

Очнулась посвистом клеста,
соминым всплеском
и влажным трепетом листа
во мгле подлеска.

Очнулась шорохом полей,
стрекозным лётном,
коротким криком журавлей
по-над болотом.

И ароматом череды
и наперстянки,
и черным отсветом воды
в копытной ямке.

Родился день. Ветра легли
у ног свернулись.
И думы матери-земли
души коснулись..

* * *

Сумрак ночи ознобист и колок —
за теплинку полжизни отдашь.
Лезет стужа сквозь прорванный полот,
чуть скуля, как дворняга, в блиндаж.

«Трое ранено, двое убито», —
Пишет взводный при мерклом огне.
Нестерпимей окопного быта
ничего я не знал на войне.

О песчетные дни обороны,
гиблый холод морозных траншей.
Перекаты снарядного грома.
Тихий шорох блиндажных мышей.

По привычке упрямой и древней
жить, где люди свой кров возвели,
из покинутой ближней деревни
к нам в окопы они перешли.

Под лежанками, как под ларями,
шебуршат и шныряют тайком,
забивая ходы сухарями —
самым главным солдатским пайком.

Голос строгого критика слышу,
что без реплик не прожил и дня:
— А при чем здесь окопные мыши
и мышинная эта возня.

— А случилось, ценитель мой тонкий,
вдруг увидеть, проснувшись в ночи,
на лице у соседа — мышонка?
Не случилось? Тогда помолчи.

Я-то знаю, у нашей Победы
в биографии нет мелочей,
память, память за юностью следует
в этот сумрак окопных ночей.

Сберегая былое с любовью,
ты забвенью во власть не отдашь
ни высоты, политые кровью,
ни изрытый мышами блиндаж.

* * *

На той войне, где были мы с тобой,
с распятым ртом в атаку не бежали,
за пять минут полки не окружали
на той войне, где были мы с тобой.

На той войне, где были мы с тобой,
по пригоршне на рыло выдавали
патронов. Экономно воевали
на той войне, где были мы с тобой.

На той войне, где были мы с тобой,
за все платили истинную цену —
за взятие в плен и за побег из плена,
на той войне, где были мы с тобой.

На той войне, где были мы с тобой,
не спирт, а сон был высшею усладой,
и даже смерть была порой наградой
на той войне, где были мы с тобой.

На той войне, где были мы с тобой,
и хлеб и горе поровну делили.
Убыв на фронт, мы с фронта не прибýли.
Мы все еще на той войне с тобой.

* * *

Порой проступают на лицах мужчин
Забывших веснушек мельчайшие точки.
То детство глядит через сетку морщин,
как горестный узник сквозь мглу одиночки.

И все пережитое только вчера,
и невозвратимое наше былое
нет-нет да и вспыхнут, как угли костра,
прикрытые сверху горячей золою.

Картиной людских перемен поражен,
читаю по лицам усталым и грузным,
как этот метался и лез на рожон,
покуда судьбиною не был зануздан.

Как этого время вело под уздцы,
чтоб он не свернул ненароком куда-то,
сначала хмельною дорогой — в отцы,
потом голосистой дорогой — в солдаты.

Как он холодал на январском снегу,
как он распался в короткой атаке.
Как счастье свое он ловил на бегу.
А годы все новые ставили знаки.

Когда-то улыбкой сиял до ушей,
по вот уже иней виски ему тронул,
и складки на лбу — как извивы траппей,
чтоб старости легче держать оборону.

И лепка лица по-солдатски груба,
в глазах застарелая тень утомленья.
Да шутка ль сказать, отвалила судьба
четыре войны одному поколенью.

Константин Ваншенкин

* * *

Мои товарищи и братья
Послевоенных давних мор.
По переулкам Приарбатья
Гитарный слитный перебор.

А у соседа кашель тяжек,
И он выходит в полумглу,
Где слышно шелканье костяшек
По деревянному столу.

Играют сдержанно и строго —
Бухгалтер, слесарь, и таксист,
И обгоревший — как Серега
Орлов — задумчивый танкист.

Былого вечера отрада,
И голос женщины родной,
И этот Млечный Путь Арбата
В высоком небе надо мной.

СНОВИДЕНИЕ

Все никак не мог уснуть
И забыться понемногу,
Видел зимний этот путь,
Видел дымную дорогу.

Сон был порван пополам,
А потом на четвертушки.
И спешил я по делам,
Не подняв щеки с подушки.

Помогите кто-нибудь.
Я с войны хочу вернуться...
Все никак не мог заснуть,
А потом не мог проснуться.

ПЕРЕД СЛУЖБОЙ

Захотелось напоследок
Наглядеться на соседок,
На далекий синий лес,
На холодный свет небес.

Словно там не будет леса
Или даже интереса
К небу, женщинам — всему,
Что так нравилось ему.

МАДОННА НА ВОКЗАЛЕ

Мадонна в раннем мире первозданном,
Задумчивая, ждущая давно,—
«С младенцем на руках и с чемоданом
У ног». Мы знаем это полотно.

Пока пред нею в храпе или в давке
Идет одна из неизменных пьес,
Она сидит на деревянной лавке
С рельефною резьбою «МПС».

Она сидит с людьми чужими рядом,
Нейлоновой блузкой шелестя.
Она глядит спокойным юным взглядом
И кормит грудью малое дитя.

А над вокзальным застекленным сводом,
В той вышине, где все им нипочем,
Снежинки выются редким хороводом,
Пронизанные солнечным лучом.

* * *

Всех колебаний природа
И нерешительность вся
В тем, что обратного хода
Сделать потом уж нельзя.

Да и не слишком известно —
Что же нас ждет впереди...
Карте положенной — место.
Тронул фигуру — ходи.

НА ВСТРЕЧЕ

Четыре поэта-ифлийца.
И сорок прошло уже лет
С тех пор, как ударил в их лица
Холодный военный рассвет.

...Так брат постаревший у брата
О жизни расспрашивать рад.
Но что их сближает? Утраты.
Единая горечь утрат.

И в старом московском пейзаже,
Что в пыльное смотрит окно,
Все новое нынче...
И даже
Твардовского нету давно.

ПУБЛИКАЦИИ

Сергей Наровчатов
1919—1981



НЕВОЗВРАТИМЫЕ БЕРЕГА

А начало было — лыжи да винтовка
И жестокий горизонт в морозном дыме,
А вдобавок были — дерзость и сноровка,
С ними в тыл чужой мы вьюгой уходили.

Мы присягу принимали, как отвагу,
Мы отвагу принимали, как присягу.

Как тогда присяга нами выполнялась,
Пусть узнают у теней непозабывших,
Сколько лучших, сколько праведных
осталось

Среди частых сосен, пулями побитых.

Наша молодость летит на быстрых лыжах,
Из-под шлема вьется чуб заиндевелый,
Бьют «кукушки» не спеша из сосен рыжих,
Только промахи дают они по смелой.

Что мы видели тогда за горизонтом,
Что мы видели за нашим первым фронтом?

Окончанье подошло разведки боем,
А бои в ту пору только наставляли...

Мчим за счастьем, ну а мы ведь сами
счастье,

Кровь живая разыгралась в каждой жилке,
И не чувства в нас беснуются, а страсти —
Щеголихи, расточищи, доможилки.
Щеголяет юность дерзкими глазами,
Щеголяет юность женскими слезами,
Расточает все, что взято юной статью,
Расставания роняет и разлуки,
Разрывает прочно слитые объятья,
Размыкает прочно замкнутые руки.

Доможилками в дому просторном страсти
Рвут на части потолоки, полы и стены.
До поры у нас над ними нету власти,
Выйдет время, станем мудры и степенны.
Суматошно обживаем дом просторный,
С четырех сторон крутым ветрам открытый,
Нет пока еще к нему дороги торной,
Нету жизни в нем размеренной и сытой.

Светит молодость стихами и грехами,
Эти винности-провинности прости ей,
С невозвратными увидясь берегами,
С расплывавшейся военною Россией.

Встань-ка, давний мой товарищ, на пороге:
Ты увидишь след летучий на дороге
И махнешь рукой исчезнувшей тревоге.

Рифмы старые, привычные созвучья,
Но и сами мы стары с тобою стали.
Над дорогой обгорелых сосен сучья,
Мы с тобой припоминать их не устали.
По летучему пройдем, товарищ, следу,
Неминуемому навстречу встанем свету.

Свете белый! Как ты светишь, неминучий,
Над забытыми морозными снегами,
Там у озера под вздыбленную кручей
Засыпали мы нечаянными снами.

'Пламя 'давнее костры 'их освещало,
В них конца еще не ведало начало.
А начало было — лыжи да винтовка,
В том начале — горизонт в огне и дыме,
Молодая и веселая сноровка,
С ней мы в тыл чужой лесами уходили...

ПЕТР ИЗ-ЗА УГЛА

Зверью цифру я из книжки выдеру:
Страшный человек идет по Питеру,
Он в галанское сукно наряжен,
Меж плечьями легла косая сажень.

Очи круглые, кошачьи, зоркие,
Лик обритый, от вина распаренный,
А в ручищах у него труба подзорная,
Брюсом-чернокнижником подаренная.

Попадется ему плотник-деревенщина,
В ноги грохнется для славы государевой,
Как залепит зверь ему затрепину:
— Ты, мол, времечко свое не разбазаривай!

А пройдет боярин в одночасие,
Беспоклонством угодить решаючись,
Как ударит, лютый, между глаз его,
Мол, забылся пес, на солнце лаючись!

А потом с ухмылкой зазорною
Табачище за губу закладывает.
Смотрит за море в трубу подзорную,
Новшества заморские выглядывает.

А от ближнего от храма блискольного
Не дождешься звона колокольного.
Лишь один набат грохочет днесь
— ббб!

Публикация О. С. Наровчатовой

Наровчатовых было несколько.

Один — юноша-поэт, вдохновенный романтик, опаливший лирические крылья огнем войны, но ставший от этого сильнее; певец своего времени и давно минувших времен.

Другой — ученый, филолог, исследователь магических сил русской литературы, страстный библиофил, хозяин библиотеки, где от пятитомного пушкова издания Четьи-Миней до тоненькой книжки начинающего поэта все на полках в блистательном порядке, отмеченное в картотеке и записанное в толстенной тетради прихода книг.

Третий — государственный муж, мыслитель, стратег и тактик литературного процесса, деятель и главный редактор, секретарь Союза писателей.

Он сказал:

Я жил всю жизнь глухой мечтой о чуде.

И он же сказал:

Никогда взыскующая града
Не переведутся на Руси!

И он же сказал:

Россия-мати! Свете мой безмерный,
Которой мезтью мстить мне за тебя?!

Четвертый — милый, иржний, застенчивый человек, умевший мгновенно стать неоглядно-смело-бешабашным, и перемениться неузнаваемо в угрюмого, казалось бы, равнодушного ко всему, усталого человека, и вновь перевоплотиться уже в умницу-собеседника, перед которым сидишь, робея, память у него гениальная: что прочел — наизусть помнит!

Люди могут продолжать это перечисление, а я остановлюсь, ибо мой Наровчатов еще и Учитель, тот источник силы, который я приняла, как великий дар. Что он делал для этого? Ничего. Жил на Земле.

Говорили, что Наровчатова сильно изменили годы, из стройного, божественно красивого юноши с синими глазами он превратился в солидного пожилого человека. Не знаю. Когда глядела на него, видела прекрасного юношу, какой бы из четырех Наровчатовых ни появлялся. Такой уж у меня на него был взгляд. На мое счастье, он и не подозревал об этом, вполне удовлетворенный ролью старшего друга и товарища по причастью к поэзии.

Думаю, что Сергей Наровчатов-поэт — не прочитан, как он того достоин. Он сам способствовал этому, стеснительно заслоняя в себе образ поэта образом солидного человека.

Думаю, в послевоенном времени не было поэта более гармоничного, возвышенного и мужественного, чем он.

Думаю, настанет время нам это понять.

Последние исторические его рассказы, равно как и страницы его архива, еще не увидевшие печати, — доскажут многое о том Наровчатове, которого мы до сих пор не знали.

Физическая смерть его больно утвердила одно: потеря невозполнима. Ничто утешить не может. Но странно — проходят дни, и Наровчатов сильно возвращается строками стихов, которые звучат сейчас иначе, чем при его жизни, — пронзительней.

Поколениям — открывать для себя Сергея Наровчатова. Он любил будущее племя. Вот и строки его о том говорят:

Ему идти зелеными дворами,
Живой тропой земного бытия,
Не увидеть увиденного нами,
Увидеть то, что не увижу я.

Л а р и с а В а с и л ь е в а



Абдильда Тажобаев

МЫ ДРУЖБОЙ ПЕРЕД БУДУЩИМ ПРАВЫ

В июне 1957 года литературная Алма-Ата уже готовилась к московской декаде будущего года. К нам приехал Ярослав Смеляков. Я хорошо знал Смелякова заочно, по стихам, но лично встретился с ним впервые. Было это в горах, в доме отдыха. И то ли потому, что наше первое знакомство было сугубо деловым, почти официальным, то ли по каким-то другим причинам, Смеляков показался мне немногословным, настороженным и даже сердитым. Я себя тоже почувствовал скованно. Виной тому были и подстрочники, которые я привез с собою. Я боюсь самого слова «подстрочник» и убежден до сих пор, что он лишь в малой степени передает смысл стихов, их образный строй. В этом духе я и говорил Ярославу: мол, если подстрочники не понравятся, я несколько не обижусь, и мы на этом деле поставим крест.

И вот, когда я все это выпалил единым духом, Смеляков заулыбался, показавшуюся мне сердитость как ветром сдуло, и расстались мы уже товарищами.

Прошло два-три дня. Новое свидание в доме отдыха совсем не походило на первое.

— Ты совсем зря волновался, Абдильда, — говорил Ярослав, — конечно, подстрочники далеко не стихи, но что поделаешь, если мы не знаем языка. Приходится мириться с этим. Я выбрал для себя и для моего друга Миши Луконина. Он моложе тебя и моложе меня. Вкус его я знаю. Мы доверяем друг другу. Ему может понравиться твой цикл о путешествии вокруг Европы. Значит, ты не знаешь Михаила?

И Смеляков тут же набросал портрет Луконина. Набросал такими выразительными штрихами, что я сразу же представил широкоплечего футболиста, с открытой рабочей душой, фронтовика, человека нежного и влюбленного в поэзию.

Вскоре в Алма-Ату приехал и сам Луконин. Отобранные Ярославом подстрочники действительно приглянулись ему, но сам он произвел на меня впечатление, мало соответствующее рассказу Смелякова.

Я напрямую сообщил об этом Ярославу.

— По-моему, — помнится, говорил я тогда, — Луконин — человек без улыбки.

В ответ раздался хохот.

— Это Миша-то без улыбки, это Миша-то никогда не смеется?

Смеляков порывисто встал и отправился за Лукониным, жившим по соседству. Привел его, повторил при нем мои слова. И тут они стали смеяться. Не выдержал и я — присоединился.

Частенько стал я навещать в горы к новым своим друзьям. И по делам, касающимся перевода моих стихов, и просто поговорить, отдохнуть.

— Горы у вас прекрасные, — сказал однажды Михаил, — но я житель равнинный. Где степь у вас, где река?

Я воспринял это как намек и вскоре предложил московским поэтам один не очень далекий маршрут — к бакенщику на Или.

...По левую руку — степь, по правую — предгорья. Еще до реки оставалось несколько километров, как мы увидели в зеленой низине две-три старые юрты и отару, пасущуюся невдалеке.

— А что, если мы побываем у чабанов? — спросил Ярослав. Луконин его поддержал.

Так совсем неожиданно мы оказались в гостях у пожилого, но бодрого и крепкого казаха. К нему приехала дочка, студентка КазГУ, и сын из Ленинграда. Молодежь узнала нас. Сразу поставили самовар, старик приготовился резать барашка, но я отговорил его, однако пообещал заехать на обратном пути. Почаевали, полакомились еще горячими лепешками с только что приготовленным вкусным сливочным маслом — сарымаем — и еще более понравившимся моим москвичам острым и мягким, против обыкновения, сыром-куртом.

«Человек без улыбки» постоянно улыбался, вспоминал родную приволжскую степь, свои Быковы хутора и подшучивал, что непременно должен овладеть искусством варить именно такой курт, каким сегодня угощают. Впрочем, в этой шутке была доля правды. Позже я убедился в отличных кулинарных способностях Михаила Луконина.

Потом мы продолжили свой маршрут. Бакенщик, как и чабан, радушно встретил нас. Снасть была уже подготовлена, и мы без особенного труда наловили чуть ли не полную лодку рыбы.

Ярослав и Михаил переплыли Или и затеяли на том берегу борьбу. Как сейчас вижу их — веселых, азартных, молодых. Да, молодых. Особенно с высоты моего нынешнего возраста. Луконину не было сорока, Смелякову — немного за сорок. Боролись они лихо, но схватка закончилась вничью.

...Уже вечерело. На обратном пути мы еще издали увидели дымящийся очаг у одиноких юрт в зеленой низине. Значит, нас уже ждали.

Мы расположились на кошмах. Если Луконину были хорошо знакомы и арканы табунщиков, и камчи, и челбары, которыми стреноживают лошадей, то для Смелякова все это было внове, и он не переставал восхищаться изяществом и добротностью этих традиционных предметов кочевого быта. Забегая вперед, скажу, что позднее в московской квартире Смелякова я увидел укрепленные на стене камчу и аркан. «Не узнаешь? — усмехнулся Ярослав. — Это же сувениры из приилийской степи. Мне подарил их старик чабан».

Я так подробно рассказываю об этой поездке, не похожей на обычные, не лишённые некоторой торжественности, заранее продуманные встречи с читателями, потому что мои друзья имели возможность оценить щедрое и простое гостеприимство казахов, увидеть, как даже в случайной юрте или маленьком домике бакенщика любят поэзию, могут бесконечно долго слушать стихи и на русском и на казахском языках. Я до сих пор ясно представляю себе и задумчивое внимательное лицо старого чабана, и восторженные лица молодых людей. Честное слово, я уверен — они запомнили ту нашу встречу не хуже, чем я. И наверное, Смелякову и Луконину эта встреча тоже кое-что дала.

Теперь, на расстоянии уже многих лет, я начинаю понимать, какая огромная и почетная обязанность пропагандистов нашей национальной поэзии выпала на их долю.

Я перечитываю переводы Михаила Луконина. Не только своих стихотворений, пет. Я очень высоко ценю его блестящий перевод «Кулагера» Ильяса Джансугурова. Сколько в нем искреннего темперамента, какой свободный песенный ритм, какое великолепное знание казахского быта!

И я в полную меру представляю себе, какой подвижнический труд стоит за этими строками. В поэтическую мастерскую, в горячие будни, длящиеся порой напролет дни и ночи, нелегко проникнуть даже собрату по перу.

Я переводил поэму, ликовал, скорбел,
То с Ильясом,
То с Аханом вместе песни пел.
И меня помчал над степью Кулагер не раз,
Целовал я Кулагера в ослезенный глаз.

Это признание поэта, на мой взгляд, дороже любого критического комментария к работе переводчика.

...30 октября 1968 года Михаилу Луконину исполнилось пятьдесят лет. Я вылетел вместе с Михаилом Львовым из Алма-Аты в Волгоград 29 октября. В три часа утра тридцатого мы уже приземлились в Волгограде. В эту сырую осеннюю ночь Миша уже ожидал нас в аэропорту.

Из Москвы прилетели Константин Симонов, Евгений Долматовский, Римма Казакова и другие. Из Ленинграда — Михаил Дудин и Сергей Орлов, из Тбилиси — Маргиани, Карло Каладзе, Нонешвили. Прибыл друг-калмык Давид Кугультинов. Да всех гостей не перечесть.

Это были дни искренней и душевной интернациональной дружбы. Ни в одном выступлении, ни в одних стихах, посвященных тогда Михаилу, не было фальши. Говоря словами самого Луколина, это были стихи не именинные, а настоящие и добрые.

О празднике писать легче, чем о буднях. Праздники на виду. О буднях рассказывать труднее. Да и читателю будет не так уж интересно, если я начну, например, излагать содержание деловых писем Михаила. Признаться, я люблю их перечитывать, люблю погружаться в строчки, написанные полупечатными буквами. Михаил знал, что почерк его неразборчив, поэтому и старался.

Но есть праздник, который остается всегда с тобой. Это поэзия, это стихи, продолжающие жить, хотя их создателя уже нет с нами.

Я раскрываю его том, читаю «Стихи по кругу», которые можно было бы назвать Посланием казахским поэтам — Джубану Мулдагалиеву, Халижапу Бекхожипу, Сырбаю Маулепову, мне. И великим ушедшим Абаю и Ильясу. Вот ни с чем не сравнимый язык дружбы, откровенность сердца, без которой не может быть настоящего поэта.

Мы в дружбе все дела свои вершили
и дружбой перед будущим правы.
Дай руку в эти дни твои большие,
прими привет

от Волги и Москвы.

И оживает передо мной крепкий коренастый волжанин с горячим мужественным сердцем, которому — казалось — не будет износа.

А может быть, и не казалось?

Ведь настоящее сердце поэта — это его стихи.

Николай Грибачев

СКОЛЬКО Ж ЕЩЕ!

Уходит в небо самолет,
Растут его турбин усилья,
И облака, как мокрый лед,
Плывут под скошенные крылья.

Все буднично: в стакане чай,
Всплакнул малыш, шуршит газета.
Но как тут все ни упрощай,
А вправду — так ли просто это?

Пусть наши давние глаза
В ошибках укоряет кто-то,

Пусть уверяет: «Стрекоза
Куда сложнее космолета!»

Да, может быть, что и сложней,
Но спорить с этим нет охоты:
Ей — луг в томленья летних дней,
Нам — поднебесные высоты.

Ее природа создала,
А мы в мучительном усилье
Два этих пламенных крыла
Бесстрашной мыслью отрастили.

И сколько ж, сколько нам еще
Считать, решать, искать повсюду,
Чтоб сердце билось горячо,
Чтоб вновь и вновь твориться
чуду!

НЕ ОШИБИТЬСЯ БЫ

Знаю, жестоким и странным
Век назовут наш потом.
Мы извиняться не станем —
Он наш единственный дом.

Все в нем тревожно и сложно
В ненависти и любви.
Но убежать невозможно —
С ним поспешай и живи.

Час, когда прибыл и выбыл,
Определяют без нас,
Нам — лишь дорога на выбор
С мужеством в боезапас.

Не ошибиться бы только —
Слишком подъемы круты,
Слишком над бездной потока
К звездам взлетели мосты!

ОСЕННИЙ ЛИСТ НАВЕЛ НА РАЗМЫШЛЕНЬЯ

Лист подобрал и в ладонях зажал.
Осень желта и красна, как пожар, —

Медленно в пламени жжет навесном
Летние платья земля перед сном.

Только в таком полыханье огня
Страх и печаль не терзают меня.

Где-то другие готовят огни,
Многим погибелью станут они.

Вспыхнут в раскате безумного дня —
И ни леска, ни тебя, ни меня.

Давид Самойлов

* * *

Жизнь сплетает свой сюжет.
Но, когда назад посмотришь,
Возникает свежий свет —
Далеко, на двести поприщ,

По которым пятерых
Понесло рассветом ранним.
И нетленный пятерик
Загорелся их стараньем.

Сколько крови пролилось,
Сколько дел осуществилось,
Сколько выпало волос
И надежд пошло навывнос!

Но сияет вдалеке
Свежий свет того июня,
Как в предутренней реке
Острый отблеск новолунья.

* * *

Я слышал то, что слышать мог:
Баянов русских мощный слог,
И барабанный бой эпох,
И музы мужественный вздох.

Мы шли, ломая бурелом,
Порою падая челом.
Но долго будет слышен гром —
Тот гул, которым мы живем.

* * *

Тяжел уже стал. Никуда не хочу.
Разжечь бы камин, засветить бы свечу.
И слушать, и слушать, как ветер ночью
Гудит и гудит над огромной страной.
Люблю я страну. Ее мощной судьбой
Когда-то захваченный, стал я собой.
И с нею я есть. Без нее меня нет —
Я бурей развеян и ветром отпет.
И дерева нет, под которым засну.
И памяти нет, что с собою возьму.

* * *

В какие-то новые дали
Меня от тебя позвали
Какие-то новые вести,
И радости, и печали.

Пошел я белой дорогой
С лукавой судьбой тягаться —
Вослед весне босоногой,
За шалью ее цыганской.

* * *

Запиши мне в жизнь кусок
Марта с долгою метелью.
Занеси еще лесок,
Где береза рядом с елью.

Подверстай еще сугроб,
Что от сумрака сиренев.
Подведи потом итог
Ветра, снега и деревьев.

Это все соедини
Зимним обликом природы
В завершающие дни
Холодов и непогоды.

Николай Панченко

* * *

Ничего не будет на повторах —
Жирный грай вдоль вспоротых борозд.
Эти руки,
Откровеннее которых
Я не знал ни глаз, ни слов, ни звезд.

Только гнется и ломается прямое.
Вот и щеки из солдатского сукна.
Мир грохочет,
как кино немое,
В раме современного окна.

Это жизнь —
Волхонка ли, Петровка,
Ты ль без уха?
Я ль без языка?
Ухая, барахтаясь неловко,
В землю погружается строка.

* * *

Придвинься ближе, дом с трубою,
Зеленый двор,
румяный сад:
Сюда я вовсе не назад,
Но чтобы здесь с самим собою,
Как с этой речкой голубою,
Встречаться день за днем подряд
Остаток лет...
Всего, что нет
Нигде уже, испить остаток:
Великий миг затем и краток,
Что истины безмерен свет...

* * *

Дни тянутся, а годы летят —
Пятьдесят,
Шестьдесят —
Начинается старость,
Когда уже знают, чего не хотят,
Пожелтевшими листиками шелестят
И догадываются, что немного осталось.

Вот и я шелестю,
Как ни странно звучит — шелестю! —
Не грущу, но грустю,
Как какой-нибудь седенький предок,
Что, бывалоча, ноздри, как лошадь,
вздывал напоследок.

И, костяшками хрустнув,
Стройнее березы вставал.

Не стройнее сосны,
Но березы — уж точно — стройней,
Вознося над землей голубое,
бескровное тело.

Умирать — это знал он! —
Еще не последнее дело,
Отлетая душой шелестящей
от жадных корней.

* * *

Мне себя все трудней хранить
без охраны.
Я хочу вас поить, кормить,
как из раны,
из горячих, веселых губ
пейте смело:
кто богатый — всегда в долгу! —
вот в чем дело.
Мойте зубы в моем вине,
добром, старом.
Только злом не платите мне —
пейте даром...

* * *

Выпадает жизнь в осадок
тихой горечью во мне.
Сладкий миг — ужель не сладок? —
Или только не вполне...

Или это как простуда,
чтобы банки на бока?
Или это лишь оттуда,
где кончается строка?

Не простое это дело,
не картежная игра:
круг гончарный крутит тело,
истощая гончара...

Евгений Винокуров

САЯТ-НОВА

В закавказской поднебесной выси
режущая очи
синева...

Медленно проходит по Тбилиси,
в шапке набекрень,
Саят-Нова.

Он, к вселенной полный интереса,
размышляет о добре и зле.
И кинто, как истинный повеса,
в честь его горланит
на осле.

Никогда Саят-Нова не трусил.
От мацонщиков ему почет.

В сердце много
языковых русел,
и по ним
мелодия течет...

Нынче он поднялся очень рано,
а духанщик уж навеселе!
Целого дородного барана
крутит он в дыму
на вертеле.

И уже по той прохладной рани,
розоветь лишь стали облака,
клубом подымается в духане
запах лука, перца, чеснока.

Связаны в один крепчайший узел
три народа, —
прочее не в счет!

В сердце много
языковых русел,
и по ним
мелодия течет...

Сел поэт задумчивый за столик...

Вроде лука, перца, чеснока,
этот мир невыносимо горек,
только мудрость все-таки
сладка!..

Вот уже бочонок наготове!
Игроки уж тут с утра,
чуть свет...

А в Тбилиси три различных крови,
он один у всех у них
поэт!

И шарманщик крутит старый танец,
он когда-то в распрях окривел...

К столику подсел
азейрбайджанец,
армянин,
ну и затем
картвел.

И поэт глаза азартно сузил,
бросил кости:
— Нечет или чет?..

В сердце много
языковых русел,
и по ним мелодия
течет!..

АСТРОЛОГИЯ

Был неглубоким
тот пустой окоп...

Родившийся под знаком Скорпиона,
как я хотел взглянуть
в свой гороскоп,
поднявши взор
к звезде у небосклона.

Из глубины окопа
той весной
глаза свои на небо подымая,
я верил, что меж звездами
и мной
есть некая зависимость прямая
и что, имея надо мною власть,
небесное
сейчас
диктует тело,
куда, с тоскою стонущей,
попасть
той пуле,
что во мраке пролетела,
и сколько жить мне:
век иль полчаса?..

Я ввысь глядел...
И были ночью марта
раскрыты надо мною небеса,
как бы
астрологическая карта.

У КАРТИНЫ ПРИМИТИВИСТА

Полночных сов
опасные полеты,
знобящий трепет обнаженных лоз...
Сквозь буйное цветение природы
проходит
легкой поступью
Христос.

И зверь,
и ползучие лианы
обставили его со всех сторон,
несущего свое лицо
и раны
сквозь этот мир,
что удесятерен,
что постоянно
на краю могилы
могучей жизни
всасывает яд...
Так вот они,
две равнозначных силы,
те, что друг другу
противостоят!

И ветви раздвигает он с досадой,
и не пройти сквозь заросли
лучу...

И тигр за ним шагает
полосатый,
и голубочек
ластится к плечу.

В ДНИ КАТАСТРОФ

Во дни
вселенских катастроф
была мирская смута...
Я не попал в мертвецкий ров
случайно —
почему-то...
Я, современник той поры,
бывало, спозаранку
выменивал из-под полы
на станции буханку.
Летел наш верный «шевроле»,
отсчитывая мили...
Меня на этой вот земле
не досыта кормили!
Я на ветру осеннем сип,
я обносим был
чашей...

Я требую
за недосып
от всей вселепной нашей!
То черный был обвал!
Звения,
неслась каменьев сила...
И слава богу,
что меня
еще не раздавило!
Ложились мины,
нечет — чет! —
согнулся я сугуло.

Еще я предъявляю счет
за то, что шибануло!
То был великий перехлест
неслышанной стихии!
Глаза я подымал до звезд,
бездонные,
сухие.

И губы что-то у меня
шептали и просили.
И занялось начало дня,
наперекор той силе...

Когда ж
пожар вселенский гас
на всем великом свете,—
щекою на противогаз,
я мирно спал
в кювете...

ЧАС

Я туда
направлюсь рано,
где таинственно
слиты
разрушение и охрана
окружающей среды...
Я свое имею мнение:
мир от изначала лет
есть лишь только измененье,
ничего другого нет!
Я замру пред миром немом...
Что тут делать?
Он таков:
беспрестанная проблема
до скончания веков!..
У меня одна досада,
что подчас не все из нас
понимают то, что надо
день хвалить
и славить час.

Владимир Туркин

К ЧИТАТЕЛЮ МОЕГО БУДУЩЕГО ОДНОТОМНИКА

Как мне открыть свой однотомник?
Чем эту исповедь начать?
О чем существенном напомнить,
О чем пустяшном промолчать?

С путей и перепутий света
Вступая в комнатный уют,
Переплетенные поэты
На полки книжные встают.

Кто — с вызовом, а кто — с испугом,
На месяцы иль на века,

Встают в затылок друг за другом,
Бочком к читателю пока.

Я не терзал себя погоней
За громкой славой земной.
Мне хорошо, что и Луконин,
И Смеляков — передо мной.

Я их любил особым чувством,
Ценил ценой высокой той
За неподкупность их искусства
Ни в строчке и ни в запятой.

Пускай на мраморные доски,
На пьедесталы и в кино
Восходят Лермонтов с Твардовским,—
Так и положено оно.

Так и положено по сути.
И пусть меня
Ни век,
Ни Русь,
Ни сам читатель
Не осудят
За то, что в лидеры не рвусь.

За жизнь свою в глухой печалп
Я насмотрелся, как — увь! —
В борьбе за лидерство мельчали
Вполне не мелкие умы.

Я — не из ангельского теста,
И я искал, ищу и жду
Ненумерованного места
В ненумерованном ряду.

Такого, чтоб по мне — и только.
Чтоб не сорваться на скаку.
Чтоб как по скакуну — раздолье,
Чтоб как седло — по седоку.

Ничуть не больше. И не меньше.
И чтоб от слов, что я сказал,
Хоть каплю — у мужчин и женщин
Теплели руки и глаза.

* * *

Пятеро нас или семеро,
С кафедры мы или с сейнера,
С запада мы или с севера,
Толстые мы или тонкие,
С юга мы или с востока,—
Все мы бываем потомками.
Но до какого-то срока.

Пока набухаем почками,
Пока вызреваем ветками,
Время нас делает предкамп
Вечными и бессрочными.

Лучше потомков! Лучше ях
Чувствующими грядущее.
Потомок — начало берущее.
Предок — уже отдающее.

И дело не просто в возрасте,
Не в обретении лысины,
А в приобщении к истине,
Сущность которой в совести.

Когда ты в богатства лучше
Складываешь ежегодно
Не то, что тобой получено,
А то, что тобою отдано.

Можно сто лет протопать,
Есть, пить, спать,
Но так и остаться в потомках.
Предком так и не стать.

* * *

Зря мне белая птица два перышка бросила,
Две мольбы: «Приголубь! Приюти!»
Я и сам не обласкан.
Я река.
А не озеро.
Я и сам в безуютном пути.

Мне горбатую спину ломать под парами,
Мне мазутной водой мыть мосты.
Как бы я ни взлетал
На волнах своих ломаных,—
Мне твоей не достичь чистоты.

Я работы своей никогда не доделаю.
Мне впадать своим руслом в века.
И утонут во мне твои радости белые,
Как тонули уже
Облака.

Виктор Боков

* * *

Разгневанное, яростное тело,
В котором, как костер, горел закат,
Волною просоленной песни пелю
И двигало на берег свой накат.

Волна крутая, силой налитая,
Дробилась о гранит, шипя, как змей,
А я стоял, морскую пыль глотая,
С неразрешимой думою своей.

Кто поднял этот гнев в морских пучинах?
Кто разбудил спокойный сон глубин?

Возможно ль допытаться о глубинах,
Когда на берегу лишь ты один.

А за тобой громада гор немая,
Где на вершинах спелая стезя,
Где, как подковы, молнии ломают,
На голубой простор идет гроза!

* * *

Забудьте об оркестре,
Забудьте о Шекспире,
Забудьте, что когда-то
Вас в церкви окрестили.
Но только не забудьте,
Чего б вы ни достигли,
Приблизится минута,
Когда вас смерть настигнет.
Готовьтесь! Шейте саван,
Долги свои платите.
Как поступить со славой?
Со славой как хотите!

СТАРОМУ ПОЭТУ

Памяти П. Кудрявцева

Поэт, убеленный сединами,
Не табельный труженик мира.
Как машешь ты лебедиными,
Потертыми крыльями лиры?

Я помню тебя чернокудрого,
В толстовочке из веливета.
Кричал ты мне: — Витя, откуда?
— А я из ромашек, из лета!

Из леса, из зарослей донника,
Из клевера в шапочке красной.
У нас на деревне гармоника,
Девчата, частушки, прекрасно!

Ты слушаешь, и лучишься,
И радуешься студенту.
В калиточку тихо стучишься,
Подтянутый, модно одетый!

— Эх, Витя! Теперь уж не вылеты
А выползы на сугревы.
Ты вспомни, какие мы были-то,
Какие к нам ластились девы!

Ты плачешь, я слышу в мембрану
И голос пропит хрипотцою.
Зажми свою старую рану,
Заштопай свинцовой тоскою.

Слеза твоя, милый мой, жалостно
Попала мне в самое сердце.
Не плачь, успокойся, пожалуйста,
Ведь мы с тобой единоверцы!



* * *

Осень
Полноправная!
Иней захрустел.

Потрудился славно я:
Сказано все главное,
Что сказать хотел.

Но еще главнейшего я не произнес,
Не обрел полнейшего
Права на износ.

* * *

О, хватит, хватит
Автобиографий
И на вопросы всяческих ответов.
Все требуют сегодня друг от друга
Аналитических автопортретов.
Но я не автомат для дачи справок
О датах. И судить авторитетно
Я о своих достоинствах не сунусь.
Я не автобус для экскурсий в юность,
Пусть свою собственную.
Я — просто автор!

ПРОЗА

Хочу спросить:
А что такое — проза?
То слово — цепь из ржавого железа,
Звучит довольно часто, как угроза,
но не гроза...

На глетчеры Кавказа
Я поднимался, был в юрте киргиза,
Знал Арктику, пустую от мороза,—
Я видел все! Но все-таки ни разу
Не уяснил я — что такое проза?
Я не зефир, что веет на рассвете,
Приплыл я не на парусном корвете,
Не в золоченой ехал я карете...
Я не ребенок, да и вы не дети.

И я прошу:
Ответьте,
Объясните,
Установите —

Что такое проза
И есть ли вообще она на свете!

НОЧНОЕ МОРЕ

Иногда
Волнами шальными
Море так шарахнет в клиф,
Что дрожит, грозя обвалами,
Нависающий обрыв.

Иногда
И хруст ракушечный
Вдруг звучит, как выстрел пушечный.
Ну и что же?
Что тогда?

Лопнула волна, отпрянула,
Да и дремлет море заново,
Смутной страсти сонный взрыв
Бесконечно обветшалыми
Покрывалами покрыв.

Но бывает: чайки плачутся,
Будто кто-то где-то прячется,— гово-
рят,

И тогда звучит и радио,
Так что и не разобрать его,
У оград.

И тогда на палисаднике
И на ближнем винограднике
Спящем, листья распластав,
Тени мечутся, как всадники,
Прискакавшие с застав.
И над крышей черепичною
Будто самая обычная
Неподвижная звезда
Двигается, перемещается
Не поймешь ее куда.

Словом, всякое случается
Над обрывами и тропами
И над морем, где вода
Будто блещет перископами
Там, где только невода.

И бывает:
Гулким рокотом,
Где-то на море далеко там,
Отвечает
Эта ночь.

Словом,
Всякое случается...
Чаще этим и кончается,
Кто и что там ни порочь...

Публикация Г. А. Суховой

Сергей Подделков

СУДРА

Было ясно, было мудро
в звездах вечера чело,
зачалась свирепо судра,
черт-те знает отчего.
Зачалась — и закрутила,
в снег колючий облачась,
знобко ледяного пыла
загуляла сила-власть.
Судра, судра,— натиск плотен,
снег валится в жизнь села,
шепот стих у подворотен,
вишь, влюбленных развела;
закрываются колодцы,
стелют раннюю постель,
каково гостям придется
пробираться из гостей.
Впору вору. Даль слепая.
Брех собачий словно зуд.
Вор и вправду... Конь ступает,
сани ощупью ползут.
Вор куда-то заезжает,
разудала голова,
едет вновь, трясет вожжами,
режет снега кошева.
Что за вздор, мне вор не пара,
разминемся лучше здесь.
Судра, судра, божья кара,
преисподня, звуков смесь.
И при гуде, вое, шипе,
охвативших люто Русь,
в дом крестовый на отшибе,
будто ангел, закачусь.
Сень лампадного уюта,
и на сундуке, чужой,
пригорюнилась Анюта
с перепуганной душой.
Все девчонки на вечерке...
Осадил тебя отец,
сердце руганью исчеркал,
выпил водки под конец.
— Хватит бегать... Сладим дело,
завтра сваты будут к нам.—
Кровь твоя окаменела,
тьмой ударив по глазам.
Ты сидишь, не скинув шубы,
у слезливого окна,
перекошенные губы,
дума жжет тебя одна...
Время мчится. Ходит судра.
Спит родня давным-давно.
Может, полночь, может, утро,
а любви — все равно.
Ты чуть-чуть забылась, малость.
Взлаял пес в сенях и смолк.

И неужели показалось?
По стеклу снаружи — шелк!
Потянулась сладко кошка.
Ты взметнулась — взгляд в упор.
Вот он, вот глядит в окошко,
черт возьми, тот самый вор!
По стеклу трет рукавицей...
Как рукой — с тебя печаль.
Свет лампадный гасишь спицей
и повязываешь шаль.
Дерзновенная минута.
Вор, как видится, не глуп.
Ты усажена, Анюта,
и завернута в тулуп.
Вьется судра. В толще мрака
нет ни неба, ни земли.
И скулит, скулит собака,
что хозяйку увезли.

1932

ДОРОГА

Будь же ты вовек благословенно...
С. Есенин

День-деньской гудит дорога,
в сердце и в уме теснится,
то крута, а то — полога,
а по ней всё колесницы,
всё телеги, всё повозки,
голоса в пространстве: «Трогай!» —
и как тени отголоски...
Вековечная дорога!

Кони — лёт, кипят колеса,
и оглобель — через кочи
сапоги бегут, и посох
ковыляет у обочин,
на снегах визжат полозья,
время вьется кругорого,
в изумрудах и навозе
сумасшедшая дорога!

И сияют сказки, притчи,
и горят костры, как перстни,
и слышны далеко кличи,
топот, свадебные песни,
шепот шелка и ряднины,
пляска бубнов, зовы рога,
пыль — и спины, спины...
Бесконечная дорога!

На постое раб с вельможей,
друг на друга смотрят хмуро.
В белой, в черной, в желтой коже
мужиков и баб фигуры;
спят, целуются,— родятся
пряжи, ткахи, огонь пророка,

кузнецы и рудознатцы...
Незабвенная дорога!

И набухнувшие груди
день и ночь сосут младенцы,
смерть в гробах уносят люди
на расшитых полотенцах;
блещет юность, зорям вторя,
мучит старость, как изжога...
Это — в радости и горе
есмь бессмертия дорога.

1934

* * *

Среди радости русского леса
поднималась она,

хороша,
сто колец прорезало железо,
золотая открылась душа...

Повалилась сосна, повалилась,
подрубили ее мототу
не за слабость корней,
не за хилость,
за величие,
за красоту.

1940

* * *

Горячий солнца глаз.
Деревня.
Рань.

И дрожь души,
и сдавлена гортань.
Конь возле речки.
Рощи в летних ситцах.
О поле русское,
рожь колосится...
Ты здесь родился.
На колени встань!

1953

* * *

Степь!
И синющий жар свиреп.
Созревший злак —
решенье всех судеб.
Душа
в изнеможенье счастья,—
снова
из печи лета
вынимают слово:
Хлеб!

1980

Николай Тряпкин

ЦАРСКАЯ ДОРОГА

Николаю Банникову

А дорога звенит. А дорога свернулась кольцом —
И взлетает, как стриж, и сигает в лесные обрывы.
Эта хвойная глушь! Эти смутные дебри кругом!
Эти древние сны из хвощей, лозняков и крапивы.

Вырывается свет — и гудронка летит, как стрела,
К синеве облаков, в неизвестные русские дали.
И проносится лес. И ударит густая смола.
И опять эти сны из какой-то старинной печали.

Закрываю глаза. И звенят уже где-то в крови
Эти сосны и мох. Эти встречные сучья осины.
Ах ты, русская грусть! Не в тебе ли кричат соловьи —
И в тоске непонятной летят под колесные шины?

А дорога звенит, а дорога свистит под ногой,
И срывается вдруг, и встает на дыбы пред глазами.
Это русская быль. Это царский маршрут столбовой.
Это Грозный Иван, а не коршун промчался над нами.

Вот он, там, впереди, вихревым заметался хвостом,
И взлетела метла, и дорожный развеялся пыльник.
Газани-ка, шофер! И давни-ка его за мостом!
Пусть он знает свое — этот сыч, скоморох и насильник.

Пусть он в прахе исчез. А в потомстве он так недалек.
Он костями исчез. А вот дыхом — в любой еще сваре.
Вон часовня его. Из горбатых камней теремок.
Царь молиться любил. И рыдал в покаянном ударе.

А дорога звенит.

А дорога восходит, как дым.
И, над яром взлетев, разогнавшимся обручем скачет.
И хвоя, как стрела, за стеклом пронеслась ветровым, —
Не его ли стрела?

И не он ли там, сзади, маячит?..

Этот горестный сон! Эти вещи смуты в крови!
Эти сосны и мох! Эти встречные сучья осины!..
Ах ты, русская жизнь!

Не в тебе ли кричат соловьи —
И в тоске непонятной летят под колесные шины?

БУДИЛЬНИК

За моим за изголовьем, там, где тумбочка стоит,
Чешет конник по камням, рысью звонкою стучит,
Звучно цокают подковы. Путь ложится напрямик.
Конь копытами считает каждый камень, каждый миг.

Кто он — всадник неустанный? Просто путник иль гонец?
Из какого он предела и в какой спешит конец?
Среди сумрака ночного, в час бессонницы пустой
Только слышу — точит всадник по звончатой мостовой.

Только цокают копыта, только горница молчит.
Только в сердце отдается стук неведомых копыт.
Кто стучит и что навстречу — сосны, клены иль столбы?
Только сам себе считаешь каждый миг своей судьбы.

А за окнами пустыми — столько звездного огня!
Не оттуда ли послали звонконового коня?
Не туда ли держит всадник на размеренных рысях?
Только цокают подковы. Только холод. Только страх.

РОМАНС

Эта поздняя грусть с переборами!
Этот горестный женский уют!
Ах, закроемся бедными шторами
И примолкнем на десять минут.

Уж давно отцвели одуванчики
И развеялись пухом с полей.
И поблекли твои сарафанчики,
И повыцвели стрелки бровей.

Угости же орехами грецкими, —
Для меня ведь до слез хороши
И твои сундучки горолецкие,
И твои чухломские конши.

Пронесутся года недалекое,
И не век уже нам вековать.
Разойдемся с тобой — одинокие,
Будем в разных концах помирать

И все грустные наши свидания,
И все речи твои и мои
Зацветут в наших снах, как предания,
Запоют, как весной соловьи.

И твои сарафанчики блеклые,
И твое немудрое жилье
За моими закатными стеклами
В божество превратятся мое,

Зазвучат стиховыми повторами,
Семицветной дугой зацветут...
Ах, закроюся бедными шторами
И примолкнуем на десять минут.

* * *

Не алтари и не пророчества,
Не брага звездного ковша —
Меня хранит от одиночества
Моя крестьянская душа.

И всеми стужами вселенскими
Не заглушить моих углей.
Горю дровами деревенскими,
Дышу от дедовских печей.

И суть моя такого качества —
За звездный короб не дрожу.
И к пряслу сельского землячества
Пегаса крепче привяжу:

Тому ль святителю извозному
Служи, мой конь, по мере сил.
Из деревенской нашей роздыми
Ты никогда не выходил.

Не постесняйся, будь товарищем,
Люби оглобли и супонь.
И пусть про Вязму и про Старицу
Опять звенит моя гармонь.

И снова сочными отавами
Дохнут поляны в сентябре.
И вновь за теми переправами
Запахнет гарью на заре.

И никакого там пророчества,
И никаких других святынь...
А если жить уж так расхочется —
Да примет отчая польнь!

Ярослав Смеляков
1913—1972

ПОЗИТИВНАЯ ПРОГРАММА

Ах, где найти мне это свойство,
каких таблеток проглотить,
чтоб поскорее беспокойство
на безразличие сменить.

Хочу глядеть на жизнь чужую,
еще нелегкую пока,
не сострадаю, не ревную,
а сквозь окно, издалека.

Тогда-то, как всегда бывает,
совет ученых докторов
неукоснительно признает,
что я нормален и здоров.

И стану я в порядке частном,
чтоб не попасть обратно впредь,
на всех заблудших, всех несчастных
с улыбкой сытою глядеть.

Публикация
Т. В. Стрешневой-Смеляковой



Виктор Астафьев

ИЗ КНИГИ «ЗРЯЧИЙ ПОСОХ»

...Учась на ВЛК, живя в хороших условиях, бывая в театрах, на концертах и в лит. обществах, я чувствовал себя несколько смущенно, и хотя отправлял посылки с гостинцами на Урал, все же угрызения совести терзали меня. И решил я уж баловать так баловать — свозить свою семью в Дом творчества, аж в Дубулты, куда зимой принимали писателей с детьми, а детей постарше — даже без пап и мам.

И вот поднарядились мои дети и жена, сводил я их в Москве кой-куда, даже в Большой театр, — досе они это вспоминают, и катанули мы на поезде в заманчивую даль.

Приехали в Дубулты. Поселили нас в дальнем корпусе, среди сосен и кустов, всех четверых в одной комнате, — мы и радехоньки. Напротив поселилась пожилая интеллигентная женщина и смущенно представилась тещей Лазаря Карелина.

Прибыл с женою и забалованным, нежным дитем мой земляк Б., известный в ту пору писатель. Работал наездами в Доме творчества и славный мужик Нагишкин.

Приехал наконец-то и такой человек, с которым мне хотелось познакомиться, — Ярослав Васильевич Смеляков. Но случая познакомиться все не было, да и новый, 1961 год накатил, и я подумал, что уж в Новый-то год, в праздник-то, все мы и перезнакомимся, поговорим, а может, и повеселимся вместе...

Теща Лазаря Карелина очень подружилась с моими ребятишками, умно улыбалась, слушая их, радовалась тому, что нисколько они пока не избалованы, что само по себе удивительно в наше время, да еще при виде резвящихся писательских деток, слишком уж рано, как ей кажется, созревших для амурных дел и вольных поступков.

ПУБЛИКАЦИИ



Теща Лазаря Карелина спросила у нас, как мы думаем встречать Новый год? Мы бодро ей ответили, что, наверное, купим бутылку коньяку, бутылку вина, да и придем в столовую, там, в малом зальчике, соберутся все взрослые обитатели Дома творчества, ну, выпьем, поздравим друг друга, поговорим, может, и споем. Теща Лазаря Карелина сказала, что все это очень мило и что она тоже купит бутылочку вина, и с нашего позволения присоединится к нам, и побудет совсем-совсем немного, и незаметно уйдет — она умела быть ненавязчивой. «Конечно, конечно!» — поторопились мы с женою приободрить пожилую женщину, которой тоже не хотелось в Новый год сидеть в комнате одной. Да и кому хочется?

Днем произошел в столовой прелюбопытный эпизод: из Риги явился Ярослав Васильевич и доложил своей жене, Татьяне Стрешневой — человеку столь же крупному, сколь и добродушному, — как он здорово договорился с таксистом: быстро приехал, к обеду вот успел, и вообще он человек удачливый, и таксисты здесь не чета московским — дал вот человеку всего лишь четвертную — и все в порядке! «А сколько на счетчике-то было?» — тихо спросила жена у мужа. «Два рубля, помнится, плюс полтинник на чай», — четко ответил муж жене. «Ты, Ярик, дал этому честному таксисту двести пятьдесят рублей старыми деньгами!» — расстроено сказала мужу жена, судя по одежде и манере держаться, лишних денег в доме не имевшая. «Как это двести пятьдесят?! Как это двести пятьдесят?!» — «А так вот. Двадцать пять рублей нынешних — это двести пятьдесят старых. А на счетчике было два рубля нынешних, а ты дал двести пятьдесят прошедших, старых денег, понимаешь?» — «Я правильно ему дал. Два рубля на счетчике, плюс полтина на чай!..» — все больше закипал поэт. «Нет, не правильно! — возражала упрямая жена. — Ты передал этому человеку-хапуге двадцать два рубля с полтиной новыми деньгами, что в переводе на старые деньги значит — двести двадцать пять рублей...» Тут поэт Смеляков вовсе вскипел, бросил вилку с наколотой на нее сосиской, вскочил на ноги: «Взгляните на нее! — воззвал он к публике, которой в столовке, слава богу, почти не было. — Я дал таксисту двадцать пять рублей, а она говорит — двести пятьдесят! Это как? Это ж...»

Жена слушать мужа далее не стала, вихрем вылетела из столовой. Ну, думаю, сейчас Ярослав Васильевич одумается, извинится перед женой. А он — шапку в охапку и, надевая на ходу пальто, все еще ворча и ругаясь, мимо жены, на берег студеного моря, в ларек, чтобы там объяснить мужикам сложную финансовую

ситуацию, в какую он угодил, и успокоиться, за стаканчиком вишняка.

Вечером поднарядились мы с женой и пошли в столовую. Теща Лазаря Карелина сказала, что подойдет позднее, уж к двенадцати ближе, чтобы никого собою не связывать.

В зале-столовой стояла нарядная елка для ребятишек, которых собралось в Доме творчества уже дивно, и они, которые в парадном, которые еще в будничном, снаряжали зал к празднику, накрывали столы, были возбуждены, как все дети в ожидании праздника.

Лишь в нашем зальчике было спокойно и безлюдно. Мы с женою сели за стол, выставили коньяк и вино и стали дожидаться.

Время близится к десяти, переваливает за десять. Ребятишки в большом зале уже танцуют, гремит музыка. А мы все одни.

Наконец появилась официантка Анечка, поставила перед нами сосиски с капустой, чай, по кусочку сыра и что-то подзамлялась, стала с места на место переставлять посуду и все поглядывала на бутылки, маня выставленные. Я и коньяк-то какой-то дорогой отхватил — гулять так гулять! «Я тэ ж сибирака», — как говорит мой фронтовой дружок, Петька Николаенко, хохол, урожденный в Сибири. А я ведь не только «сибирака», но и писатель, член Союза, пусть и молодой, однако уже издавший несколько книг, печатающийся и в московских журналах, даже толстых...

— Ви чьто, купили вина, да? Для новый гот, да? — спросила Анечка.

— Да, — говорим, — да! Почти всегда встречали Новый год дома — на людях-то некогда было, чаще — и не на что...

— Я дольшна вас огорчить, — опустил глаза и не зная, куда деть руки, продолжала Анечка. — Эти люти, — обвела она рукою вокруг себя, — уже купили вина, точнее скасать, сакасали ужин без вас, давали кухня теньги.

— Как же так? — растерянно произнес я. — Ну, ладно, мы... А как же теща Лазаря Карелина?

— Женщину эту они тоже решили не свать.

— Вот как! — посуровела моя жена. — Они решили! Ну раз они решили, пойдём, Витя, отсюда!

И несолоно, как говорится, хлебавши, даже сосисок не поевши, вышли мы на крыльцо с мраморными колоннами. Стоим. Молчим. Ветер дует с моря, сосны шевелит.

Я закипал. А закипевши, мог натворить всякое. Жена это знала и тянула меня в лес, на берег моря — успокоиться. Но я не хотел успокаиваться. Я хотел напиться в своей комнатке на четверых и прийти сюда, «потолковать». Такой у меня нехитрый, чисто русский план соз-

ревал в голове, когда появилась на крыльце Анечка с накинутым на плечи пальтецом и сказала, чтоб мы не расстраивались, и что, пока не поздно, нам надо «пешать ресторан «Юрмала» и просить отдельный столик, и токта путет хорошо». И еще она сказала, что они «перебивают всей кухней за нас и всей кухней притумали насчет «Юрмала».

— Спасибо, Анечка! — крикнули мы и бегом бросились с территории Дома творчества. Анечка нам помачала рукой.

Ресторан «Юрмала» уже был закрыт. Мы постучали и, когда нам открыли, попросили позвать администратора или директора ресторана. На зов пришла крупная белокурая латышка, уже празднично причесанная и одетая. Мы ей в два голоса объяснили, что только что приехали, нам негде встретить Новый год, и просили нас приютить.

Латышка поначалу сказала: «Что вы! Все столики куплены еще са полмесяца. — А потом на нас посмотрела пристально и вздохнула: — Что делать? Что делать? Знаете что? Есть столик для четверых официантов. Я пойду их просить. А вы пока молитесь, чтоб они сковорчивы были...» — и, обворожительно нам улыбнувшись, дама удалилась.

Не прошло и пяти минут — дама спускается по лестнице и так улыбается, будто не нам, а ей тот столик уступили. «Все порятке! Все порятке! Только вам надо найти еще пара. Столик на четверых. И быстро, быстро!..»

Новый год — чудесный праздник, и чудеса в этот праздник заготовлены для всех людей на свете. Только мы вышли из ресторана, навстречу нам пара, он и она. «Здравствуйте!» — говорят. Мы говорим: «Здравствуйте!» — «Вот мы, — говорят, — молодожены, из России. Сегодня только приехали, на курорт, и нам негде встретить Новый год...»

«И господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век...»

Это был самый памятный праздник в нашей жизни. Я другого такого, шумного, веселого и дружного праздника, не помню. Играл ладный оркестр, и мы вместе плясали, пели, за полночь и столы сдвинули, а молодожены, действительно оказавшиеся молодоженами, все твердили: «Ну и везучие мы! Ну, везучие!»

Из ресторана мы с женою ушли в пять часов утра, многие, в том числе и милые молодожены, остались догуливать.

Проснулся я часов в десять, с ощущением праздника в душе, и подался в столовку. Вся кухня навстречу: «Ну, как было? Хорошо? Хорошо?» — «Во!» — показал я женщинам большой палец. «А стесь было очень плохо, — ска-

зала осупувшаяся лицом Анечка. — Отпи человек рукался насчет вас, пил посута...»

Слегка позавтракав, отправился я по парку, решая вопрос: опохмелиться или не надо? Иду, посвистываю. Навстречу мне Смеляков, смурной такой, сердитый. «Здравствуйте, Ярослав Васильевич! С Новым вас годом!» — «Здорово! И тебя тоже, — пробубнил в воротник Ярослав Васильевич, и спустя время слышу сзади: — Эй, парень! погоди!» Я остановился. И Смеляков остановился. Смотрит на меня издали, и вижу — неловкость его какая-то гнетет. «Пошли!»

Идем. Молчим. Ярослав Васильевич впереди, я немного сзади. Вышли к морю. На дюнах ларек стоит, синий и пустой, единственный, еще не закрытый на зиму, ларск.

— Здорово! С Новым годом! — сказал Ярослав Васильевич и бросил деньги на прилавок. Ларечник подал бутылку хорошего вина, поглядел вопросительно насчет закуски. Ярослав Васильевич отмахнулся и взял лишь тарелку с конфетами.

Допили мы бутылку вина, пошли по песчаному приплеску. Молчим.

— Ты откуда приехал-то? И чего пишешь? — спросил Смеляков.

Я ему коротенько рассказал о себе. Он сбоку глянул на меня, как бы удостовераясь, что я ему не наврал, и, не отводя глаз, сказал:

— Ты, это, извини за вчерашнее. Свинство какое, в бога и спаса мать!

— Да ладно, чего там!

— Ладного тут мало! Не будь всепрощающим... Еще выпить хочешь?

— Давайте. У меня в комнате невыпитые стоят коньяк и вино, да и жена заждалась.

В комнате при жене Ярослав Васильевич снова замкнулся, лишь сказал, войдя: «Извините! — да, взглянув на ребят, спросил: — Ваши?»

Потом мы снова ходили по берегу моря, уже обнявшись, и я все пытался затянуть: «Если я заболею, к врачам обращаться не стану, я к друзьям обращусь...» — и, кажется, плакал. Смеляков потряхивал плечом и бурчал:

— Да ну тебя! Пой чего-нибудь другое. — И ободрял: — Голос у тебя еще ничего! Могуч!

Долго мы тогда ходили, говорили, пели, точнее, пел я. К сожалению, память подгулявшего человека коротка, и запомнил я из рассказов Ярослава Васильевича лишь то, как в юности он писал стихи, а читать их некому, так, скараулив мать у печки, когда ей некуда деваться, он читал стихи, а мать удивленно восклицала: «И откуда чё берется?! И откуда чё берется?!»

Вскоре уехала домой теща Лазаря Карелина. Я помогал ей нести чемодан до автобуса.

Она сказала какие-то добрые слова о моих ребятах, мне пожелала, чтоб я оставался самим собою и никогда не сделался от славы и денег таким, как те, что обидели нас и за которых ей так стыдно, — они ведь тоже москвичи.

Погода стояла хорошая, редкая для Прибалтики в зимнюю пору, без дождей, без больших ветров и бурь, иногда даже солнце выглядывало. Хорошо работалось после московской толчеи и так славно встреченного Нового года. Я катал каждый день вчерне по короткому рассказу и написал их одиннадцать подряд, и один из них до сих пор переиздаю, а это уже удача.

Население Дома творчества стало убывать. Уехал Смеляков с женой.

...Ярослава Васильевича я встречал потом не много, но и не мало раз, все больше на семинарах в работе с молодыми. Был он на этих семинарах строг, остроумен, порой резок, но молодежь все равно таскалась за ним хвостом, и я сам видел на Читинском семинаре, на новом крыльце новой гостиницы, как, «по-русски рубаху рванув на груди», молодой дальневосточный поэт кричал на всю округу: «Я теперь плевать на всех хотел! Меня сам Смеляков поэтом назвал!..»

«Смотри, не замастерись, — сказал мне как-то Ярослав Васильевич. — Вон их, мастеров-то, — и у всех грудь вперед и башка задрана!» — «По-стараясь, Ярослав Васильевич», — ответил я ему. Через какое-то время узнал я, что тяжело он болен и больной, из больницы пишет самоироничные, как всегда «доходчивые» и совершенно какие-то по-детски искренние стихи. Одно из них меня особенно поразило. Это «Ответ» на то самое самонадеянно-юное, ярчайшее и в поэзии Смелякова, всеми, особенно молодежью, любимое: «Если я заболею, к врачам обращаться не стану, я к друзьям обращусь...»

Поскольку «Ответ» отчего-то не пошел в народ и его мало знают, а стихотворение это достойно того, чтобы его знали, — меж первым и вторым стихотворением — целая жизнь! И какая жизнь! — я воспроизведу его здесь:

Я на всю честную Русь заявил, смедея,
Что к врачам не обращусь, если заболею.
Значит, сдуру я наврал или это снится,
Что и я сюда попал, в тесную больницу!
Медицинская вода и журнал «Здоровье».
И ночник, а не звезда в самом изголовье.
Ни морей и ни степей, никаких туманов,
И окно в стене моей голо без обмана.
Я ж писал больной с лица, в голубой тетради
Не для красного словца, не для денег ради.
Бормочу в ночном бреде фельдшернице Вале:
«Я отсюда уйду! Зря меня поймали.
Укради мне — что за труд?! — ржавый ключ острожный».
Ежели поэты врут, больше жить не можно.

...Сырым, зимним днём, да что там сырым — промозглым, слякотным, Слава Дворжецкий — прекрасный киноартист, поздновато открытый нашим кино и лишь частично реализовавший яркой свой дар, вез нас на своем грязнущем, полуразбитом «жигуленке» на Новодевичье кладбище, где похоронен Ярослав Васильевич, на еще одну годовщину поэта.

Сзади в машине хохлилась от холода и вновь остро прихлынувшего горя Татьяна Стрешнева, теперь уже вдова поэта Смелякова.

С нею мы познакомились ближе в поездке по Молдавии. Я ее, Таню, узнал сразу, хотя после Дубулт и не видел вроде бы, подсел к ней в автобусе и заговорил об Ярославе Васильевиче и обо всяких разных разностях. Таня кивала головой, соглашалась вроде, а на одной из остановок и говорит кому-то:

— Где-то тут в нашей бригаде Астафьев едет, я давно с ним хочу познакомиться, а этот кривой... меня совсем заговорил!

Таня есть Таня, обижаться на нее невозможно, и, захохотавши, я выступил вперед и представился ей.

С тех пор мы дружим, и я нечасто, но все же вижу Тапю, бываю у нее дома. Милый, славный человек, умеющий скорбеть и хранить память о любимом муже без привычной московской показухи. Трудно ей вести нелегкую свою семью, много работать над переводами и изданиями покойного мужа да еще и написать стихи, достойные памяти замечательного поэта, — они называются: «Вдова».

Ярослав Васильевич похоронен в дальнем конце кладбища, где покоятся достойные великого времени и русской литературы писатели: Твардовский, Исаковский, С. С. Смирнов, Кирсанов и еще некоторые.

Положили цветы, постояли, насквозь уже промокшие от кислого снега. Таня совсем согнулась, погрузнела, что-то попыталась рассказать и смолкла. Потом сходили к Шукшину — это в другом конце, положили отделенные от Смелякова цветочки в ворох цветов и красной калины. С мокрого, сиротливо плачущего портрета, обрамленного черными лентами, смотрел Василий Макарович, который совсем недавно был у меня дома, говорил, еще больше слушал, и поскольку на похоронах его я не был, то и не воспринимал его покойным в этой кладбищенской тесноте.

Домой, на дачу, мы вернулись совсем продрогшие. Невестка и родичи Смеляковых, близкие и дальние, уже накрыли на стол. Таня еще с ночи напекла пирогов, прикрыла их в горячей духовке.

Небольшим, но очень душевным кругом мы помянули славного человека и поэта. Я пови-

...идея, насчет Новодевичьего кладбища; что, мол, мы — растяпы, так и не «достали» там места для Александра Николаевича Макарова.

Тапя опустила глаза и заметила:

— Не сожалей, Витя. Пусть покоится там, где покоится. Ярик ведь тоже хотел быть похороненным совсем по-другому. — Она протянула руку к полке и уверенно достала, — видно, множество раз ее вынимала и читала — «Декабрь» — самую, быть может, пронзительную, с трагическим ощущением и все с той же, но уже горькой самоиронией, предсмертную книжку Ярослава Смелякова. Коротко заглянув в нее, заложив палец между листков, Таня откинулась на спинку стула, закрыла глаза и в полной тишине прочитала:

Когда умру, мои останки
С печалью, сдержанно, без слез,
Похороны на полустанке
Под сенью слабою берез
Мне это так необходимо,
Чтоб поздним вечером, тогда,
Не остапавливаясь, мимо
Шли с ровным стуком поезда
Ведь там лежать, в земле глубокой,
И одноко, и темно.
Лети, светись неподалеку,
Вагона дальнего окна.
Пусть этот отблеск жизни мплой,
Пускай щемящий отблеск тот
Пройдет, мерцая, над могилой
И где-то дальше пропадет...

Таня смолкла. И все долго молчали.

— Стихотворение называется: «Попытка за вещания». Посвящено Т. С. — это значит мне, — как-то отрешенно и далеко-далеко прозвучал голос Тани.

— Что ж вы, московские жены, так плохо слушаетесь мужей? Не выполняете их последнюю святую волю? — так или приблизительно так прозвучал мой упрек, быть может, вслух и не сказанный, но еще после смерти друга моего, Александра Макарова, возникший во мне.

Таня не просто вдова поэта, сама — поэт, она услышала меня, ибо и самой себе этот упрек, наверное, адресовала не раз, многократно, ежечасно, как я потом понял.

— Горе, сколь к нему ни готовься, все равно застает врасплох, — тускло, вовсе не оправдываясь, как бы размышляя вслух, продолжала Таня. — Окаменела вся после кончины Ярика, ничего не понимаю, ничего не слышу. Опомнилась, а Ярик уже на Новодевичьем лежит. А я вот здесь. Ну да что теперь? — вздохнула глубоко и протяжно вдова. — Давайте выпьем за то, чтоб земля ему пухом была, и... читаем его стихи.

И до поздней хмурой зимней ночи сидели мы в теплом доме. Дом шатало непогодой, выло где-

то сверху, на чердаке и в проводах, по окнам плыл снег, шумели и голые липы в саду, мерцал и плавился свет уличного фонаря, псы дремали под столом, доверчиво положив свои морды на наши теплые ноги, и было нам вместе грустно и сладостно-больно. Тихо звучали в полутьме тихие стихи.

Николай Старшинов

О ЯРОСЛАВЕ СМЕЛЯКОВЕ

Ярослав Смеляков очень поздно — почти в пятьдесят лет — пристрастился к рыбалке. Но полюбил ее беззаветно.

Человек, щедро наделенный чувством юмора, он его нередко утрачивал на рыбалке, становился совсем ребенком.

Весной 1962 года мы ловили рыбу на Плещеевом озере, там, где некогда Петр I еще в отрочестве своим сделал первую попытку создать русский флот.

Мы подъехали к берегу, противоположному древнему городу, поставили моторку у травы и приступили к рыбной ловле.

В лодке было пятеро — лодочник, Я. Смеляков, В. Костров, моя жена и я. У Смелякова что-то не клевало. А моя жена каждую минуту просила меня:

— Надень червя!

Я надевал. Она забрасывала удочку по-женски, через голову, и каждый раз попадала в самые водоросли.

Я шипел на нее:

— Перебрось, там только крючки отрывать!..

Она вытягивала удочку, и на ее крючке оказывалась рыбешка.

Она снова просила меня:

— Надень червя.

Я снова надевал, она забрасывала в траву и снова вытаскивала рыбешку.

У Ярослава по-прежнему не клевало. Он мрачнел, мрачнел, наконец не выдержал и:

— У какой-то дурехи девчонки каждую минуту на крючке рыбка, а у меня, большого советского поэта, — ни одной!..

Действительно, рыба совсем не хотела считаться с тем, кто ее ловил...

Через несколько дней Ярослав пригласил меня на рыбалку в Тарусу, где он снимал дачу...

Когда я проснулся на рассвете и вышел в огород, увидел там его. Вид у Ярослава был праздничный: на нем был новый костюм светлого цвета, ослепительно белая рубашка. Он яростно копал землю лопатой, разламывал руками крупные комья земли, собирал и складывал червей в банку. А вокруг него суетливо бегал его пасынок Алешка и упрашивал:

— Дядя Яр, возьми и меня на рыбалку!..
Дядя Яр, возьми и меня на рыбалку!..

Ярослав, как это он хорошо умел, крепко выругался и:

— Как червей копать, так дяде Яре, большому советскому поэту, а как рыбу ловить, так тебе!..

Алешку на рыбалку он так и не взял...

Мы подплыли к дальнему берегу Оки, заросшему кугой, бросили якорь.

Рыба клевала из рук вон плохо — за три часа мы с трудом паловили на жиденькую уху. Одну мелочь.

И вдруг мой поплавок стал медленно притапливаться. Решив, что это берет крупная рыба, я осторожно подсек и почувствовал на удочке тяжесть добычи.

Но на крючке оказалась не рыба, а толстая веревка. Я стал тянуть ее и вытащил плетенную из ивняка огромную вершу.

Видимо, она уже очень долго лежала на дне, — когда мы с трудом вытянули ее в лодку, почти до половины она была наполнена жидким илом, а по нему ползал большой черный рак и прыгали две крупные плотвицы.

И тут произошло то, чего я никак не ожидал.

Ярослав бросился к верше, нырнул в нее, просунув руки в ее горловину.

Дрожащими от волнения пальцами ловил оп подпрыгивающих на иле рыб. А на его новый светло-серый костюм и ослепительно белую рубашку текла грязь. Рукава пиджака, воротник, спина были уже все заляпаны илом.

— Ярослав, что вы делаете?!

— Подождите! — он вынырнул из верши, отдышался, бросил рака и плотву в ведро: — А теперь поплыли домой... Только скажите Тане и Алешке, что это я сам все поймал!.. — И он снова совершенно по-детски улыбнулся...

Судьба Ярослава Смелякова сложилась очень не просто и не легко. И все-таки он сохранил детскую непосредственность, которая распространялась на многое, в частности и на его суждение о месте, которое он занимает в русской советской поэзии.

Мы были несколько лет соседями, и мне передко доводилось говорить с ним на эту тему.

Некоторое время он считал себя первым поэтом из живущих в те годы. Потом, не без огорчения, но очень твердо и навсегда признал:

— Нет, все-таки первый поэт — Александр Твардовский. Я — второй.

Потом он на какое-то мгновение замаялся и добавил:

— Правда, есть еще Леонид Мартынов. Он мастеровитее меня...

А еще после паузы добавил решительно:

— Но зато я гражданственной!..

Что же, если говорить серьезно, это его мнение было близко тогда к истинному положению в поэзии.

В одном из сильных своих стихотворений Ярослав Смеляков очень точно сказал о том, что он тянется к молодым поэтам «с добротой раздраженной».

Я видел это нередко, и в частности на межобластном совещании молодых поэтов в Ярославле, где мы с ним руководили одним семинаром. Он с отеческой добротой отнесся к молодым тогда Александру Романову и Василию Белову (да, В. Белов начинал со стихов).

Помню, с каким интересом ознакомился оп с готовящимися к печати в журнале «Юность» стихами О. Дмитриева и В. Кострова.

Но даже самые положительные оценки стихов давал он с таким видом, как будто был разочарован в чем-то, чем-то недоволен, — с «добротой раздраженной».

У меня всегда вызывали восхищение эпитеты Я. Смелякова. Они ему удавались, как никому, были, на первый взгляд, просты и в то же время точны и неожиданны. Уже упомянутая выше «доброта раздраженная» может служить хорошим примером этого.

Светлана Кузнецова

* * *

Были сытые годы
И годы голодные.
Я к горячим щекам
Приложила ладони холодные.
Ведь, когда родилась,
Где родиться, меня не спросили.
Я стою посредине
До боли огромной России.
Я стою, понимая,
Что только по случаю
На земле этой мною
Россия получена,
Что случайно, как то,
Что глаза мои серые,
Я плачу за судьбу свою
Русскою мерою,
Мерой русских пространств,
Что вовек не освою,
На которых взойду я
Зеленой травой,

Мерой русских богатств,
Мерой русских угодий...
«Заплати за меня
Тот, кто сердцу угоден!
Заплати! Я мала,
А Россия большая,
И живу я,
Законы свои нарушая.
Дай мне время понять,
Дай осмыслить все толком.
Заплати! Помоги мне
Разделаться с долгом!»
Так я в юности давней
Молила и пела.

...Я сама заплатила
Всем тем, что имела.

* * *

Проклиная лихую погоду,
Рукодельные злые моря,
Я войду в эту стылую воду,
В эти тусклые дни ноября.

Отразившись в реке безотрадно,
Безотрадно взглянув в небеса,
Я пойму, что меня безоглядно
Покидает былая краса.

Что меня покидает богатство,
Не суля утешенья взамен,
Что бессильно мое ретроградство
Перед этой ордой перемен.

Что напрасна попытка укором
Разогнать неминучую тень,
Удержать над российским простором
Золотой остывающий день.

Что пора, как свое поражение,
Этот сумрак принять неживой,
Где листья облетевшей круженье
Словно нимб над моей головой.

* * *

Я глупой боязни подвержена тоже
И среди всего, между прочим,
Избегаю носить змеиную кожу,
Хоть это изысканно очень,
Хоть с тем согласны мысли мои,
Что гады прекрасны эти
И бог ничего совершенней змеи
Не создал на белом свете.

Андрей Вознесенский

МАЛЫЙ ЗАЛ

Я люблю в Консерватории
не Большой, а Малый зал.
Словно скрипку первосортную,
его мастер создавал.

И когда смычок касается
его певчих древесин,
Паганини и Казальсы
не соперничают с пим.

Он касается Истории,
так что слезы по лицу.
Липы спиленные стонут
по Садовому кольцу.

Сколько стона заготовили...
Не перестраивайте вы
Малый зал Консерватории —
скрипку скрытую Москвы.

Деревянные soprano
венских стульев без гвоздей.
Этот зал имеет право
хлопать посреди частей.

Белой байковой прокладкой
скутан пол и потолок —
исторической прохладой,
чтобы голос не продрог.

Когда сердце спротою,
не для суетных смотрин
в малый сруб Консерватории
приходить люблю один.

Он еще дороже вроде бы,
что ему грозит пожар, —
деревянной малой родине.
Обожаю Малый зал.

Его зрители — студенты
с гениальностью в очах
и презрительным брезентом
на непризнанных плечах.

Пресвятая профессура
исчезающей Москвы
нос от сбившейся цезуры
морщит как от мошканы.

Герцена интеллигенция!
Кто раскаялся, кто лгал,
пусть подаст как индальгенцию
контрамарку в Малый зал.

В этом схожест с братством ложн
я до дрожи узнавал.
Боже,
как люблю я Малый зал!

Даже не консерваторская,
а молитвенная тишь.
В шелковой косовороточке
тайной свечкой ты стоишь.

Облак над консерваторией
золотым пронзен лучом —
как видение Егория
не с копьем, но со смычком.

РЕДКАЯ КРАЖА

Обнаглели духовные громилы!
На фургон с Цветаевой совершен налет.
Дали кляп шоферу — что
не декламировал.
Драгоценным рифмам настает черед.

Значит, наступают времена Петрарки,
когда в масках грабящие мужи
кореты перетряхивали за стихов тетрадки.
Масскультурники вынули ножи.

Значит, настало время воспеть Лауру
и ждать, когда придет в пурпурном
подводном шлеме Дант.
У бандитов тоже есть дни культуры.
Угнал вагон Высоцкого какой-то дебютант.

Запирайте тиражи,
скоро будут грабежи!..

«Граждане давайте воровать
и спекулировать,
и из нас появится Франсуа Вийон!
Он издаст трагичную «Избранную лирику»
Мы ее сворует и боданем».

Одному поэту пролсмили череп
и выкрали песни лесных полян,
и его застенчивый щеголоватый щебет
гонит беззастенчивый спекулянт.

А другой собою спекульнул руладно,
он теперь без голоса —
лишь хлюп из гланд.
Спекулянт бывает порой талантлив.
Но талант не может быть спекулянт.

Но если быть серьезным —
Время ждет таланта.
Пригубляйте чашу с молодым вином!
Тьма аквалангистов, по нету Данта.
Кое-кто ворует — по где Вийон?

Но главное, что время воспеть Лауру!
И кто-то уже бросил монетки в автомат.
«Пройдемся, — позвонит мне.
— Уснули караулы.
Я — Дапт».

ДОГАДКА

Ну почему он столько раз про ось,
сосущих ось земную, произносит?
Он, не осознавая, произнес:
«Ося...»

Поэты любят имя повторять —
«Сергей», «Владимир» —
сквозь земную осыпь.
Он имя позабыл, что он хотел сказать.
Он по себе вздохнул за тыщу лет назад:
«Ох, Осип...»

В ТОПОЛЯХ

Эти встречи второпях,
этот шепот торопливый,
этот ветер в тополях —
хлопья спальни тополиной!

Торопитесь опоздать
на последний рейс набитый.
Торопитесь обожать!
Торопитесь, торопитесь!

Торопитесь опоздать
к точным глупостям науки,
торопитесь опознать
эти речи, эти руки.

Торопитесь опоздать,
пока живы — опоздайте.
Торопитесь дать под зад
неотложным вашим датам...

Господи, дай опоздать
к ежедневному набору,
ко всему, чья ипостась
не является тобою!..

Эти шавки в воротах.
Фары вспыхнувшим рапидом.
У шофера — второй парк.
Ты успела? Торопитесь...

ШТИЛЬ

Вторую ночь без всякой дрожи
под круглой красною луной
отвесно врезана дорожка
неумолимою рукой.

Ты говоришь: «То зодчий ада,
чтобы задумалась толпа,
нас тешит планом и фасадом
огненновидного столба».

ДРУГАЯ

Нельзя в ту же реку стать дважды.
Верните коня на скаку.
Когда возвращается жажда,
верните за гриву реку.

Ты вечно, ты вечно другая,
река, возвращенная вспять.
Как в кроле
рука, засыпая,
высвободится опять...

Глеб Горбовский

(Ленинград)

* * *

То был ручей, потом река,
затем поток и безграничность...
Я клюкву ел, как в те века,
когда здесь мамонт домовничал;
я воду пил, сидел на пне
и вдруг хмелел от гордых смыслов:
в какой немислемой стране,
в каких просторах я родился!
Бородачи, богатыри, —
мужик ли, царь страны дремучей,
сумели, что ни говори,
добыть земли... На всякий случай.
Понятно, Русь возвел народ:
крестьянин, страж, землепроходец.
Но ведь и царь косматый тот
не только пекся об охоте
да о блинах... Не лыком шит,
поспит, поврет, мозоль почешет
и в бой идет! И враг бежит!
И царь хохочет, точно леший...
Тираны нам не ко двору,
царей подмел свободы ветер.
Все так... Но медному Петру
я улыбнусь... И он — ответит!

...То был ручей, потом река,
потом поток великой силы.
И нет, без тех, из далека,
пи дел, ни имени России!

* * *

Ночь сырая. Непроглядье.
Лес, дороги коридор...
Тишь и тьма — с боков и сзади.
Впереди горит костер!
А в душе сквозняк, смятенье:
кто они — во тьме ночной?
У костра маячат тени...
Светлой нету ни одной.
Постоял, переминаясь
молча — на ногу с поги...
Что же делать, мать честная?
Подойти? а вдруг — враги?
Подбираюсь все же ближе.
Утешаюсь, как могу, —
я сильнее: я их вижу.
Если надо — убегу.
Нас не тронь — и мы не тронем.
Через час придет рассвет.
...Мудрый, мощный, электронный,
век двадцатый, дай ответ:
почему так нервно, вздрбно,
тяжко, словно в пекле дней,
в невесомой, иллюзорной,
хрупкой душеньке моей?

ПЛАЧ ЗА ОКНОМ

Через час погаснет город,
растегнет Нева мосты.
За таинственным забором
вздвонут зябкие цветы.
Тишина, как нить, пронизает
осовелые дома...
И промолвит некто свыше:
скоро, граждане, зима.
А потом во тьме висячей
сквозь подушку, как сквозь гром,
я услышу: кто-то плачет
там, в пространстве за окном.
...И начну я тихо сборы,
влезу в обувь и пальто,
робко выйду в спящий город,
чтоб воскликнуть: плачет — кто?!
Но никто мне не ответит,
потому что всякий раз
мой вопрос относит ветер
в даль крошечную от нас...



Белла Ахмадулина

НОЧЬ УПАДАНЬЯ ЯБЛОК

Уж август в половине. По откосам
по вечерам гуляют полущалки.
Пришла пора высокородным осам
навязываться кухням в приживалки.

Как женщины глядят в судьбу варенья:
лениво-зорко, неусыпно-слепо —
гляжу в окно, где обитает время
под видом истекающего лета.

Лишь этот образ осам для пирушек
пожаловал — кто не варил повидла.
Здесь закипает варево покруче:
живьем съедает и глядит невинно.

Со мной такого лета не бывало.
Да и не будет! — слышу уверенье.
И вздрагиваю: яблоко упало,
на «НЕ!» — извне поставив ударенье.

Жить припустилось вспугнутое сердце,
жаль бедного: так бьется кропотливо.
Неужто впрямь пебытия соседство,
словно соседка глупая, болтливо?

Нет, это август, упадапье яблок.
Я просто не узнала то, что слышу.
В сердцах, что собеседник непонятлив,
неоспоримо грохнуло о крышу.

Быть посему. Чем кратче, тем дороже.
Так я сижу в ночь упаданья яблок.
Грызая и попирая плодородье,
жизнь милая идет домой с гулянок.

ИГРЫ И ШАЛОСТИ

Мне кажется, со мной играет кто-то.
Мне кажется, я догадалась — кто,
когда опять усмешливо и тонко
мороз и солнце глянули в окно.

Что мы добавим к солнцу и морозу?
Не то, не то! Не блеск, не лед над пим.
Я жду! Отдай обещанную розу!
И роза дня летит к ногам моим.

Во всем ловлю таинственные знаки,
то след примечу, то заслышу речь.
А вот и лошадь запрягают в санки.
Коль ты велел — как можно не запретить?

Верней — коня. Он масти дня и снега.
Не все ль равно! Ты знаешь сам, когда:
в чудесный день! — для усиления бега
ту, что впрягли, ты обратил в коня.

Влетаем в синеву и полыханье.
Перед лицом — мах мощной седины.
Но где же ты, что вот — твое дыханье?
В какой союз мы тайный сведены?

Как ты учил — так и темнеет зелень.
Как ты желал — так и поют в избе.
Весь этот день, твоим родным издельем,
хоть отдан мне — принадлежит тебе.

А ночью — под угрюмо-голубою,
под собственной твоей полулуной —
как я глупа, что плачу над тобою,
настолько сушим, чтоб шалить со мной.

ЧЕРЕМУХА ТРЕХДНЕВНАЯ

Три дня тебе, красавица моя!
Не оскудел твой благородный холод.
С утра Ольга Ивановна приходит:
— Ты угоришь! Ты выйдешь из ума!

Вождь белокурый странных дум, три дня
твои я исповедовала бредни.
Пора очнуться. Уж звонят к обедне.
Нефёдов нынче снова у меня.

— Все так и есть! Душепогубный цвет
смешал тебя! Какой еще Нефёдов?
— Почуевский ученый барин: с ёдром
нас поздравлял как добрый наш сосед.

— Что делает растение-озорник!
Тут чей-то глаз вмешался, чья-то зависть.
— Мне все, Ольга Ивановна, казалось, —
к чему это? — что дом его сгорит.

Так было жаль улыбчивых усов,
и чесучи по-летнему, и трости.
Как одуванчик — кружевные гостьи
развеются, все ветер унесет.

— Уж чай готов. А это, что спело
тебя с ума, я выкину, однако.
И выгоню Нефёдова. — Не надо.
Все — мимолетно. Все пройдет само.

— Тогда вставай. — Встаю. Какая глушь
в уме моем, какая лень и лунность.
Я так, Ольга Ивановна, люблю вас,
что поневоле слог мой неуклюж.

Пьем чай. Ольга Ивановна такой
высккивает позы, чтобы глазом
заботливым в мой поврежденный разум
удобней было заглянуть тайком.



Как чай был свеж! Как чудно мед горчпл!
Как я хитра! — ни чаем и ни медом
не отвлекусь от знания, что Нефёдов
изящно-грузно с дрожек соскочил.

С Нефёдовым мы долго говорим
о просвещение и, при встрече рюмок,
о мрачных днях Отечества горюем
и вялое правительство браним.

Конечно, о Толстом. Мы, кстати, с ним
весьма соседи: Серпухов и Тула.
Затем, гнушаясь низменностью стула, —
о будущем, чей свет неодолим.

О, кто-нибудь, спроси меня о том... —
нет никого! — мне все равно! пусть спросит:
— Про вас все ясно. Но Нефёдов сродствен
вам почему? Ведь он-то — здрав умом?

— О, совершенно. Вся его родня
известна здравомыслием, и сам оп
сдавал по электричеству экзамен.
Но — и его черемухе три дня.

Нет никого — так пусть молчат. Скорей!
Нефёдов милый, это вы сказали,
что прельщены зелеными глазами
Цветаева двух юных дочерей?

Да, зеленью под сильной кручей лба,
как и сказал, он был прельщен. А как же
не быть? Заметно: старшей, музыкантше,
назначена счастливая судьба.

— Я б их привел, но — зябкая весна,
и, кажется, они теперь на водах.
— Они в Нерви. Да и нельзя, Нефёдов,
не надобно: их матушка больна.

Ушел. Ольга Ивановна вошла.
Лишь глянула — и сразу укорила:
— Да чем же ты Нефёдова кормила?
Ей-ей, ты не в себе, моя душа.

— Он вам знаком? — Еще бы не знаком!
Предобрый, благотворный, только —
нервный.

Хвала моей черемухе трехдневной!
Поздравьте нас с ее четвертым днем.

Он начался. Как зелены леса!
Зеленым светом воды полыхнули.
Иль это созерцают полнолуние
двух девочек зеленые глаза?

Василий Субботин

СТАРИК АНТОКОЛЬСКИЙ

Несмотря на то что Павлу Григорьевичу в то время, сразу после войны, едва исполнилось пятьдесят лет, все мы, поэты фронтового поколения, ласково, любовно называли его стариком. «Старик» здесь звучало как «отец». «Как старик?», «Что старик?» — спрашивали мы в те дни друг у друга.

Едва ли кто-нибудь станет отрицать, что Павел Григорьевич Антокольский сыграл очень большую роль в судьбе поэтов фронтового поколения. Как-то так случилось, что в те нелегкие для нас дни по возвращении с войны мы с нашими первыми стихами приходили именно к нему. К нему — раньше, чем к кому-нибудь другому.

Сам он пишет об этом так: «После войны появились молодые поэты, пришедшие из армии и ею воспитанные. Потрясающий душевный и исторический опыт войны был темой их первых книг. Дружба и близость с ними стала насущной потребностью для меня».

Один из вечеров, проходивших в то время в нашем Доме литераторов, так, помнится, и назывался: «Павел Антокольский и его ученики».

Я встретил Павла Григорьевича, вернее было бы сказать, впервые увидел его в 1943 году, зимой, в январе или феврале месяце, в Горьком, в клубе танкового училища, куда он приехал в тот год. Это было вскоре после того, как погиб его сын, Володя. Я говорю «вскоре», потому что такие потери всегда близко, рядом... Павел Григорьевич читал нам куски поэмы своей. Я говорю «куски», потому что это слово подходит больше, чем другие все... «Прощай. Поезда не приходят оттуда. Прощай. Самолеты туда не летают...»

Он читал так, как будто отрывал пласты сердца своего.

В холодном зале стоял пар от дыхания солдат.

Нам еще всем предстояло отправиться в ближайшее время туда, на передний край, на фронт.

Я не помню теперь, но, наверно, на второй же день после этой встречи кого-то из этих ребят, тех, что сидели в этом зале, Павел Григорьевич пригласил для беседы к себе, в одну из аудиторий этого города, в редакцию областной

газеты, должно быть. И я был в числе тех, кто был приглашен, потому что, не трудно догадаться, я уже писал и даже успел напечатать несколько стихотворений.

Адрес и даже телефон Павла Григорьевича остался после этой встречи в моей записной книжке, как остался оп, наверно, и у других моих товарищей, слушавших Павла Григорьевича, пришедших на встречу с ним. Это все имеет отношение к моему дальнейшему рассказу.

Прошло еще два, от силы три месяца, и я оказался в Москве, в эшелоне, отправляющемся на Калининский фронт. Я думаю, вы поймете то, что произошло дальше. Мне некому было позвонить, и я, по единственному записанному в моей записной книжке телефону, из автомата, стоящего здесь же, на перроне, за минуту до отправления нашего поезда — позвонил ему, Павлу Григорьевичу. Вы понимаете меня? Мне некому было позвонить, и я позвонил ему.

Вы легко себе представите сейчас Павла Григорьевича в тогдашней Москве, его положение в минуту, когда я позвонил ему. Он и виду, конечно, не подал, что не понимает, кто ему звонит, но он понял, что звонит солдат, отправляющийся на фронт. Мгновенно все это сообразив, он сказал мне:

— Обещайте мне вернуться с войны! — сказал он и прибавил еще какие-то очень добрые, ласковые слова, которые я хотел услышать тогда.

Прошло еще не знаю сколько времени, сколько дней, может быть, месяцев, напряженных боев за каждую высоту, за каждый населенный пункт, зима была тяжелая, мы продвинулись всего на несколько километров и потеряли много людей, и однажды, после одного задохнувшегося наступления, я послал Павлу Григорьевичу, опять же ему, несколько своих, первых сколько-нибудь фронтовых и, наверно, очень еще беспомощных стихотворений. И вот какое письмо я получил от него: «Сказать по правде, я совсем не помню вас в Горьком, но ведь это совсем и не важно: пишете стихи, любите поэзию, — значит, нам есть о чем поговорить друг с другом...»

И вот закончилась война. Я прпехал в Москву из Берлина... И рейхстаг уже был взят, только к этому не было ни у кого тогда никакого особого интереса. Ну подумаешь, рейхстаг, когда выиграна такая большая война! И я, оказавшись в Москве, пошел — ну к кому? — конечно, к нему, к Павлу Григорьевичу. На улице Щукина, в дом № 8-а. Помню заставленный книгами кабинет, где книги стояли, как в библиотеке, ходить приходилось между полками, потому что полки были не у стен, а как в книго-

хранилище ~~каком — посреди комнаты!~~ И всю нашу тогдашнюю беседу помню. Все в памяти.

И еще немного прошло времени, немного — это так сейчас кажется, а тогда месяца казались большими, длинными, и я опять послал ему, наверно, это был год сорок шестой, с Урала, свои новые стихи, тоже о войне, все еще о войне, на этот раз уже только о войне. И опять, тут же, сразу, получил от него новое письмо:

«Ваши стихи кажутся мне интересной попыткой отточенных и сжатых формулировок... Это мало тронутый в нашей поэзии жанр...» И дальше — менее похвально: «Избранный вами жанр требует кинжального прицела».

Под письмом этим стоит дата: 27 октября 1946 года.

Разговор, как видите, шел уже всерьез. Во всяком случае, так тогда мне это показалось. Так я понимаю это и сейчас.

И незадолго до первого, памятного нам совещания молодых, на которое собрались все участники войны, это уже сорок седьмой год был, я опять пришел к нему. И вот записка, которую он дал мне тогда в наш писательский клуб, куда сейчас вход так свободен, что нас, тех, кто постарше, уже окликают, спрашивают у дверей: «Товарищ, вы куда?!» Записка эта у меня сохранилась. Она помечена 27 января 1947 года. «Подателя сего прошу пропустить на собрание секции поэтов». Собрания, разумеется, никакого не было, но в клуб тем не менее меня пропустили. Не прошло и двух минут, как я разговаривал с Семеном Гудзепко и Михаилом Лукониним и читал им свои стихи.

В моей книге, в рассказе о Павле Григорьевиче, сказано:

«Павел Григорьевич, как санитар, на спине своей перетаскал с войны все наше поколение военных поэтов... Потеряв сына, он всю свою любовь перенес на нас».

Павло Тычина

1891—1967

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

Межпланетные интервалы!
Солнце (сквозь сей сон), Юпитер...
А меж ними не хоралы —
Ветер

Марс — как бога! — Марс, Венера.
Друга ждут везде, как бога:
Очи революционера,
Долго

Крик в межзвездном лоне длится:
Мы б цвели, паслись на воле! —
Но душа, душа томится —
Горе

Мы б как травы, как отавы...
Но проклятье тоже стынет!
И на сердце не октавы —
Ныне

1919

КОМИТАС

Гудит горою черный гром.
Огонь, вскрылив, погас.
— Не виден день и белым днем! —
Рыдает Комитас.
Приносят тучи черный страх —
и боль приходит вновь.
— Ой, снова в черных небесах
звезда, как будто кровь.
Летит сквозь даль, сквозь горький час,
не затихая «ля».
Во тьме рыдает Комитас,
рыдает с ним земля...

1935

К САМОМУ СЕБЕ И МОЛОДЫМ ПОЭТАМ

Тополи арфами гнутся...
(Из моего стихотворения
«Закучерявились тучи»)

Тополя арфами гнутся? Это не арфы.
В волненье тополя начинают дрожать,
бури встречая, какие князья и монархи
с Запада шлют. То оттуда черная рать

все похвалялась — ты слышал, в годы
тридцатые.

А в сорок первом: нагрнула все же она
на землю, сжигая поля, сметая хаты,
давя все живое. И началась война.

Не эти тополя в юности видел в деревне.
Не арфами гнулись, сердечные, вниз.
Весь мир это знал: на согбенных деревьях
повешенных мучил проклятый фашизм.

Как ответственно творчество — мудрое слово!
В испытаниях грозных, в решающий час
ты стоял сам, напружиненный и суровый,
не разрешая словесных себе выкрутас.

Тополя и сейчас гнутся. Но это не арфы.
О, нет! Взволнованные, поют нам опять,
чтоб бури встречали, какие князья, монархи
с Запада шлют и не раз, и не два, не пять.

Слушай, поэт! Не бойся сердечной нагрузки,
люби красоту при свете дневном, в ночи —
не будь в своем творчестве цветастым
да узеньким,
пусть голос геройски, мужественно звучит!

1967

Перевел с украинского
Анатолий Парпара

Владимир Карнеко

ЦЕНА

Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?..

А. С. Пушкин
«Египетские ночи»

Когда пастал
мой срок в судьбе
влюбляться в женщин,
я намечтал
богинь себе —
никак не меньше.

Они являлись предо мной
в стихах и в прозе,
п мраморною белизной,
и в звонкой бронзе.
Я среди тех богинь витал
мечтой крамольной...

А над площадкой мяч летал,
над волейбольной!
И не в тунике золотой —
в простой кофтенке
резвилась на площадке той,
смеясь, девчонка...

Ах, если б знать, что этот смех —
знать все с начала! —
ваятельница жизнью всех
мне назначала!

Тебя
не знаю из чего
она слепила...
Но ты пришла, как торжество,
и — ослепила!
Что холод мраморных богинь?
Я знаю ныне:
вся их божественность —
полынь!
Лишь ты — богиня!
Свежа, как в капельках дождя
цветок жасмина,
ты, мимо тех богинь пройдя,
их всех затмила!

И было все наоборот:
не мрамор — тело!
Но —
отдаваясь —
с тех высот
ты не слетела;
был снежных облаков восторг,
а не перина!
Богини затевали торг,
а ты — дарила!
Дарила мне страстей костры
порою внешней...
Чем заслужил я те дары,
земной и грешный?
О, не спеши,
о, не спеши
раздать всю милость:
дари не только жар души —
дари остылость!
Я жаден — для моей любви
все много значит:
и солнце, что гудит в крови,
и — отблеск, зайчик;
ты вспльхивости миг дари
и гнева сцену...

Я отплачу за все дары —
я помню цепу!

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Капель стекает, что ли, с крыш?
Всплеснулась давняя тоска?..
Вчера опять осколок вышел,
тот, что синелся у виска

Который там? Четвертый? Пятый?..
На горько памятной черте
вошло железо в плоть солдата —
поди сочти осколки те!

И тот — зимою, в сорок первом,
и тот — на Гауе, и тот...
Настаивались на железе нервы
и кровь его за годом год.

А ныне плачет он открыто
в своей квартире, ветеран,
где кажет фильм о прошлых битвах
солдату голубой экран.

И что с того, что голубой он,
и видит явственно солдат,
что он и сам, бывалый воин,
в экране том голубоват, —

ему оттенки не мешают.
Он за героем по пятам

идет, и память воскрешает
все, что по правде было та м...

Сидит он — тихий, смирный, трезвый,
не пряча слез ни от кого...
Видать, последнее железо
с осколком вышло из него.

Александр Межиров

ДРУГУ

Поэзия темна...

И. Булик

Эта истина слишком стара,
С ней давно примириться пора:
Человек никогда не прощает
Причинешного кем-то добра,
Потому что добро унижает.

В мире зло велико и добро велико,
Зло, как это ни странно, прощают до-
вольно легко,
Без усилий и даже заране,—
В этом люди вполне христиане.

Я тебе подарил только звук,
Только собственный звук,— не заем-
ный,—

Только сущность поэзии темной,—
И за это, любезный мой друг,
На меня ты обрушился вдруг
С двух, в игре тренированных, рук,—
В отработанной стойке погромпой.

Так случилось, дружок. Не беда...
Я прощаю тебя навсегда.
Ты меня не простишь никогда.

* * *

Что-то разъяло на стаи лесные
Мир человеческого бытия.
Стая твоя — как и все остальные,
Эта случайная стая твоя.

Кто его знает, что с нами случится,—
Нету и не было вех па судьбе.
Только не вой, молодая волчица,
Ветер и так завывает в трубе.

Я не сужу, а почти понимаю,—
Там, где предзимние ветры свистят,
Сбились на вечер в случайную стаю
Несколько лютых волчиц и волчат.

Только не бойся от стаи отбиться,
Жалобно так и тоскливо не вой,
Только не бойся на вечер прибиться
К старому волку из стаи чужой.

* * *

Они расставались, когда
С позором своим навсегда
Она примириться решала,—
Решала, что я виноват,
Не муж, не любовник, не брат,—
И этим себя утешала.

Когда же с позором своим
Она подневольно простилась
И жизнь кое в чем упростилась,
Я стал ей и вовсе чужим.

А был я не муж и не брат
И не по призванию любовник,—
Свидетель и значит виновник,—
Я был перед ней виноват.

Свидетель всегда виноват,
А значит и я перед нею.
Я был чем-то больше, чем брат,
И верного мужа вернее.

Свидетель побед и утрат,
Я был обречен на изгнание,
Поскольку виновен заране,
Заранее был виноват.

Римма Казакова

* * *

Вот и кончено... Не по мне вы.
Торт не слаще мне хлебной кроочки.
В целлофановой упаковочке
ваше сердце и ваши нервы.

Я служила бы вам, служила,
да в глазах — будто режу луковицу,
да не то что во мне аukaется,
откликается что-то лживое.

И наивной своей патетикой
что поделаю я с синтетикой?
Мои бусы и сарафан
не растрогают целлофан.

А ведь руки у вас были теплыми,
и шальная какая-то сила,
как на празднике шарик — над толнами,
нашу радость ввысь возносила.

Шарик лопнул. Весь воздух вышел.
А в ушах еще: выше!
Прикоснусь, все еще — в полоне,
к вам — как будто к плащу-болонье...
Не пробьюсь ни дождинкой из глаз!
Не по вам я и не про вас.

Что же случилось? Поспешно, финишпо
счастье свертывается рулонами.
Было — бывшее... Ну а нынешнее —
что-то пластиковое, поролоновое.

Просто чудо бросило: — Нет! — нам,
разлучило с пленительным пленом.
Что нам делать — чужепланетным,
может, даже чужевселенным?

Ну а жизнь, — зовет дальше жить она
и протягивает утешительно
хлеб в слезах, с наших высей летающий,
все оплакивающий, освобождающий.

* * *

Помнишь этот запах гари?
Запах боли, запах зла...
Все горело. Мы сжигали.
Не жалели, жгли дотла.

А теперь идем по нищам,
нами выжженным местам
и везде по пепелищам
видим всходы тут и там.

И с прозрением внезапным,
пряча ужас и восторг,—
«Будет дерево!» — сказал ты,
тронув крохотный росток.

И, еще азартом боя
возмущенный дух знобя,—
«Будет дерево!» — с тобой я
повторила про себя.

Так зачем же мы сражались,
если из вражды и зла,
из седых следов пожарниц
струнка дерева взросла?

Беззащитное, нагое,
сверху — будто изнутри,
наш ребенок, наше горе,—
будет дерево, смотри!

Не сжигаемо вовеки
ни стихией, ни людьми,
нежное, как свет — сквозь века,
будет дерево, пойми...

Но ответ всю жизнь проищем,
так и не сумев понять,
отчего над пепелищем
будет дерево опять.

Словно злотворенье, сшибки
и ошибки все — не в счет!

Родничком, от ветра зыбким,
в небо дерево течет.

Плачу, сердце причащаю,
отстучавшее почти...
Будет дерево! — Прощаю...
Будет дерево! — Прости...

* * *

Не юн мужчина. Но на склоне лет
весьма возрос его авторитет.

Устал. И потрезвел. И поседел.
Но многого достиг по части дел.

Он властен. Лик ничем не омрачен.
Не признает отказа он ни в чем.

Глядит орлом. Готов вступить в игру.
Но я реванш за молодость беру.

Я и тогда — плебейской крови зов! —
любила беспородных славных псов.

Но иногда — блистательный ходок —
какой-нибудь шикарный старый дог,

медалями заносчиво звеня,
смущал неоперенную меня.

Ах, молодость наивная моя!
В прицеле властных глаз — все та же я.

И в них ищу хотя бы слабый след
далеких молодых голодных лет,

хоть отсвет глаз тех ласковых бродяг,
тех преданных обшарпанных дворняг...

Владимир Цыбин

НОВОЛУНЬЕ

На подарки роздан
день первопрестольный.
— С праздником! С морозом! —
мчим как на постой мы.

В гости, в гости, в гости
мчимся, как лошадки.
— Бросьте, бросьте, бросьте
леденцы нам в шапки!

Потчуйте соленой
рыбою отменной!..
Снег лежал соломой,
снег послевоенный.

Вот и колядую,
как учила бабка,
я напропалую:
— Коляда, колядка!

Блин ли, лепешку,
мерзлую картошку,
петушка с гребешком,
сухарика с пирожком,
не ломай, не сгибай —
весь как есть подавай!

Огурчиком с грядки —
с осени остатки...
Овсяных оладок
выносили бабки.
В сморщенной ладошке —
золотые души! —
кто кусок лепешки,
кто кусочек груши.

— Ешьте, не жалея,
угощенье это,
ешьте, чтоб скорее
дожили до лета.

Ем — какое счастье! —
не кладу в карманы.
Разве эти сласти
донесу до мамы?

Шаря по сусекам —
день престольный ярок, —
им, своим соседкам,
я пою в отдарок:

Как искали коляду
по всем дворам,
привела коляда
нас ко трем дверям.
Первая — день ясный,
вторая — звезда,
третья — месяц красный, —
вот и вся коляда...

Кто кусок краюхи,
кто муки остатки.
Плакали старухи,
плакали солдатики:

— Их, совсем не живших,
их, беда, за что ты?!..
Пусть на нас, двужилых,
все падут заботы...

По земле огромной
русской, сбереженной
снег лежал соломой,
в печках не сожженной.

* * *

Пусть опять разбудит аист,
потому что по утрам
с тихой мыслью просыпаюсь,
с нежной думой: «Как ты там?»

Чтобы только не уныло
день бежал в глаза твои,
чтобы было все, как было,
и в разлуке, и в любви.

С верой ясной, с горькой метой
дней сгоревших на ветру.
Не услышишь думы этой,
что с собою в сон беру.

В сон к себе беру все встречи,
те, что мы не дождались,
эти худенькие плечи,
что хотел беречь всю жизнь...

Просыпаюсь и надеюсь,
слыша птичий тарарам:
все по-прежнему,—
и греюсь
я от думы: «Как ты там?»

В этот миг, с твоим согласный,
слов моих пойми набег.
День настал прямой и ясный —
па дворе двадцатый век.

ПЕВУНЬЯ

На скатёрке новой —
малосол, картошка;
смотрит месяц вдовый
в мерзлое окошко.
Две вдовы в застолье
стопки выпивали,
в голос свое горе
в песне напевали.
С горем понемножку
сладили две Сани —
им навстречу стезжки
выбегали сами.
Будто бы на этих
стезжках раным-рано,
отпросясь у смерти,
встали два Ивана:
— К вам на песне ныне
мы пришли оттуда,
где нас держит в глине
мертвая остуда.
«Как вернулись к яви,
как же вы воскресли?..»

Тихо постояли
парни возле песни,
замерли, печалась,
словно в карауле,
и, как дым качаясь,
в поле повернули.
«Вы куда? Ответьте!
Как же вам живется?..»
— Время в нас навеки
мертвым остается.
Нас живым самумом
не собрать по крохам,
мы навстречу думам
не вернемся вздохом...

Ой, как пели в голос
пожилые Сани,—
отзывался колос
эхом им в тумане.
Медленно, без спеха
песня стлалась степью,
отдавалось эхо
по всему столетью...

* * *

Напрягся в ожиданье чуда лес
до звона, как тугая тетива,
и хлынула в косою зари разрез
лесная, безымянная листва.

В ее зеленом, радостном огне
есть странный, есть бестрепетный устой.
Я отзываюсь звени и весне,
я открываюсь чуду всей душой.

Еще неясно и еще вчерпе
у мира молодого на челе
вдруг проступают зыбкие черты
себя не опознавшей красоты.

Синь тонкой паутиной на свету
повисла, луч на просеке увяз...
Когда в себя вбираем красоту,
то мертвые в забвеньи слышат нас.

Станислав Куняев

* * *

Распустились березы, и вдруг
распоясалась вешняя сила,
и растекся березовый дух
так, что сердце от счастья заныло.

Что жалеть? — никуда не уйду,
слишком верую в почву и влагу!
Здесь, у северных звезд на виду,
на песчаном угоре прилягу.

Красота никого не спасет
и не столько врачует, сколь ранит...
Слышишь — сок в корневищах ползет?
Слышишь — вальдшнеп над берегом тя-
нет?

Да как призрак Великих болот,
озираясь мерцающим оком,
лось в короне рогов промелькнет
и растает в тумане глубоко.

Слышишь — тетерев стопет всю ночь
на опушке белесого леса
так отважно, что вскинуть немочь
начиненное смертью железом.

* * *

Видишь — синие тени легли
от луны и до крыши зимовья...
Мир сверкает в морозной пыли —
сколько блеска и сколько безмолвия!

Запрокинешь лицо к небесам —
и опять голова закружилась...
И на что ты надеешься сам —
на какую пощадку и милость?

Помнишь соболя белый оскал?
Как он шел, по ветвям ускользая,
как среди черных верхушек мелькал,
как собака охрипла от лая...

Так чего ты невесел теперь?
Что лицо опускаешь в ладони?
Иль дошло, что живешь словно зверь,
до сих пор избегавший погони...

* * *

Обмирает душа от простора,
свищет утка над гладью реки...
От воды, от огня, от стартера —
как железом, пожатые руки.

Каждый камень, любая протока —
все знакомо — поди излови,
пропадешь, коль не знаешь истока
нашей слепорожденной любви.

Лишь одно в древнем деле опасно:
дух березы да лебедя крик
вскружат голову нежно и властно —
и рука ослабеет на миг.

Заглядишься на призрачный пламень,
спохватился — железом звенит —
на родном перекате о камень
разлетается вдребезги винт.

* * *

Стой да слушай немой разговор,
перекличку реки и мороза...
Как хрустит, как сверкает простор,
как шуршит ледяная короста!

Тяжело остывает вода,
тяжелей, чем горячая воля,
и куда ни пойдешь — холода
от Саян до Полярного моря...

Но чтоб ты не впадал в забытье,
иаподобье реки остывая, —
вдруг мелькнет огоньком зимовье —
в мертвом мареве искра живая.

Там гудит раскаленная ночь,
пахнет спиртом, собаками, зверем...
Добрести, отдышаться, прилечь
и душою обмякнуть к потерям.

* * *

Бормочет черпая вода
на перекате под обрывом
о чистом времени, когда
ты был свободным и счастливым.
Проснешься — словно бы кого
по имени окликнул кто-то...
Прислушаешься — никого,
лишь мерный гул водоворота,
да ветра шум, да сосен стон
то ширится, то нарастает,
как будто душ любимых сонм
в ночной стихии обитает,
как птичий крик, как шум огня,
как ветер, что прошел по кущам...
Но что им дело до меня,
им, неизвестно где живущим?
И, отзываясь голосом
иль звону трав заиндевелых,
ты забываешь — где ты сам,
в каких мирах, в каких пределах...

Евгений Храмов

КАМЕР-ФРЕЙЛИНА
ЗАГРЯЖСКАЯ

Выходи, Двадцатый год,
Стройся в две шеренги!
Кто не с нами, тот —
К стенке!
В Губчека, в Губчека
Повели голубчика.
Повели голубчика,
Молодого купчика,

Хорошо пожившую
Баронессу бывшую,
Ротмистра Баранского
Из корпуса жандармского.

К этим был еще в придачу
Красный командир — предатель,
Камер-фрейлина Загряжская —
Пассия великокняжеская.
Бывший вице-губернатор —
Никудышный конспиратор
(Он-то всех и завалил...).

Стены были не окрашены.
В трубах хлопала вода.
Купчик ошалело спрашивал:
«Как же это, господа?
Что же дальше с нами станется?..»
Ротмистр молчал в ответ,
Он-то знал: на этой станции
Кончился его билет.

На допрос по черной лестнице
Их водили по ночам.
Бывшей княжеской прелестнице
Было холодно плечам...
А допрашивали двое —
Насчитали много вин.
Старший был хорош собою,
По акценту судя — финн.
А другой чекист помалкивал,
Только щурился хитро,
И в чернильницу обмакивал
С детским почерком перо.

Рассудили попросту:
Девять граммов ротмистру.
Столько же потратили
На того, предателя.
Для вице-губернатора
Два года изолятора.
Всех других забвенья ряскою
Затянул Двадцатый год...

Камер-фрейлина Загряжская
Вышла утром из ворот.
На бульваре, где акации,
Постояла и пошла.
Нэп и коллективизацию
Не спеша пережила
И году в сорок девятом
В переулке за Арбатом
Осторожно умерла.
Камер-фрейлина Загряжская,
Отчего я вспомнил вдруг
Ваше платье с темной пряжкой

И от лампы светлый круг,
Вкус подаренного пряника,
Пледа колющийся ворс
И конверты от племянника
С адресом — Магнитогорск?
Кем вы были мне? Соседкою —
Три коротеньких звонка,
Но за лет нечастой сеткою
Вижу вас издалека.

Точно гуси над осокою,
В небе звонко-голубом
Шли над вами дни высокие,
Задевая вас крылом.

Не одной свечой у Троицы
Жизнь была озарена —
Белозубым метростроевцем
Улыбалась вам она.
Сахар шли вы отоваривать
Леденцами монпапсье,
Нас учили выговаривать
«Бон суар» и «Уй, мсье».
Анна Павловна Загряжская,
Домовитая, как мышь,
Коммуналку в Сивце-Вражке вы
Не сменяли на Париж.
Ваши бывшие поклонники
По ту сторону черты,
А у вас на подоконнике
Первомайские цветы.
И войны в годину тяжкую
С черной свастикой рать
Камер-фрейлипу Загряжскую
Тоже шла уничтожать.

Слезы льются — не прольются...
Вижу сквозь туман годов,
Как умела Революция
Не страшиться неврагов.
И за честь соседства вашего
Вечно благодарен им:
И тому, кто вас допрашивал
(По акценту судя, финн),
И тому, кто все помалкивал,
Только щурился хитро
И в чернильницу обмакивал
С детским почерком перо.
Я не знаю, где могилы их, —
Мне б увидеть их сейчас,
Тех, кто знал, что правом миловать
Больше обладает класс.
И, махорочной затяжкой
Обжигая крепкий рот,
Камер-фрейлину Загряжскую
Вывел утром из ворот...

Сергей Поликарпов

* * *

Не в яви, так во сне
Печаль меня не минет.
Из давнего ко мне
Все чаще гости ныне.

Слышны издалека
Слова любимых женщин,—
По брошенным тоска,
По бросившим — не меньше...

Не жаль, что сам дарю,
Что дарят мне — у сердца...
Седому декабрю
У весен не согреться.

Они в минувшем дне,
На дне души лишь иней...
Ни в яви, ни во сне
Печаль его не минет.

* * *

Не строптивости ль знак
В добром нраве земли? —
Ветры дуют не так,
Как хотят корабли;

Ливни ходят не там,
Где, как в домне, жара,—
Все — по спелым хлебам,
Коиm в закром пора,—

Снег копытит посев,
Как табун лошадей...
То не матери ль гнев
На бездушье детей?

Не отчаянья ль знак
В долгом веке земли?..
Дали нищим пятак —
Потеряли в пыли...

* * *

При любой дороговизне
Дарит нам судьба в свой срок
По куску добротной жизни,
Как ведется, на зубок.

Шей на свой манер обнову,
Что душа велит, крои,
Чтоб она такой, как снову,
По все дни была твои.

Дарит нам судьба...
И тут-то,
Дармовому кусу рад,
Обезумевши как будто,
Каждый — кто во что горазд!

В спешке что-то скроит косо,
Смечет на живую нить...
Сшил бы жизнь —
Не знала б сноса,
До смерти б не износить!

Валентин Сидоров

НАПУТСТВИЕ СТРАННИКУ

«Напутствие страннику» — цикл стихов-медитаций, стихов, где встречаются две поэтические традиции: русская и индийская. В согласии с законами жанра, здесь обозначены темы для размышления, для самостоятельной внутренней работы читателя. С индийской традицией связаны ведущие понятия стихотворных медитаций: Безмолвие (под ним прежде всего подразумевается предельная внутренняя сосредоточенность человека), Абсолют (на протяжении веков этот синоним Беспредельности противостоял узкорелигиозной догматике), Учитель (хочу напомнить, что это торжественное слово не обязательно относилось к тому или иному лицу, но обязательно служило олицетворением лучших мыслей и чувств человека, его так называемого высшего «я»).

А в т о р

Солнце восходит — сердце восходит.
Одновременно восходят они.

Радость прихода и радость ухода
Страждущий странник чувствует всегда.

Страданья — очищение. Радость — тоже.
То и другое проведут вас к цели.
Но радость — путь, из всех
наикратчайший.

Найди в себе и верх, и глубину,
Соедини с долинами вершины.

А внешний мир помехою не будет.
Мир внутренний старайся укрепить.

Ввысь уходящий — трамплин твой внизу.
Чем он надежней — тем выше взлетаешь.

Желанья бродят у подножья гор.
Стой на вершине, чтоб прогнать желанья.

Каждому явлению отдавай
Все вниманье, но живи в высотах.
В этом — зов победного пути.

Уникален каждый человек,
И его уроки уникальны.
Потому не сравнивай свой путь
С судьбами других. И не завидуй.

Когда нет гнева, то приходит радость.
А там, где радость, — там ты победил.

А устремленность это есть полет.
Взрывая самость — ты взлетаешь сразу.

Мысль видит дальше, глубже и ясней,
Чем зрение, к которому привыкли.
Мысль слышит тоньше, чем обычный слух.
Необходима только тренировка.

Попытка к медитации не меньше
Порою медитации самой.

Усилье — не насилие. Насплье
Идет извне. Усилье — изнутри.

Мысль бьется, словно муха, беспокойно
В пространстве ограниченного мира,
Стремясь пределы узкие прорвать.
Но только в медитации, в безмолвье
Она способна выйти на простор.

Как редко ты встречаешься с собой —
Безмолвие тебе напоминает.

Освободи свой мозг ото всего.
Неизвестное требует свободы.

Непониманье самого себя —
Начало понимания Вселенной.

Солнце Безмолвия ласково греет.
Мысль, из Безмолвия пришедшая, — весть.

Беспредельность — значит нет пределов.
Так не ставь ограничений ей.

Выходи из потока на берег.
Берег — Вечность, Ничто, Абсолют.

Абсолют расширяет сознанье
Каждый раз, как подумал о нем.

Равновесье в мире может дать
Только устремленье к Абсолюту.

Человек сужает Абсолют,
И за это мстят ему законы
Космоса и огненных пространств.
От суженья — все твои страданья.

Свет Беспредельности пределом ограничен.
Абсурд, иллюзия! — Ты это осознал?
Так, значит, дух твой овладел тобою.

Слова и образы, как чешуя, спадают.
Что остается? — Вечность и Ничто.
— И это отпадает. — Абсолют!

Словами Абсолют не говорит.
Его язык — Безмолвие и Радость.

Условно обращенье к Абсолюту.
Условно само слово — Абсолют.
Но безусловен ток его великий.

А солнце Абсолюта — человек;
Или точнее — сердце человека.

Пространство сердца радостью наполни.
И ты почувешь: Абсолют есть ты!

Чрез Абсолют мы все равны друг другу.

Где Абсолют, там ты встречаешь всех.
Воспоминанье и прозренье рядом.

Предтеча Абсолюта есть Единство.

Уходишь в небо — землю обрести.
В Единстве отрекаясь от себя,
Себя ты наконец-то обретаешь.

Но отрываясь от Земли,
С собою Землю поднимаешь.

Проснувшийся впадать не должен в сон.
Повторный сон. Он равнозначен смерти.

Медленно идешь ты на вершину.
Но учти: по этим тропам скользким,
Может быть, и не ходил никто.

А в мире видимых, меняющихся форм
Есть ключ, тебя ведущий в мир незримый.
Он заключает истину в себе,
Поскольку, изменяясь, неизменен
По существу. И ключ тот — красота.

Ныряйте в сердце, как пловцы ныряют,
И извлекайте из глубин его
Сверкающие камни и кораллы.

Упорство воли есть упорство мысли.
А сердце — ласка, доброта, любовь.

Приближенье Учителя меряют сердцем.
Не умом. Только сердцем. И больше ничем.

А предстоять пред совестью своей —
Перед Учителем — ты должен ежедневно.

Всегда готов Учитель дать ответ.
Не закрывайся от него сомненьем.

Незримый мир уже почти что зрим.
Учитель твой — у твоего порога.

Не предрешай заранее слова
Учителя. И направленье встречи
Не расчисляй так четко и так узко.
Жди молнии, Учителя призвав.

Ты должен свои мысли сожигать
Во время медитаций ежедневных.
Пусть это пламя прорезает мрак
И озаряет путь, ведущий ныне
В ашрам Учителя, в стражу незримых гор.

Александр Кушнер
(Ленинград)



* * *

И в следующий раз я жить хочу в России.
Но будет век другой и времена другие,
Париж увижу я, смогу увидеть Рим
И к невиским берегам вернуться дорогим.

Тогда я перечту стихи того поэта.
Что был когда-то мной, но не поверю в это,
Скажу: мне жаль его, он мир не повидал.
Какие б он стихи о Риме написал!

И новые друзья со мною будут рядом.
И, странно, иногда, испытывая взглядом
Их, что-то буду в них забытое искать,
Но сдамся, не найду, рукой махну опять.

А та, кого любить мне в будущем придется...
Но нет, но дважды нам такое не дается.
Счастливей будешь там, не спорь,
не прекословь...
Ах, если выбирать, я выбрал бы любовь!

* * *

Тысячелетие тому назад... заря
Средневековая... Оттон Второй и Третий...
Я всех их путаю, по правде говоря.
С постели поднятым так рано на рассвете,
Глаза, наверное, еще туманил сон,
Пускались по морю и, видимо, зевали.
Но строки строились уже челнам вдогон,
И Красным Солнышком Владимира назвали.

Тысячелетие тому назад... словарь
Мне нужен... кажется, так просто ошибиться.
На башню узкую уже влезал звонарь,
Но слушать проповедь еще лесная птица
Не мчалась из лесу: Франциск не родился.
Гомер с Овидием одной резинкой стерты.
И мы, над бездною такую же вися
С нолями круглыми, мы тоже будем тверды.

Нам пригласительный билет на пир вручен,
Нас просит облако дожить до юбилея,
Но время позднее, и дождь, и клонит в сон,
Мы не останемся... когда-нибудь, жалея
Нас, тоже кто-нибудь попробует назвать
Двух-трех по имени... собьется, не уверен.
Стать тенью, отсветом, в траве — песчинкой
стать.

На пляже холодно, и самый след затерян.

* * *

Пойдем! Поедем! — говорят
Те, кто в беспамятстве лежат,
Томятся в этой проволочке.
О, как им, бедным, тяжело здесь!
Как будто смысл метаний весь —
Скорее сняться с мертвой точки.

Кто умирающему был
Сиделкой — смерти пригубил
И знает, как с постели рвутся.
Пойдем! Поедем! — говорят,
Поверх любви твоей глядят
И отправленья не дождутся.

Анатолий Жигулин

НАСТРОЕНИЕ

Обложили, как волка флажками,
И загнали в холодный овраг.
И зари желтоватое пламя
Отразилось на черных стволах.

Я, конечно, совсем не беспечен.
Жалко жизни и песни в былом.
Но удел мой прекрасен и вечен —
Все равно я пойду напролом.

Вон и егеря застыл в карауле.
Вот и горечь последних минут.
Что мне пули? Обычные пули.
Эти пули меня не убьют.

* * *

Продли,
Всевышний,
Дни моей Ирины.
Без глаз ее
Душа моя пуста.
Я без нее —
Как елка без вершины.
Я без нее —
Как церковь без креста.

Дмитрий Сухарев

СПАСИБО ОТЦУ

Спасибо отцу, не погиб
На гибельной, страшной войпе.
А мог бы погибнуть вполне.

Спасибо отцу, не пропал,
Лопаткой себя окопал,
Мозгами, где надо, раскинул,
Ногтями, что надо, наскреб —
И выжил: не сгинул, не сгинул
И каску надвинул на лоб.

И чести своей не предал,
И славы солдатской отведал,
И мне безотцовщины не дал,
Хлебнуть этой доли — не дал.

А что не досталось ему
Прямого

в окопчик

снаряда,

За это спасибо не надо,
За это спасибо — кому?

* * *

Известно ль вам, что значит — жечь
Стихи, когда выходит желчь
И горкнет полость ротовая?

В такой беде играет роль
Не поэтическая боль,
А боль животная, живая.

Сжигает птицу птицелов —
Гори, прозренья! Сколько слов
Безвестно в пламени ослепло?

Известно ль вам, как стоек дым
Стиха — и как непоправим
Набросок в состоянии пепла?

Горят не рукописи — мы
Палим собой давилню тьмы,
Себя горячим обливая.

И боль, которой мы живем,
Не поэтический прпем,
Она — живая.

Юрий Кузнецов

ПРЕДУТРЕННИЕ ВАРИАЦИИ

Прощай, печаль! В последний раз
Твое прекрасное лицо
Бросает отсвет на крыльцо,
Пока заря не занялась.

Прощай, печаль! Издалека
Шумят дожди, несется снег.
Что снится мне? Счастливый смех,
Весенний свист и облака.

В твоё прекрасное лицо
Шумят дожди, несется снег.
В последний раз счастливый смех
Бросает отсвет на крыльцо.

Что снится мне? Издалека
Твое прекрасное лицо.
Весенний свист и облака
Бросают отсвет на крыльцо.

Пока заря не занялась,
Приснится мне счастливый смех,
Твое лицо и вечный снег,
Так улыбись, моя печаль, издалека,
в последний раз!

* * *

Я с тобою буду кроток —
на тебя ли мне пенять,
оттого что самородок
невозможно, разменять?

Ты почувствуешь тем боле,
как тяжел он и коряв,
где-нибудь на вольной воле
самородок потеряв.

Сердце охнет и зайдется,
станет тихо и темно.
Был бы цел — лежит — найдется.
Кто найдет — не все ль равно?

Виктор Полторацкий

В ТАБУНЕ

1

Дождь светлым жемчугом покрапал
На истомленный зноем луг,
Смешав цветов летучий запах
И конской плоти стойкий дух.

На выгуле, в степном распадке
Бродили кони у реки.
Травой похрупывали матки,
Скакали резво стригунки.

Вобрав позднями воздух пылкий,
Вдруг потянулась, как струна,
Трехлетка, рыжая кобылка,
Краса степного табуна.

Всей статью женственна, красива,
Тонколодыжна и стройна.
С ее лебяжьей шеи гривы
Струилась светлая волна.

Сверкнув лиловым жарким глазом
И гордо голову подняв,
Встав на дыбки, кругнулась разом,
Призывно, трепетно заржав...

А полдень был горяч и светел.
И через луг с конца в конец
Согласным ржаньем ей ответил
Гнедой могучий жеребец.

Он к ней бежал легко и крупно —
Не остановишь, не уймешь.
А у нее от холки к крупу
По коже пробежала дрожь.

Она ждала его.
Красива,
Тонколодыжна и стройна.
И, как фатою, белой гривой
От всех других отличена.

2

Еще слабенький и шаткий,
Головаст и тонконог,
Суетится возле матки
Жеребенок-сосунок.

Шею вытянет, прижмется
К теплой нежности соска
И сосет — не насосется
Благодати молока.

В возбуждении, до дрожи,
Так сосет, что сверхсытá.
Аж дыбком трясется ежик
Неотросшего хвоста.

Матка, чувствуя — довольно,
Перекорм во вред пойдет,
Переступит и небожно
Жеребенка оттолкнет.

В первый раз заржет он звонко,
Вскачь ударится легко.
На губах у жеребенка —
Голубое молоко.

Но, уже отваги полный,
Гордо голову задрав,
В первый раз он топчет волны
Луговых цветущих трав.



Николай Глазков 1919—1979

Мало кто знает, что в начале фильма «Андрей Рублев» летающего мужика, разбившегося о неумолимо притянувшую его родную землю, играл замечательный, самородный поэт — Николай Глазков. Теперь родная земля приняла его в себя уже не в фильме, а в реальности. У Н. Глазкова вышло 13 книг, он напечатал 46 тысяч строк переводов с разных языков. Однако ждет очереди избранное Н. Глазкова, которое показало бы и его юношеские экспериментальные стихи, без которых Глазков непредставим. В этом номере «Дня поэзии» мы предлагаем любителям поэзии написанную перед самой войной юношескую поэму Глазкова «Поэтоград». По собственному определению автора, поэма «мозаично-фрагментарная». Но в поэзии драгоценны и фрагменты, если на них лежит отблеск подлинного дарования. Эта поэма была, по свидетельствам Луколина, Слуцкого и других товарищей Глазкова, событием в коридорах Литинститута и ИФЛИ того времени. Строчки из нее запоминались сразу и блуждали из уст в уста по студенческой Москве, уже предчувствовавшей приближение второй мировой войны. Строчки этой поэмы в своей памяти увозили на фронт Кульчицкий, Майоров, Коган...

Поэма эта перед ехидным, заранее иронически настроенным читателем беззащитна. Во-первых, автора легко обвинить в самомпении: «И я, поэт Глазков, не принимаю людей, не принимающих меня...» или: «Непризнаю я бездарными такими, которые боятся, как огня, непризнанных...», «Я исключен, как исключенье, во имя их дурацких правил...» Но не забудем, что эти строки написаны юношей, а в юности под внешним самомнением часто скрывается неуверенность, застенчивость. Таким был и Глазков. Можно легко упрекнуть поэта в преувеличении вакхических мотивов. «В Поэтограде так же вот работает винопровод». Но Пастернак в вольном переводе из Леонидзе точно сказал когда-то: «Не разлучайте песен с веком, который их сложил и пел». Нельзя отделить эту поэму от возраста автора, когда он писал ее, от студенческого буйства, которое было свойственно тогдашней литературной среде. По иным рациональным меркам и лицейские стихи Пушкина печатать не стоит... Но не будем ориентироваться на неблагоприятных читателей — их, слава богу, меньшинство. Надеюсь, что читатели доброжелательные увидят в этой ранней поэме Глазкова главное: его беспредельную преданность поэзии, его надежду на то, что когда-нибудь и его стихи сослужат добрую службу людям. Если говорить о профессиональном мастерстве юного Глазкова, то у него в этой поэме есть поразительная свобода, раскрепощенность мышления и формы. Поэма пересыпана незабываемыми афоризмами, ее ритмические переходы естественны, пластичны. Следует сказать и то, что Глазков еще до начала войны сумел пророчески сказать о ее конце, о неотвратимости нашей победы уже в прошедшем времени, как будто эта победа состоялась в его сознании: «Потом война была убита, и труп ее валялся в мире».

«Поэтоград» Глазкова — неотъемлемый фрагмент истории нашей поэзии. Глазков был прав, сказав: «Тяжела ты, шапка Мономаха; без тебя, однако, тяжелей». В его жизни многое не совершилось, как он того хотел, но в его далеко не равноценном наследии есть строки, которые навсегда останутся в памяти тех, кто любит русскую поэзию.

Евг. Евтушенко

ПОЭТОГРАД

(Мозаично-фрагментарная поэма)

1

У молодости на заре
Стихом владели мы искусство,
Поскольку были мы за революционное искусство.

Я лез на дерево судьбы
По веткам мыслей и поступков.
Против меня были рабы
Буржуазных предрассудков.

От их учебы и возни
Уйти, найти свое ученье...

Вот так *небывализм* возник,
Литературное течение.

А счастья нет, есть только мысль,
Которая всему итог.
А если ты поэт — стремись
К зарифмованью сильных строк.

И вероятно, что тогда
Я сильных строк сложил немало;
Но педагогическая среда
Моих стихов не понимала.

Оставить должен был ученье,
Хоть я его и так оставил.

Я исключен, как исключенье,
Во имя их дурацких правил!

Итак, плохи мои дела,
Когда учебы карта бита.
Но Рита у меня была,
Рита, Рита, Рита...

Студенты хуже школьников
Готовились к зачетам,
А мы всю ночь в Сокольниках...
Зачеты нам за чертом?

Зимой метель, как мельница,
А летом тишь да гладь.
Конечно, разумеется,
Впрочем, надо полагать...

Все было просто и легко,
Когда плескалась водки масса.
От нас то время далеко,
Как от Земли до Марса.

В то время не был домовой
Прописан в книге домовой,
Сидел в трубе он дымовой
И слушал ветра вой...

Потом
День отошел позавчерашний.
Мне мило улыбался дом,
И каменный, и трехэтажный.

Его ломать не надо при
Реконструкции столицы,
Хоть этажей в нем только три,
Но шесть, когда в глазах двоится.

Безынститутье — как пробел,
И должен отыгаться я.
Тогда Асеев, как Флобер,
Мне дал рекомендацию.

Литературный институт!
Его не посещаю разве я?..
А годы бурные идут,
Огромные, как Азия.

Сразится Азия со всеми
Под предводительством Москвы,
И в день весенний и осенний
Войска пойдут через мосты.

Произойдет такая битва,
Когда решится ИЛИ — ИЛИ?
Потом война была убита,
И труп ее валялся в мире...

Хочу, чтоб людям повезло,
Чтоб гирия горя мало весила,
Чтоб стукнуть лодкой о весло, —
И людям сразу стало весело.

Я почему-то в это верю:
Настанут лучшие года,
Шумят зеленые деревья,
Течет студеной вода.

Вода срывается с вершин
И устремляется в кувшин.
В Поэтограде так же вот
Работает винопровод!

2

Хотя играл огнями город,
Но ночь темна, снег бел и светел.
Она спросила: — Вам не холодно? —
Была зима. Шатался ветер.

Была зима. Я поднял ворот.
Но мог бы спрятаться за доски.
Она сказала: — Вам не холодно? --
А было холодно чертовски.

3

Раскрывает, ну и пусть,
Пропасть пасть;
Но поэту, там, где Русь,
Не пропасть.

Там, где Волга и Москва
В бездне, в ней,
Где берутся нарасхват
Песни дней.

Где огромный трудный путь
Каменист;
Но придешь когда-нибудь
В Коммунизм!

Но придешь, а это факт, —
Только здесь.
А заклятый всякий враг
Всюду есть.

Он под грохоты побед
Выбрал тишь.
Только ты его, поэт,
Победишь!..

Победишь ты или нет,
Подождем.
А пока что ты, поэт,
Побежден!

4

В силу установленных привычек
Я играю сыгранную роль:
Прометей — изобретатель спичек,
А отнюдь не спичечный король.

Прометей — не генерал, а гений...
Но к фортунам и иным дарам
По дороге признанной и древней
Мы идем, взбираясь по горам.

Если даже есть стезя иная,
О фортунам и иных дарах
То и дело нам напоминает
Кошелек, набитый, как дурак!

У него в руках искусства залежь,
Радость жизни, вечная весна...

А восторжествует новизна лишь,
Неосознанная новизна!

Славен, кто выламывает двери
И сквозь них врывается в миры,
Кто силен, умен и откровенен,
Любит труд, искусство и пиры.

А не тот, кто жизнь ведет монаха,
У кого одна и та же лень...

Тяжела ты, шапка Мономаха;
Без тебя, однако, тяжелей!

Повседневно-будничная праздность
Невозможным сделала успех.
В результате появилась разность
Всех МОГЛИ и УПУСТИЛИИ всех.

И тогда, упрямы, как решенье,
Может быть, самих себя рабы,
Испугались мы... не пораженья,
А того, что не было борьбы!

5

С женщиной какой-нибудь такой,
Очень замечательно хорошей,
Хорошо, обняв ее рукой,
Целу ночь лежать на ложе.

Звездами заерзается вьсь,
И, постигнув неба откровенье,
Ты воскликнешь: — О, остановись! —
Но не остановится мгновенье!

6

Когда я шел и думал: ИЛИ — ИЛИ,
Глухонемые шли со мною рядом,
Глухонемые шли и говорили,
А я не знал, я рад или не рад им.

Один из них читал стихи руками,
А два других руками их ругали;
Но, как глухонемой глухонемых,
Я неспособен был услышать их.

Вот там вокруг бушует жизнь иная,
А может быть, не жизнь, а болтовня,
И я, поэт Глазков, не принимаю
Людей, не принимающих меня?

Непризнан я бездарными такими,
Которые боятся, как огня,
Непризнанных. Им нужно только имя;
Но именно имени нет у меня!

Пусть пламя опирается на уголь
И старый отменяется режим,
Они всегда бряцают лженаукой,
Ну а искусство ненавистно им.

Всем смелым начинаньям человека
Они дают отпор.
Так бюрократы каменного века
Встречали первый бронзовый топор!

7

Мудрецы и поэты чудят и чудили.
Чудотворцы они, как на них ни смотри.
И, не ставя во грош дважды два четыре,
Приближаются к формуле дважды два три.

Но таких человек не много в мире,
Большинству их заумных идей не понять.
Большинство, переоценивая дважды два
четыре,
Приближается к формуле дважды два пять!

8

Ночь Евья,
Ночь Адамья.
Кочевья
Не отдам я.

Табун
Пасем.
Табу
На всем!

Люди едут, бегут авто,
И не знаю я, почему
Все, что делаю я, не то:
И не то, и не путь к тому.

Если карты, то будут биты,
Если шахматы — будет мат.
Пусть к победам пути закрыты,
Я несколько не виноват!

Всю поэзию довели
До сведенья на нет враги ее.
А велик ли поэт? Да, велик:
У него ошибки великие!

Он, к высотам любым бредя,
Чтоб спуститься к любым глубинам,
Мог бродить по любым путям;
Но любил бродить по любимым!

Ошибался он... Ну и пусть!
Все равно зацветет миндаль.
Уведет непутевый путь
По звезде путеводной вдаль.

Будет что через двести лет,
Бог весть.
Но сегодня на вкус и на цвет
Товарищи есть!

Мы увидим алмазы небес,
Бриллианты высот;
Но сегодня силен бес:
Людьми что венками трясет!

И они ошибаться боятся.
Но писатели не кассиры!
Не мешайте им ошибаться,
Потому что в ошибках сила!

Мне дорога моя дорога,
Не устану по ней бродить.
Нету в мире такого врага,
Чтоб друзья не смогли победить!

А пока мы не в Поэтграде,
И проиграна наша игра.
Вы наденете платье
Цвета черного бутылочного стекла.

Это сволочи вас заманили
В логово их мелочей.
Вы за меня или
За сволочей?

Приходите ко мне. Занавесим окна (для
рифмы) шторой,
И станем пить
За такую дружбу, меж нами которой
Нет и не может быть!

За такую дружбу, где тайн нет,
Чтобы было нам хорошо...
Славлю время, какое настанет,
А не то, какое прошло!

10

Путь-дорога
Без порога
Хвалится длинной.

Скоро вечер:
Он не вечен,
Ибо под луной

Или прямо, или криво,
Или наугад
Все пути ведут не к Риму,
А в Поэтград!

1940—1941

Публикация Р. М. Глазковой

Марк Лисянский

ДЫМКОВО

Как за Вяткой за рекою,
Да на дымковской земле
Месяц глину не рукою,
А мешалкою в котле.

Месяц глину неустанно,
Прибавляя к ней песок.
Эта глина — как сметана
И как солнечный желток.

Ветерком ее обдуют,
Зелье дивное вольют.
А еще над ней колдуют,
А еще над ней поют.

Глина мягкая, как тесто,
Можно шапечки лепить.

Безусловно глине лестно
Русской сказкою прослыть.

Стать свистулькой трехголовой,
Стать орапжевым коньком,
И матрешкою бедовой,
И задирой петушком.

Стать красоткой-водоносной,
В желтой кофточке идти.
С поперечною полоской
На возвышенной груди.

Чтобы с двух сторон повисли
Ведро в утреннем луче
На ажурном коромысле
И на девичьем плече.

Я вошла будто запово́
В золотистое зарево;
Были зори роскошные
На деревья выброшены;
Были бурые заросли
Разукрашены росами.
И чужой показалась мне
Красота этой осени.
Но присутствие странное
Мне почудилось около,—
Будто чье-то дыхание,
Будто светлое облако,
Вопреки горю черному,
Вопреки скорби старящей
Красоту животворную
На земле утверждающее.

СНЕЖИНКИ

А на земле ни пылинки,
На редкость зима хороша.
Задумчивые снежинки
Снижаются не спеша.

Откуда печаль?..
Может статься,
Недолго им тешиться всласть,
И надобно с небом расстаться,
И надо на землю упасть.

Хотя бы на миг оглянуться
И не обнаружить следа...
И в небо уже не вернуться,
И в землю уйти навсегда.

Екатерина Шевелева

СВИДАНИЕ

Ливень был как рыдание.
По заплаканной озими
Я пришла на свидание
К давней огненной осени.
К той, с могучими кронами
Над ручьями бессонными.
К той, сияющей нимбами
Тростника богатырского.
К той,
до вести о гибели
Современника близкого.

Я ждала, что теперь она —
Темнота непригожая —
Не смирилась с потерями,
На себя не похожая.

Лев Ошанин

* * *

Ощущая весенний ослепительный свет,
Я стою в середине новой дороги.
Говорят, что в семьдесят
человеческих лет

Полагается подводить итоги.
А итоги чему? Многоточию строк?
Не навешивай, время, косые вериги,
Если столько пока не открылось дорог
И еще не написаны главные книги.
Не смолкает тревожных ночей маета,
Что приводит мне в душу покой после смуты.
И еще до конца не угадана та,
Без которой нельзя мне дышать ни минуты.
Снова ветер свистит над моим плечом.
Солнце старому снегу подводит итоги.
А придется упасть —

тут года ни при чем.—
Пусть случится такое
в середине дороги.

* * *

Я на тебя смотрю издалека.
Ты — с волосами цвета листопада —
Вся так неуловима, так легка,
Что отвести я не умею взгляда.
Могла бы ты в моей мужской судьбе
Зажечься ослепительной гранью...
Но я боюсь приблизиться к тебе,
Чтоб не спугнуть твое очарованье.

КОНЬ ЮНОСТИ

Юность, юность моя! Не забывшись еще,
Ты запахла пшеницею и клеверами,
Лошадиною мордой уткнулась в плечо,
Влажно-бархатными прикоснулась губами.

Не вчера ль ты скакала, друзей обгоня,
И дыханием жарким дышала со мною?
Ничего нет прекрасней гнедого коня,
Опустившего шею над синей водою!

Вновь со мной на ветру распластавшийся бег,
Запах конского пота, тугие поводья.
У степного костра на попоне ночлег,
Горных рек, с ледников убежавших, разводья...

Нету друга на свете вернее коня,
Да и тот только в юности, в сне незабытом...
Опахни меня гривой светлее огня,
И губами тронь руку, и стукни копытом!

Игорь Кобзев

СУХАЯ ТРАВА

И. С.

На ранней зорьке чуточку морозило.
Спешили мы добраться до Москвы.
На берегу Теряевского озера
Нарвал я сноп увянувшей травы...

Не знаю: на красу ли, на забавушку,
Не ведая, как кличется она,
В пустой кувшин воткнул я эту травушку
И надолго оставил у окна.

Уж сколь годов с поездки этой минуло.
Бежали дни. Чего в них только нет!
Трава грустила, светлая и милая,
И мирно украшала кабинет.

Случилось лето, душное и влажное.
Везде, как дым, с утра висела мгла.
И вдруг трава, сухая, что бумажная,
Проснулась, задышала, зацвела.

Она весь дом цветением заполнила.
Раскрыла все метелочки свои
И почему-то тихо мне напомнила
О давней, о забывшейся любви.

Теперь я знаю: что со мной ни станется
И сколько долгих лет ни утечет,
Та боль со мной вовеки не расстанется:
Проснется вдруг, задышит, зацветет!..

* * *

Лишь вьюга покинет округу
И солнце проглянет с небес,
Душа моя тянется к внуку
Шоссе окружным через лес.
Разлуке нечаянной нашей
Всего-то лишь несколько дней.
И, прячась за дверью, он пляшет,
Он тайной охвачен своей.
Я вижу стыдливые краски
На бледных щеках сорванца.
Он требует страшные сказки
Без феи лесной и гонца.
Должно быть, он чует заране
По вздохам лакейской любви
На близком со мной расстоянье
Недолгие годы мои.
И вяло мой мозг шевелится,
Как муха, упершись в стекло,
И вновь говорю я, тупица,
Про фею, поправшую зло.
И любо мне слушать подсказки,
И грустно за тупость свою.
Какие выдумывал сказки
Я дочери в южном краю!
И весь разадоренный внуком,
И я начинаю творить
И духом, и словом, и звуком
Какую-то новую нить.
Какой же восторг и сиянье
В его одобренье немом,
Когда мы лежим на диване
Уже в освещенье ночном.
Какие у нас разговоры!
Включить бы магнитную нить
И слово, и вздох, каждый шорох
Про черный свой день сохранить.

* * *

Не терзайся, ты вовсе безвинна.
Это дерзость моя, не твоя.
Это я, в накипевших сединах,
Новый вздох ощутил бытия.

Это я подошел к тебе ночью
В оглушающем гуле метро
И смотрел в близорукие очи,
Когда стало вокруг все мертво.

Это я пустырями, прудами
Целый месяц ходил за тобой,

Чтоб однажды пропавшее пламя
Ощутить полстолетней судьбой.

Не терзайся, что пламя сместилось,
Что оно не коснулось груди,
Ведь и ты уповала на милость
На своем бесприютном пути.

Александр Балин

ПРЕДУГАДАТЬ СЕБЯ...

А было суеты, а верхоглядства — было...
Стерпелось, прижилось, с годами зажило.
Умаявшись зазря, привычно сердце ныло,
По правде говоря, почти не тяжело.

Чурался ли кого? Нуждался ли в подмоге?
Стекала по спине небесная вода...
Шатаясь наугад в вечернем синем смоге,
Себя предугадать пытался иногда.

Предугадать себя... А надо ли? А надо ль?
Будильник стрекотал, компрессорный гудел.
Ретиво пер росток сквозь листовенную пададь,—
Короче говоря, всему хватало дел.

А чем, скажи, не жизнь? Аванс, потом получка:
На хлебово, на хлеб, на байку ползунков...
Эксцентриковый пресс — хорошепьякая
штучка! —
Довольно выдавал латунных пятак.

Удар! — пятак. Удар! — еще пятак свалился
В железную мощну под матрицей стальной...
Но коль начистоту: неистово молился
Наряду (повезло!), не гнался за ценой.

Не равнодушие, нет... «Любить, так королеву,
Иметь, так миллион», — опять не про меня...
За смену обалдев, куда уж там «налево»
Во страсти роковой брести средь бела дня.

Перцовка — это вещь, перцовка — это сила!
Чтоб выхаркать мазут из душного нутра,
Нам не сама ль судьба по «банке» подносила,
Но чтоб «без дураков» к эксцентрику с утра.

Со стороны глядеть: унылая картина —
Очугунело жить заботою простой...
Казалось бы, пустяк, а как звучит протпиво
В холодной тишине постылое — «простой».

Вот то-то и оно... Вино, конечно, бяка,
И сбитые трудом сплошные мослаки

Изящны ли для глаз? Бывает в жизни всяко,
Что не влезает в лад лирической строки.

Глядеть со стороны: подумаешь! — от века
Тянулось и пойдет тянуться на века...
А может быть, в себе мы ищем человека,
Который станет жить не ради пятака.

Утрирую, — ну что ж... Порой мазок дороже,
Нужней для умных глаз, чем розовый штри-
шок...
Уж если понимать, то до сердечной дрожи,
Иль, грубо говоря, до самых до кишок.

Родная трепотня... Мне так она знакома
В пестыпущем пару кузнечной душевой,
Где мне скоблил хребет сам секретарь парткома
Из наших слесарей — мужик передовой.

Нюхнувшему зело и пороху, и крови,
Поджаренному скрозь на медленном огне,
Неловко лепетать о пламенной любви,
Когда башка давно — в железной седине.

Что летописец — да, что не художник — правы.
Взойдет моя звезда... Она взойти б могла
У той (не позабыть!) далекой переправы,
Где и сейчас жива «колючка» в три кола.

Она во мне жива... Не подколенной дрожью,
Не запахом дерьма у «лисьих нор» врага,
Но причитаньем баб, поваленною рожью,
Угасшим малышом у тощего соска.

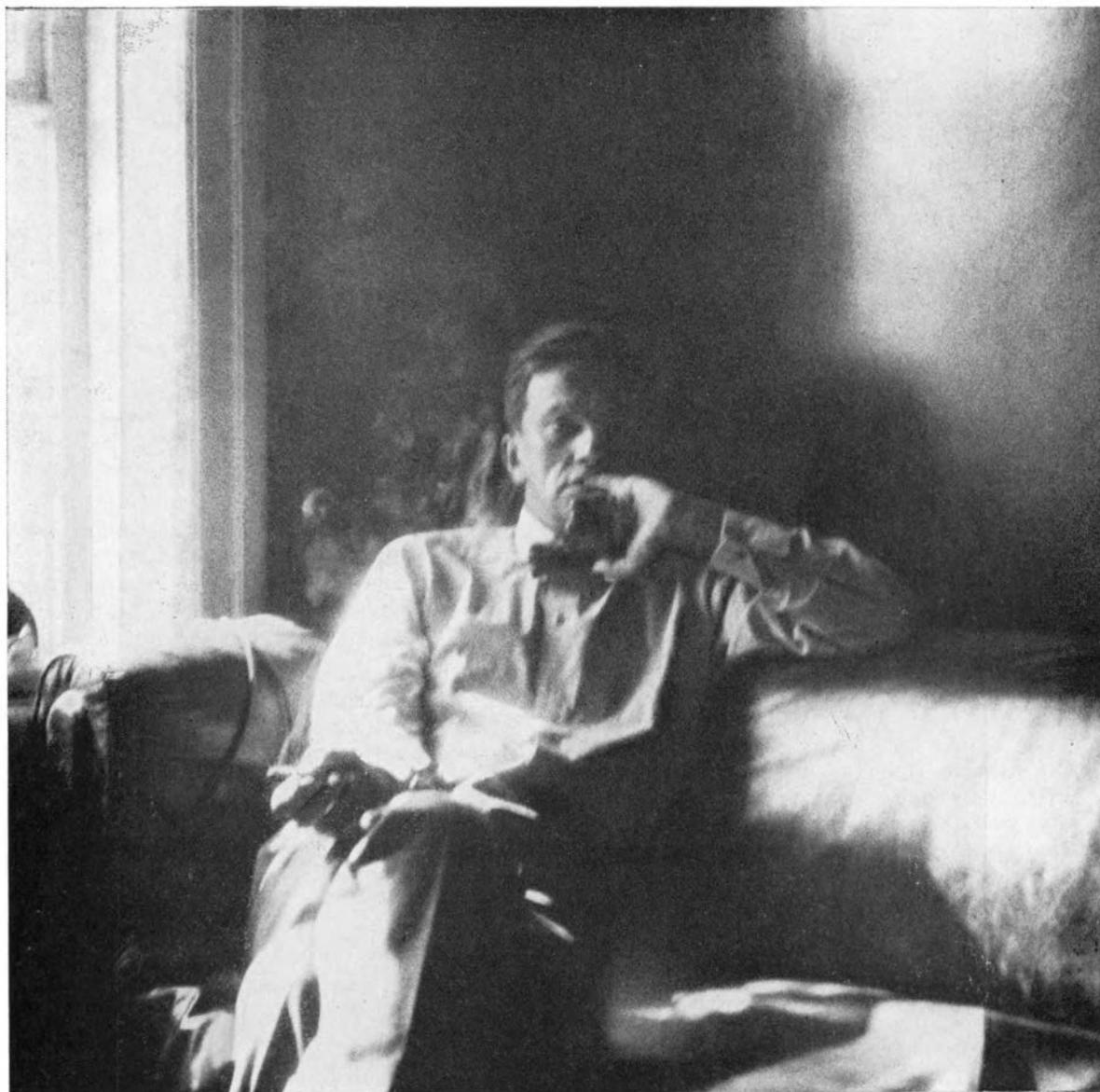
А мир — он как струна, натянутая туго:
Чуть подверни колок, и лопнет, грохоча...
Не время в дни забот кивать нам друг на друга,
На взмыленных плечах вселенский груз влача.

Слова — они нужны. Но только делом общим
Дела, чем дух наш жив, мы двинем поскорей...
Есть сволочи еще, на сволочей мы ропщем:
За глотку надо их, чтоб юшка из ноздрей!

Случается порой: моя, мол, хата с краю...
По капле из души выдавливать раба,
Который затвердил: «Я с вами не играю,
Поскольку мне в борцах шататься — не судьба».

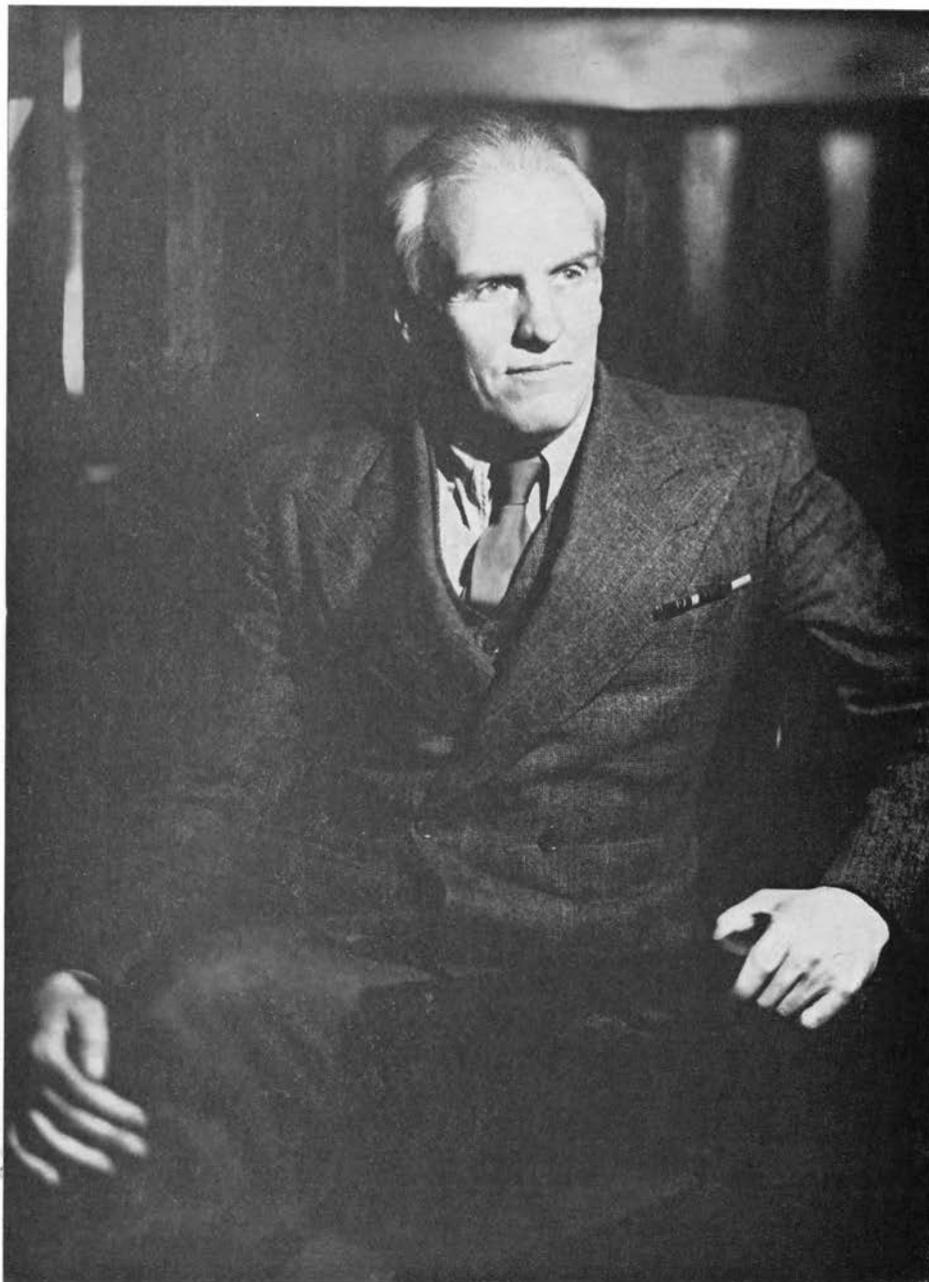
А... жизнь, она сложнее, — ее не втиснешь в
строчку,

Ее не прояснят пудовые тома...
Казалось бы, — уже в застиранной сорочке
Ты лег на красный стол — все не идет с ума.

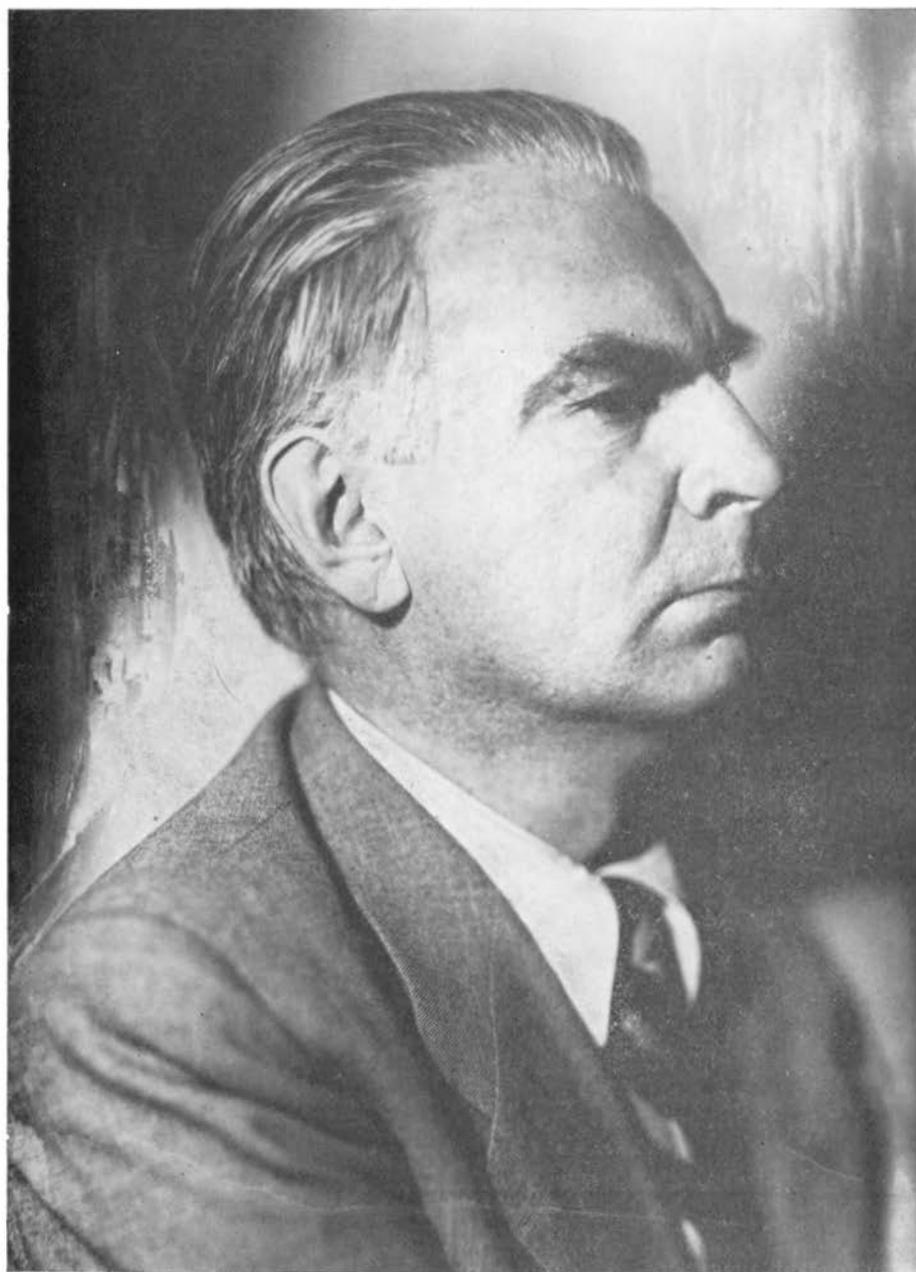


В. В. Маяковский. Фото О. М. Брика. Восстановлено
А. М. Родченко в 1950 году. Архив В. А. Родченко.

Известному фотохудожнику М. Наппельбауму, автору знаменитых портретов В. И. Ленина, принадлежит большая серия фотографических изображений мастеров советской культуры. «День поэзии 1982» публикует шесть фотографий М. Наппельбаума, сделанных в разные годы.



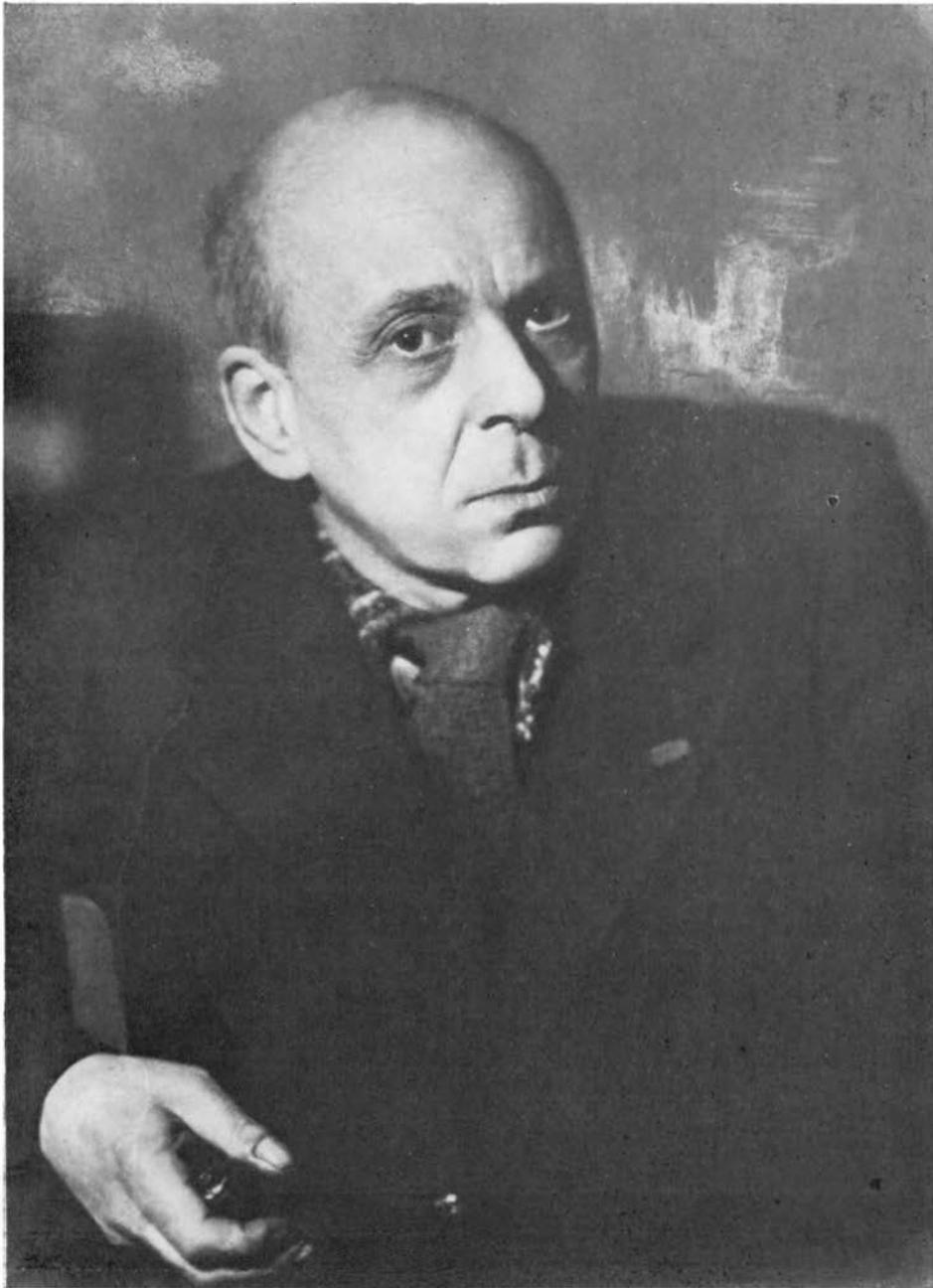
И. С. Тихонов.



В. А. Луговской.



М. А. Кузмин.



П. Г. Антокольский.



А. Т. Твардовский.



К. М. Сизонов.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

В сентябре 1962 года в Киргизии проходила Декада русской литературы.

Когда наша бригада приехала в восхитительный, сплошь заросший вековыми грецкими орехами Арсланбоб, произошло следующее событие: ранним утром нас разбудило тоненькое, застенчивое бляение. Дверь открылась, и директор местного охотничьего хозяйства, сопровождаемый нашими киргизскими братьями по перу, вручил Ярославу Смелякову маленького киченка, дикую лесную козочку, то ли, как нас заверяли, отбившуюся от мамы-козы, то ли словленную умышленно. Ярослав Васильевич молча взял козочку на руки, гладил ее жесткую шерстку, несколько раз с нею сфотографировался, а потом передал мне, сказав: «Козочка не лошадь, в Москве для нее место найдется!»

Нам предстояли встречи и выступления. Мы летели на самолете, ездили на машинах. Козочка везде нам сопутствовала. Всюду школьники дарили нам целые охапки осенних цветов. Когда никто не видел, мы относили их козе, и она, капризно принюхиваясь, выбирала из букетов только почему-то полупривядшие флоксы.

Приближалось время возвращения в Москву, и Ярослав начал беспокоиться: «Как ты думаешь, Таня, уживется ли коза с нашими собаками? Не будет ли ей неловко в нашей московской квартире и, кроме того, где ей, негоднице, доставать эти флоксы?»

«Знаете, Яра и Таня,— вдруг вмешался Сергей Бородин,— отдайте-ка лучше животное мне. Ведь у меня в Ташкенте большой сад, пусть она там бегаёт, а козу мы, Танечка, в вашу честь назовем Таней». Мы с Ярославом облегченно вздохнули, и коза отправилась на жительство в Ташкент.

Дальнейшая судьба ее сложилась так: козочка быстро подросла, и у нее проявился злонамеренный характер. Однажды, пробравшись в рабочий кабинет Бородина, она сжевала черновую рукопись романа, в другой раз, прыгнув на обеденный стол, переколотила всю посуду. А когда робкие младенческие рожки превратились в острые и крепкие рога, коза стала бодать всех гостей Бородина.

Пришлось отдать ее в ташкентский зоопарк, где на вольтере появилась дощечка: «Кичик, дикая коза, кличка «Тайя», подарок писателя Сергея Бородина».

Татьяна Стрешнева-Смелякова





Алексей Фатьянов

1919—1956

Мы знаем Алексея Фатьянова как замечательного поэта-песенника. Но, вступая в литературу, он не думал, что песня займет главенствующее место в его творчестве. На одном из поэтических вечеров Алексей Иванович, представленный как песенник, помню, несколько обидчиво сказал: «Как все люди, я пишу еще и стихи».

Он действительно всю жизнь писал стихи и мечтал написать поэму. У него был большой замысел — написать поэму о молодости, о войне, о мире.

Вступление к этой поэме мы предлагаем сегодня вниманию читателей.

В л а д и м и р С о к о л о в

ДОРОГА

(Из поэмы)

Скоро станет светать... будут спать говорливые птицы,
 До того как заря на деревья забросит лучи.
 Только ветер не спит,
 Только ветру сегодня не спится,
 Он все ходит по саду и старой калиткой стучит.
 Он поправит цветы,
 Повернет покосившийся флюгер
 И найдет еще массу не сделанных с вечера дел.
 Он, прошедший века и седые, косматые вьюги,
 Еще молод и бодр,
 Хоть давно уже сам поседел.
 Он тряхнет бородой и взлетит к синеглазым созвездьям.
 Зазвенит борода его сотней прославленных лир,
 А под ним распластается очень широкий — как песня —
 Незнакомый векам,
 Совершенно невиданный мир.
 Там стоят города, головой упираясь в небо.
 Там бегут поезда.
 Там большие плывут корабли.
 И бушуют потоки,
 Потоки червонного хлеба
 Там от моря до моря,
 От края до края земли.
 И выходят пилоты...
 К сверкающим, солнечным крыльям
 Как к обычным вещам там привыкла людская рука.
 Только миг — и врезается в синь эскадрилья.
 Мимо облак, его задевая слегка.
 Комбайнеры выходят.
 В домах просыпаются люди.
 Высыпает на улицы, в парки, в леса детвора.
 Пробегают авто.
 И без всяких особых прелюдий
 Трактористы выводят,
 Седлают свои трактора.
 И на тысячи верст по стране протянулись дороги,
 А на самой широкой,
 На самой большой полосе,
 Где когда-то по рытвинам
 Он волочил свои ноги,—
 Люди
 Асфальтируют шоссе.

Публикация Г. Фатьяновой

Алексей Кафанов

* * *

С белозубой поры не нашел по душе я занятия.
А какие одевки-обновки сулила мне сватья!

Погляди, говорила, как добрые люди умеют,
Не на ветер слова, и прибыток изрядный имеют.

Был досуг — поглядел, походил, стало быть, по толкучке.
Поспросал, что почем, попил досыта кваса-шипучки.

И скажу я, квасок недурен, с горькой каплей изюма.
Только больно уж много вокруг мельтешенья да шума.

Соловьем заливался иной таратор-зазывала:
Посему эта служба ему пропитанье давала.

А другой-то и вовсе солидный мужчина, чин чином,
Сам отмеривал всем, сколько надо, железным аршином.

А еще там один то и дело приглаживал челку,
Будто все отгонял от лица неотвязную пчелку.

Он такое закручивал складно, такие припевки —
В рукава сарафанов цветных так и прыскали девки.

Ну а этому места, видать, не нашлось на прилавке,—
Хоть и черным по белу, да слишком мудрены заставки.

Разойдется ко времени всякий товар залежалый,
Упустил свой почин я, теперь уже поздно, пожалуй.

Ты простишь, чай, меня, хлопотунья, советчица, сватья,—
Ни с подбором сапог не носить мне, ни красного платья...

* * *

Ах, небо надо мной такое синее!
Ни облачка на нем с рассвета нет.
Лишь белая клубящаяся линия
За самолетом тянется вослед.

Не набрана покамест высота еще.
Взмыл самолетик, сделав полукруг.
И воздух распорол вдруг — нарастающий
И сердце надрывающий мне звук.

Во весь размах — на выхлопе, на высвисте! —
Пронзительный, он пригибал к земле.
И никого, и ни души поблизости.
Один стою, в единственном числе.

Как будто вся окрестность содрогается.
Река вскипает, дыбом — пыль дорог!..
Земля моя! Кормилица! Красавица!
Прости, что я тебя не уберег.

Как будто балка сбита поперечная.
Слетают с крыш железные листы...
Земля моя!
Моя опора вечная!
Как беззащитна перед небом ты!

Ни облачка.
Лишь птица реактивная
Выписывает в небе вензеля...
Росою умывается, наивная,
Слезамы умывается земля.

Нина Новосельнова

СТАРЫЙ ДРУГ ПОЗВАЛ...

Вот однажды взять да изловчиться,
Собственную память обмануть.
Разве это не могло случиться?
Позабыла. Точка. Не вернуть.

Старый друг позвал, а я не еду.
Там, читала я, проезд закрыт.
В общем, одержала лень победу,
А к тому же голова болит.

Все. Исыкла золотая жила,
Невелик, считайте, был запас:

Позабыла, с кем когда дружила,
Кто меня от верной смерти спас.

Мне идти бы тихою дорогой,
Огибая прошлого углы,
Но оно уверенно и строго
Выступает из далекой мглы.

И однажды на изломе ночи
Память подтолкнет меня в тиши,
И внимать уловкам не захочет,
И не снимет груз с моей души.

В фронтовой пилотке краснозвездной
Встанет рядом, предъявляя счет...
И скажи спасибо, коль не поздно
Это пробуждение придет!

Лев Озеров

* * *

Как пронзительно-чисто звучит предвесенняя нота,
Журавлиного клина свистящая нота полета.

Встречный голос земли — ноздреватой, разбуженной, жадной —
Обнадеженно-гордо звучит в синеве неоглядной.

Как спокойно-застенчиво небо нисходит на землю!
Как земля прорывается к небу! Таким я приемлю

Двуединство земли и небес. А вверху надо мною
Журавлиные трубы сливаются с голубизною.

Я слежу за медлительной линией — с юга на север — полета.
Как пронзительно-чисто звучит предвесенняя нота!

* * *

Нашего подъезда старики
К берегам уплыли незнакомым.
Новые на лестницах шаги,
Новые жильцы владеют домом.

Тот же лифт гундосит в тишине,
Стены той же нежилой окраски,
Но внизу, как лодки на реке,
Тесно встали детские коляски.

* * *

Чтоб не пугала бездна ночи,
Так нужен малый огонек,
Догадка, светлячок, намек
На то, что в мире одиночеств
Есть связь, и нужно плыть туда,
Где есть душа, где есть дыханье,
И нам мигает в мирозданье
То огонек, а то звезда.

Андрей Дементьев

* * *

Мы на земле живем нелепо
И суетливо...
Потому
Я отлучаюсь часто в небо,
Чтобы остаться одному.

Чтоб вспомнить то, что позабылось,
Уйти от мелочных обид.
И небо мне окажет милость —
Покою душу напоит.

А я смотрю на небо сверху —
Сквозь синеву, сквозь высоту —
И обретаю снова веру
В земную нашу доброту.

И обретаю веру в счастье,
Хотя так прозрачно оно.
Как хорошо по небу мчатся,
Когда вернуться суждено.

Окончен рейс. Прощаюсь с небом.
Оно печалится во мне.
А все вокруг покрыто снегом.
И пахнет небом на земле.

И жизнь не так уж и нелепа.
И мир вокруг неповторим.
То ль от недавней встречи с небом,
То ль снова от разлуки с ним.

ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ

Как беден наш язык!
Где мне слова найти,
Чтоб в этот горький миг
Нам силы обрести.
Чтоб в этот горький миг
Сквозь самолетный гул
Твой приглушенный крик
Нас в прошлое вернул.
Во мне слова стоят,
Как мачты на земле.
И сотни киловатт
Пронесутся во мне.
И в сердце бьется ток
Невысказанных слов,
Как затаенный вздох,
Когда не надо слов.

И в этот горький миг
Понятно лишь двоим,
Что человек велик
Страданием своим.

* * *

Мужские слезы дефицит.
У женщин проще со слезами.
Они то плачут от обид,
То над письмом,
То в кинозале.

Не знаю — верить ли слезам.
Но сомневаться я не смею,
Что слезы помогают нам
Быть к людям чуточку добрее.

* * *

Ты не ревнуй, когда в кругу друзей
Я веселюсь, хотя тебя нет рядом.
И кто-то возле радости моей
Добреет сердцем и светлеет взглядом.
Ты не ревнуй... Ведь над моей душой
Не властен этот праздник поневоле.
Он — отражение радости чужой.
Зачем друзей тревожить нашей болью?
И кто бы ни был рядом — сын или дочь,
Старинный друг или знакомец новый, —
Мне с ними эту боль не превозмочь,
Пока тебя я не увижу снова.
И знаю я, что каждый мой отъезд
Для нас обоих время остановит.
Жизнь без тебя — как машинальный жест
Иль крик души, не выраженный в слове.

Владимир Костров

* * *

Среди дневного сна
и всеобщего бденья
печатью суеты помеченный давно
чужой корреспондент,
забавный червь сомненья,
мою увидев дверь,
вошел ко мне в окно.

— Я представляю мир
машин и звонких денег.
Мои вопросы к вам до крайности
просты:
как думаете жить?
Что думаете делать?

И в чем, простите, смысл
всей вашей маеты? —

Стареем только мы, —
вопросы не стареют.
В торшере у стола
каширский свет не гас,
и булькала вода из Рузы в батарее,
в конфорке голубой
горел тюменский газ.

И так я отвечал:
— Синее даль сквозная,
в ней брезжит здравый смысл —
он таен и горчащ.
Он логике закрыт,
он сердцем понимаем,
он — свет из наших роц,
он — шорох наших чащ.

Нельзя сказать, чтоб нас
минули ваши моды,
но оспа ваших слов
на всех не привилась.
Тасует наш июль
медовые колоды,
танцует наш январь
старинный волчий вальс.

На озере Байкал
и на реке Ловати
единого из всех
вам корня не извлечь.
Иваном-дураком
на ведьминой лопате
лукавый русский смысл
не лезет в вашу печь.

Нет.
В темное чело практической науки
он лезть не так-то прост,
он знает свой черед.
Толкают головой —
он расшеперит руки,
хотят подать торцом —
он ноги задерет.

А вам-то он зачем?
При равной кубатуре
оставлены подчас
и наши чердаки.
Конечно, есть еще
у нас немало дури,
но глупо полагать,
что все мы дураки.

Мы дети наших зим,
мы внуки наших пашен.

Да нам ли уж не знать,
о чем сердца болят.
...А вам писать о том,
как выгода подскажет,
и так вам говорить,
как деньги вам велят.

Исчез враждебный дух,
как бы распался телом,
но долго сквозняком
неслось из темноты:
— Как думаете жить?
Что думаете делать?
И в чем, простите, смысл
всей вашей маеты?

* * *

Все слова перечеркнуты наискосок.
До чего ты на милых моих непохожа.
Темно-алая, словно гранатовый сок,
Кровь твоя чуть мерцает под нервной
кожей.

Вот к чему я тянулся,
Стремился, алкал
Всею грешной мечтою,
Богатой и нищей.
Мне коня бы, кибитку,
Телегу, аркан,
Мне бы в руки кистень
Или кнут в голенище.
Посмотри-ка,
Ведь осень уже на дворе,
Показала зима в свежем инее букли.
Только я вырезаю на белой коре
Азиатские, мне непонятные буквы.
Мы с тобою друг друга нашли наугад,
Темным чувством
Слепое сознание укутай...
За любовь поднимаю,
Как мудрый Сократ
Принял за убеждения
Чашу с цикутой.

* * *

Не как фольклорная подробность,
Как вызов против естества,
Был в русской жизни страшный образ —
Иван, Не Помнящий Родства.
Ни огонька.
Ни поля чести.
Ни проливного бубенца.
Ни доброй памяти,
Ни песни,
Ни матери
И ни отца.

Тут не увече,
Не уродство,
Не тать — рука у топора.
А сердца вечное сиротство
И в светлом разуме дыра
И в ближней стороне,
И в дальней,
В часы беды и торжества
Нет участи твоей печальной.
Иван, Не Помнящий Родства.

еонид Завальнюк

* * *

Не стой на лютном холоду,
Я весь дрожу твоим ознобом.
Нам вместе жить и умереть.
Тебя согреть — себя согреть.
Тебя забыть — себя отринуть.
Так перепутан ток судеб,
Так слиты крови озаренья,
Что ты мой высший слух и зренье,
Тобой я зряч, тобой и слеп.
Не стой на лютном холоду,
Не простуди мою отраду,
Мою тоску, мою беду
Любить и веровать в ту правду,
В тот всеединный миг,
В ту правду,
Что ты внушишь, а я найду.

СТАРИКИ

Душа души моей,
Больные старики!
В полиартритах ваши кулаки.
Последней ниткой связаны со светом,
Как вы нужны мне здесь, на свете этом,
На берегу таинственной реки.
Деревья ностальгических пород,
В бровях клокастых,
В пакле выцветших бород,
Вы так близки мне, так я вами занят,
Когда тоска моя из тела выползает
И брэнность жизни переходит вброд.
Душа души моей,
Больные старики!
Щедры пустые ваши кошельки.
Они б еще наполнились, но поздно...
В преддверье постиженья вечных тайн
Кончается игра. Звучит гудок финала.
Как жалко мы живем,
Как мизерно,
Как мало!
О господи, продли!..
И слышится устало:
— Конец. Конец! Прощайся. Отвыкай.

* * *

А женщина стояла у плетня,
Упрощена до детского рисунка.
И с ужасом смотрели на меня
Ее глаза, ее часы и сумка.
На циферблате смертный час засох,
Из черной сумки дерево торчало,
А жгучий взгляд мне целился в висок.
И вдруг она пошла и закричала:
— Я здесь стою!..
Куда же ты, куда?!
Отдай, верни все то, что с нами было.—
Все ближе, ближе...
И наткнулась на года,
Как на стекло.
И навсегда застыла.
Навек умолкла в моем давнем сне.
И только в дни, когда я окна жизни
протираю,
Она вдруг воскресает вновь
И голосит во мне,
К живому свету руки простирая.

Олег Дмитриев

ДЕНЬ В ШУШЕ

Дождь идет в Нагорном Карабахе,
Непроглядно-пасмурно в Шуше:
Никнут листья. Приутихли птахи.
Да ничуть не грустно на душе.

Средь армян, среди азербайджанцев
Я иду, смутившись на момент:
Русские и сорок прочих наций
Входят здесь всего в один процент.

Мокрая осенняя погода
Шепчет мне:
«Откуда ты возник?»
Представитель «малого» народа,
Зябко поднимаю воротник.

Захожу, внимание утروив,
В улочки пленительный изгиб.
Здесь земля поэтов и героев.
Здесь когда-то обитал Вагиф.

Если родила такого сына
Древняя земля, навек она
Никому на свете не чужбина,
А почти родная сторона.

Прежние мечты во мне воскресли,
Хоть увидел чуть со стороны
Край, в котором мужество и песни
В воздухе самом растворены.

В путь пора.
Вдыхаю этот воздух
На прощанье — теплый и сырой.
Будет небо ночью
В крупных звездах
Над высокой синевой горой.

СТАРАЯ УЛИЦА

Триста лет —
Не много и не мало —
Улица от центра убегала.
Бесполезно это продолжать:
Все равно никак не убежать!

Выходила раньше на излучку
Узкой речки, упиралась в лес,
А сегодня замерла с испугу
У проспекта — что наперерез.

Где речонка?
Да в трубе бетонной...
Где леса?
Вон ветхий дом «в лесах»...
От нее проспект многооконный
Улетает, как на парусах!

Улица свой век не доживает —
Даже если что-то забывает,
Сохраняет юные черты,
Не теряет прежней красоты.

Новые дома на ней не ставьте,
Разорять нам улицу не след —
На секунду только лишь представьте,
Что ее на белом свете нет...

Город станет суше и беднее,
Отойдут навеки вместе с нею
Милой древней юности дела.
Выйдет, что и наша жизнь прошла.

Вот в чем получается загвоздка!
По проспекту носятся авто.
Постою еще у перекрестка,
Запахнув осеннее пальто,

И пойду по улице обратно,
К центру, размышляя на ходу:
— Все живешь, старушка?
Ну и ладно!
Вновь поделим радость и беду.

ПАМЯТИ ЮРИЯ ТРИФОНОВА

Я слежу за человеком,
Уходящим навсегда.
Спят, измаянные веком,
На рассвете города.

Был он славным и заметным
Горожанином
И вот
Навсегда уходит этим
Переулком в небосвод.

С далью скоро он сольется,
Заступая за черту,
Где потом родится солнце,
Набирая высоту.

Он уходит безвозвратно,
Не последний из мужей,
Повторяясь многократно
В окнах первых этажей.

Не кажется, быть может,
Тротуара пилигрим,
Чтобы сна не потревожить
Современникам былым.

Равномерно дышат люди,
В такт биению сердец,
Чтоб, когда его не будет,
Пробудиться наконец.

Встанут, постоят у двери,
И, прищурившись на свет,
Неожиданность потери
Тот поймет,
А этот — нет...

Он уходит в небо круто.
Еле сдерживаю крик.
Вот еще одна минута,
Полминуты...
Через миг
У него стечет по векам
Запоздалая звезда.
Я прощаюсь с человеком,
Уходящим навсегда.

Лариса Васильева

* * *

Уничтожить, разрушить, разбить
все, что ревностно так сберегала.
Я хотела тебя разлюбить,
на край света с другим убегала;

я чужого родимым звала,
криво к берегу лодку прибило,
что искала — нигде не нашла,
что нашла — пенароком разбила.

Нет, послушай, измена не то,
что привычно изменой считают,
если в целой вселенной никто
о тебе позабыть не заставит.

* * *

Перемогла, пережила,
переждала, перетерпела
все то, что в сердце берегла,
чего сберечь я не сумела.

И радуюсь напевам птиц,
ветров невидимому чуду,
и счастье тысячами лиц
глядит зловеще отовсюду.

РАВНИНА

Пророк, предсказатель и враль,
гадатель на гранях сапфира
сказал, что настанет февраль
и будет крушение мира.

Никто не спасется тогда
внутри тайников сокровенных,
и кровью взорвется вода
в земных перерезанных венах.

Один уцелеет ковчег,
подобный хозяйственной таре,
в нем будет трястись человек
и все ему нужные твари.

Когда истощится волна,
пред взорами нового Ноя
прозрачная встанет стена
и будут видны за стеною

развалины мира.
Людей
во прах превратила отравы:
чем краше был мир, тем лютей
косила все жгучая лава.

Развалины жизни...
Пускай
они погружаются в спячку,
а ты, человек, приласкай
жену, перенесшую качку,

ей много еще суждено
забыть из угасшего мира:
как жарко пьянило вино,
как нежила, грела квартира,

теперь ей сажать виноград
и слушаться новых наитий.
Послушай, ты разве не рад
такому исходу событий:

ты жив,
ты избранник, болван,
зачем, удручен и безгласен,
глядишь в уходящий туман,
который тебе не опасен:

отравы его не проймет
состав изменившейся крови:
меси повседневный помет,
который уже наготове...

Но, вещей не слушая слов,
молчит человек одиноко,
и сонм отоснившихся снов
пронзает усталое око.

Нет сил позабыть ничего!
Нельзя забывать! Невозможно!
Но в это мгновение его
ребенок толкнул осторожно

голодный...
И вмиг отошли
мучительные виденья.
На голом просторе земли
шли первые дни возрожденья.

* * *

Не жди, что поймут и поверят
в рискованный твой разговор,
а жди, что найдут, и проверят,
и вынесут свой приговор.

Пусть грубость тебя не обидит,
и подлость пусть будет легка.
Тебя современник не видит —
он Пушкиным занят пока,

его родословной и кругом
причастных к дуэли друзей...
Обманут единственным другом
и предан любимой своей,

скажи им спасибо за волю
в лучах одинокого дня,
пройдя по сожженному полю
сияющей искрой огня,

и, дурью житейской не мучась
над горестью отжитых лет,
пойми, что счастливая участь
оставить
загадочный след.

Василий Казанцев

* * *

Безжалостный враг — это совесть.
Пощады — нигде. Никому.
И жизнь твоя — длинная повесть
О том, как ты сдался ему.

И лучший твой друг — это совесть.
Нигде, никогда — никого! —
Роднее.
И жизнь твоя — повесть
О том, как ты... предал его.

* * *

Все, что я в жизни увидел,
В книгу не внес, не воспел.
Все, что я в жизни увидел,
Я и понять не успел.

Что в гроыхающем, в грозном —
В блещущем! — мире узнал —
Ветром летит над полями!
...Вихрем врывается в сны!

* * *

Из птиц заветных — воробей,
А из заветных трав — репей.
А из науки — братство.
Вот все мое богатство.

А из врагов — мороз да мрак.
А из друзей — Иван-дурак.
Да лес. Да слов немного.
Да... длинная дорога.

* * *

Таянье осеннего огня.
Ветер налетает. Душу студит.
Было время — не было меня.
Будет время — и меня не будет.

Эхо откликается во мгле,
Горы оглашая все и реки:
— Если нет кого-то на земле,
То его и не было вовеки!

НОЧЬ ПЕРЕД БОРОДИНСКИМ СРАЖЕНИЕМ

От звезд летят лучи косые.
Темнеет лес глухой стеной.
Темна — черна, как ночь! — Россия
У ополченца за спиной.

Костер тускнеет. Догорает.
В холодной тьме не спит никто...
За что на смерть пойдет — не знает.
...Но знает, он — умрет за то,

Что неотступным громом било.
И неотступным ветром выло.
И неотступным снегом — стыло.
И неотступно остро — жгло.

...Необозримым — гулким — было
Простором!
...Горем
В кровь
Вросло!

Юнна Мориц

БАЗАР В АФИНАХ

— Продай мне эту раковину, грек!
— За тысячу и двести драхм, синьора!
Задаром, фрау! Наши деньги — мусор!
Я торговаться, леди, не привык,
ведь я — моряк! — присвистнул
грек лукавый
и, буйствуя на ломаном английском,
изобразил он в пять минут, как долго
его жена ждала, пока он плавал
за раковиной этой по морям,
а женихи ломились к ней нахально,
считая грека без вести погибшим,
утопшим, ужокошенным, усопшим,
однако он, веселый и живой,
торгует обольстительным товаром,
и он продаст мне раковину даром —
за восемьсот! Ведь вот какой компот:
пока за ней он странствовал по свету,
в Элладе стали бешеные цены,
туристы развратили земледельцев,
чьи сыновья лакействуют в отелях,
ремесленники чешут языки,
туфту сбывая за большие деньги,
а мясо нынче стоит триста драхм!
И он торгует раковиной райской,
во рту которой — все напевы моря,
все голоса, все шепоты и стоны...
— Четыреста! Ну, триста пятьдесят!
Я никогда не разлучался с нею,
пять тысяч лет она мне улыбалась
так соблазнительно, так сладко,
так прелестно,
так откровенно и так розово, синьора,
как в этот миг разлуки...
Триста драхм!
Сейчас я заверну ее в газету,
не торопитесь, леди, не разбейте,
не раздавите в чемодане, фрау,

Ахматова? Не христианский философ.
Анненский? Это для школьных читален.
Что вы смотрите так?!
Я нормален! Нормален!
Я на верном пути. Разрешите уйти!
Я доволен. Спасибо. Я сильная личность —
Отпустите меня! Перестаньте смотреть!
Вы умрете — и будет, как мы захотим,
а по-нашему, знайте: чем хуже — тем лучше!
Прекратите! Закройте глаза! Отпустите!
Мама! Мамочка! Страшно!
Мне страшно! Мне страшно!

И упала несчастная, грязная слезка,
и оттуда запахло промозглой тоской
и холодненькой щелью,
залепленной глазом.
О дитя, когда грязные слезы сойдут
и польются чистейшие слезы рекой, —
всюду будешь искать мой безжалостный
взгляд,
скорлупу милосердно сдирающий разом.

Борис Примеров

СНЕГИРЬ

Как в далекое время
При Великом Петре,
Просыпаясь со всеми,
Через ночь — на заре,
Над ста тысячью тропок,
Грудью радуга ширь,
Вдруг крылами захопал
Царь пернатых — снегирь.
И от этого падал
И как мертвый лежал
Всюду, всюду, где падал,
Чистый снежный кристалл.
В иглах крепких, еловых,
Не по дням дорогой,
Дорогой, сторублевый,
Не оценишь какой.
На такое — не плюнешь,
Не отдашь задарма,
На меху оно куньем,
Как вся наша зима.
Не из русской ли сказки
Эта птица взялась,
Ну, точь-в-точь из посадских
И с повадкой, что князь.
Грудь в доспехах, сверкает,
За спиной его — ширь!
Словно лес защищает
От ненастья снегирь.
Песнь лесная раздолжна,
Так нова и свежа,

Что легка и спокойна
Темных елей душа.
Новогодние шишки
Наподобие гирь.
Время белое слишком,
Бьет крылами снегирь.
Вдохновитель момента,
Он за трелями трель,
Словно девичьи ленты,
Бросил с ели на ель.
И они раскрутили,
Ленты эти, мою
Родословную силу
В месточтимом краю.
От дубков и березок,
От небес и земли
Покатались морозы
И под камень легли,
Под таинственный камень,
Что зовут — алатырь.
...Бьет по веткам крылами
Синеглазый снегирь.

СУДЬБА

Ах, моя судьба — суд бога,
Сорок бед, один ответ.
Гонится за мной дорога
Не один десяток лет.

Как об острое железо,
О степное бытие
Я до памяти обрезал
Сердце чуткое свое.

Заползла прохлада в ноздри,
Стал корявым я, как жердь.
Как-то раз я заподозрил
В воровстве не жизнь, а смерть.

Стоп, — сказал, — польни горше
Стала крайняя беда.
Каторжанин, черный коршун,
Возврати мои года!

Это и моя добыча,
Плод раздумий и побед.
В толк возьми, хоть для приличья
Сбрось на землю сорок лет.

Мне не надоело солнце,
Стать волны, дымок трубой,
Все, что искони зовется
Человеческой судьбой,
Кровью, силой сухожилий...
Вон, у дальнего столба
Занесла косые крылья
Надо мной моя судьба.

С ней никак не разлучиться:
Я бегу, она — за мной,
Словно длинная водица
Из криницы ледяной.

Я умоюсь из колодца,
Руки громко сполосну.
На зубах дробится солнце,
Кожа чувствует весну.

Видят очи громовержца
Семь красивых, юных Муз.
Коль не верите — всем сердцем
Я под этим подпишусь.

Я за виденное в ветер
Лягу белыми костями.
...Это было на рассвете
Где-то около семи.

В шесть, а может, в полседьмого
У какого-то столба
Нагнала меня дорога,
Не дорога, а судьба!

СОЛОВЬИНОЕ ПОСТОЯНСТВО

Памяти Ярослава Смелякова

При долине, в хижине ветвей,
С очень легким выдохом и вдохом
Пел, сиял, смеялся соловей,
Посыпал серебряным горохом.

Сыпал громом, сыпал тишиной,
Как он возводил речитативы!
Как любили мы его с тобой —
Оттого и были молчаливы.

Молоды в единственном числе,
Как на плечи кинутые зимы,—
По-земному на своей земле
Повторимы и неповторимы.

Мы любили в собственном краю
И дышали только постоянством
И привязанности к соловью
Не считали в лирике мещанством.

Вот опять еще из тех миров,
Из глубин покинутого мая
Запевают хоры соловьев,
По ночам невысказано сияя.

Смолкните, листочки на стебле,
Вслушайтесь в бессмертные колена!
Нет таких не только на земле,
Но и не бывало во Вселенной.

При долине, в чаще купурей
Про любовь земную без коварства
Пел самодержавный соловей,
Нами коронованный на царство.

Роберт Винонен

ИЗ ВСТРЕЧ СО СМЕРТЬЮ

Говорят, на заре авиации
Вывел ас аппарат в облака.
Стал очки поправлять, озираться,
Видит — пуля висит у виска!

Отстранил он ее для порядку,
И рабочая пчелка войны
Не прожгла ему даже перчатку,
Ибо скорости были равны.

Давний слух невозможно проверить,
Но ведь ясного это ясней,
Что живущий со скоростью смерти
Невредимо встречается с ней

СЫНУ, ВБЕЖАВШЕМУ В МОЮ ТЕНЬ

Не делай этого, сынок,
Не надо, ни к чему
Следами резвых белых ног
Тревожить эту тьму.
Не тень по гравии легла,
А время, вся его зола,
Весь свет, перегоревший
Во мне, но видишь, не дотла,—
И вспыхивают бреши
Твоих следов! То дедов дом
Окно затеплил за окном
И ворохнулся пеплом
Всея деревни, что в былом
Оглохла и ослепла.
Сойди же с тени — это гром
С огнем, где мы теперь вдвоем
Висим на волоске.
И «юнkers» над моим плечом
Выходит из пике!
Я знаю: время — светопад,
Лучистый и отлогий,—
Прошло меня. Я виноват,
Что наземь падает каскад
Крутого мрака и утрат
И «юнkersа» обломки.
Куда бежать от сей вины?
Все помраченья века
Имеют контур человека.
Но свет, он бьет и со спины,
А время — только в грудь,

В лицо! И что то мы должны
В себе перешагнуть,
Чтоб веку собственной рукой
Подставить сыновей...
Не наступай на пепел мой.
Пей лучше солнце, пей!

ОКНО

Напротив соседнего неба
Окно синевой стекленело.

А осень пришла и с размаху
Пришлепнула красную марку.

Я послан, я в синем конверте,
Я новость о жизни и смерти,

О ветре на росстанях мира,
О колкости каждого мига.

Найду ли нечаянный адрес?
В руке трепыхнусь ли, вручаясь?

А вы уж меня получите,
Прочтите меня и простите.



Виктор Ардов

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ»

Отлично понимаю, что воспоминаний об Анне Андреевне Ахматовой будет много, ибо она прожила долгую жизнь и имела многочисленных друзей, поклонников ее удивительного дарования. Кому же не захочется записать то, что связано с этой выдающейся женщиной?.. И тем не менее полагаю в какой-то мере моим долгом сохранить подробности нашего знакомства, приятельства, дружбы, которые продолжались более тридцати лет.

Анна Андреевна прожила в нашем с моею женой Н. А. Ольшевской доме с 1934-го по 1966 год, наверное, не меньше, чем у себя в Ленинграде. Говорю это с гордостью, ибо мы знали с самого начала, какому человеку оказываем гостеприимство, и были счастливы, что эта наша скромная, но беззаветная — прошу простить меня, если это покажется кому-нибудь нескромным — дружба принимаема была тоже ото всей души.

Анна Андреевна часто читала те из **моих** сочинений, которые я осмеливался ей вручить для сего. И можете поверить: далеко не все, что выходило из-под моего пера, я считал достойным ее глаза. Но вот воспоминания **моих**, относящиеся к некоторым скончавшимся друзьям, я ей показывал. Началось это с моих записок об Ильфе и Петрове. Анна Андреевна крайне благожелательно отнеслась к этим листам. Затем были и другие менее значительные мои работы того же плана. И однажды Анна Андреевна сказала мне:

— Напишите обо мне воспоминания. Мне нравится, как вы это делаете.

Заметьте: это было сказано в начале пятидесятих годов — не меньше чем за десять лет до кончины поэтессы. А вообще должен отметить, что Ахматова всегда придавала значение тому, каков будет ее облик в истории литературы и мемуарах. Она ничего не фальсифицировала, ничего не «подчищала» (как это делают многие наши современники и современницы), но не желала оставлять ни «белых пятен» отсутствия сведений, ни «темных пятен» клеветы.

Итак — откуда возникла наша дружба, которая до конца дней Анны Андреевны поражала многих: уж больно несхожи наши литературные пути, наши характеры и т. д. и т. п.

В 33-м году я получил маленькую квартиру в новостроенном доме писателей в Нацокинском переулке близ Кропоткинской площади (прежнее название: Пречистенские ворота). И в одном подъезде со мною поселился старый друг и соратник Анны Андреевны еще по «Цеху поэтов» Осип Эмильевич Мандельштам. Между нами возникли добрососедские отношения...

Именно у Мандельштамов остановилась Анна Андреевна, приехав в конце года из Ленинграда в Москву. Помнится, она даже навестила нас вместе с Мандельштамом. Но никакой дружбы из этого, разумеется, не возникло, да и не могло возникнуть.

Наше семейство было для нее «никаким». Поэтому и вела себя Анна Андреевна при первых встречах обычно — то есть с горделивой вежливостью. Да мы и сами ее побаивались, как очень многие люди до самой ее смерти... **Сын** Анны Андреевны — Лев Николаевич Гумилев, в те годы студент-историк, — говаривал, если хотел добиться ее расположения к кому-нибудь: — Мама, не королевся, пожалуйста!

А она воистину была королевой — даже когда оставляла этот строй чопорной замкнутости. И впоследствии она сама себя именovala — «королева-бродяга». («Бродяга» — относилось к вечной неустроенности и неумению организо-

вать быт.) Жила в те годы Анна Андреевна бедно. Но от этого только еще больше «королевилась».

А тут — в самом конце 33-го — вместе с матерью приехал в Москву и Лева Гумилев. В квартире Мандельштама ему решительно не было места на ночь. Мы с женой узнали о том и предложили Лева переночевать у нас... и не только переночевать, а прожить все его пребывание в столице. Наша квартира была тоже невелика. Но свободная койка в семиметровой комнате, которая носила высокое наименование моего кабинета, нашлась, Лева пожил у нас и доложил матери, что Ардовы — симпатичные люди. Анна Андреевна пришла к нам на обед вместе с сыном... Впоследствии Лева сообщил нам, что он в тот раз просил свою родительницу «не королевиться». Что Анна Андреевна и сделала. И вот с этого обеда и пошла наша дружба: Анна Андреевна согласилась с мнением сына о нас. А мы — естественно! — были сразу же очарованы и покорены совсем другою Ахматовой, которую мало кто знал в те времена.

Сперва завелся такой порядок: приезжая к Мандельштамам, Анна Андреевна непременно встречалась с нами. А вскоре, как известно, Осип Эмилевич переехал в Воронеж, и Анна Андреевна стала останавливаться у нас, спала на той же узенькой коечке, на какой доводилось ночевать и ее сыну.

Какая же была Анна Андреевна, когда появилась у нас в 1933 году?

Уже сказано здесь про оградительную ее надменность. Ее неповторимый профиль, напоминавший Данте, очень был уместен для того, чтобы «королевиться». Была она тогда худая и гибкая. Одевалась своеобразно — по моде десятих годов. Любила шали и большие платки.

Фотографии того времени сохранили нам ее облик.

Сама Анна Андреевна рассказывала, что в детстве и юности отличалась удивительной гибкостью и способностью к акробатике. Рост у нее был большой. Но она говорила, что ее отец был таким гигантом, что и, встав на цыпочки, она не могла поцеловать его в лицо.

Когда она девочкой-подростком жила в Крыму, то, по собственному выражению, «плавала, как рыба». Однажды она поехала с какими-то знакомыми на лодке. Когда они были уже весьма далеко от берега, вдруг вспыхнула ссора, она прыгнула в воду и спокойно доплыла до суши. Она рассказывала, что, когда после многих лет

ей довелось вернуться в Крым, ей рассказывали чуть ли не легенды про девочку, которая плавала с необыкновенным бесстрашием. Имя пловчихи уже забылось, но Анна Андреевна легко узнала самое себя в этих рассказах...

Как-то я спросил Ахматову: как она относится к карикатурам и эпиграммам на нее?

Анна Андреевна пожалала плечами и ответила совершенно спокойно — видно было, что это для нее решенный вопрос:

— Что же? — это часть славы.

Тема карикатур вызывает в моей памяти следующий эпизод. Из разговоров с Ахматовой я выяснил, что она имеет множество возражений против некоторых сочинений Льва Толстого. И тогда я нарисовал нижеследующий шарж: Ахматова кидается на Толстого, норовя вцепиться когтями в его бороду...

Анна Андреевна очень смеялась над этим рисунком и попросила, чтобы я подарил ей этот лист. (Замечу попутно: художественной ценности шаржик не представлял, рисую я дилетантски, но по каким-то соображениям Ахматовой захотелось заполучить подобное изображение своей «дискуссии» с великим писателем.)

Надо сказать, что Анна Андреевна даже самых любимых своих авторов принимала не полностью. (Исключение составлял лишь Пушкин, о нем она всегда говорила с улыбкой, словно о живом и самом дорогом для нее человеке.) А вот с Львом Толстым у нее были большие «счеты». С ее памятью, умением глубоко «вчитываться», она находила у Толстого множество огрехов. Так, например, Ахматова утверждала, что Анна Каренина не могла быть равнодушной к дочери, рожденной от Вронского. Ребенок от любимого не бывает безразличен! — утверждала поэтесса.

Впрочем, она понимала все величие Льва Толстого. Но ее, в частности, весьма огорчала попытка реформации, затеянная графом Анна Андреевна была верующей, православной. И Толстого, и Достоевского (которого она очень высоко чтит и с которым как читательница была ближе всех в русской литературе) называла ересиархами...

Очевидно, надо записать еще вот такой эпизод. Анна Андреевна дружила с внучкой Льва Толстого — Софьей Андреевной Толстой-Есени-

ной. К сожалению, Софья Андреевна уже скончалась. Она была лет на 10 моложе Ахматовой. Иногда Толстая приходила к нам, чтобы навестить Анну Андреевну. И вот случилось как-то, что я вышел из дома с этой гостьей. У нас завязалась беседа о Толстом, о Ясной Поляне, где Софья Андреевна директорствовала многие годы... (Кстати, лицом она была похожа на деда — тот же русский нос, те же небольшие и злые серые глаза, тот же неукротимый темперамент и желание все сделать по-своему...)

И вот по дороге я рассказал Софье Андреевне, что у Ахматовой есть претензии к ее великому деду, что поэтесса далеко не безоговорочно почитает Льва Николаевича. Софья Андреевна с огромным интересом слушала меня.

Я спросил ее: говорила ли с ней об этом когда-нибудь сама Ахматова?

Она ответила так:

— Никогда! Но я чувствовала то, о чем вы мне сказали. Ее сдержанность, когда речь заходила о Толстом, была подозрительна...

Весьма полемическое отношение было у Ахматовой к Чехову.

Так как я очень высоко почитаю Чехова, цену в нем кроме литературного таланта еще и глубокий ум, но затемненный никакими аграрными представлениями или идеями, то за Антона Павловича я часто заступался в разговорах с Ахматовой. Она же указывала мне на псевдачные места в его рассказах — неточности психологические или сюжетные.

До самой смерти Анна Андреевна была предана своему «Цеху поэтов». Она, например, любила Михаила Зенкевича — соратника по акмеизму. Про него говорила:

— Он мне дорог и потому, что это последний человек на земле, который о Николае Степановиче Гумилеве говорит «Коля»...

Театр она не любила.

Например, никогда не была в Художественном. Но у нас дома был альбом, посвященный очередному юбилею МХАТа. Ахматова полистала его, посмотрела фотоиллюстрации и сказала свой приговор, так сказать, заочно:

— Ну, так... Теперь я вам скажу: все, что относится к современности, они умрут делать хорошо, а исторические пьесы у них не удаются. Особенно плох у них должен быть Шекспир.

На мой взгляд, это — удивительно верно!

Анна Андреевна всегда проявляла интерес к архитектуре.

Однажды она заметила, что Лев Толстой был равнодушен к красоте зданий. Он знал только одно: старое или новое здание — то, в котором живут персонажи его произведений.

В 1937 году мы шли с ней по Фонтанке, я провожал ее домой в Шереметьевский дворец. Она спросила меня:

— На вас действует ленинградский пейзаж? Я ответил восторженно.

Ахматова вздохнула и промолвила:

— А я уже привыкла, к сожалению...

Анну Андреевну сильно сердили бессмысленные колоннады и портики, насаждавшиеся у нас в сороковых годах. Но подлинную старину она любила.

Каждый год в Москве непременно ездила поглядеть на церковь Вознесения в Коломенском.

Она умела ценить современную архитектуру. Замечательный дом, построенный по проекту Корбюзье в Москве на улице Кирова, ей очень нравился.

Мне запомнился афоризм, который как-то произнесла Анна Андреевна:

— Архитектура в каждой эпохе бывает своя, и ничего переделать в этом нельзя; если уж выдалась плохая архитектура, так она и будет плохой до самой смены эпох.

Ее суждения о людях, событиях, о нравах — жизненных и литературных — были бескомпромиссны.

Иной раз Анна Андреевна произносила свое суждение:

— Это — против добрых нравов литературы.

И переубедить ее, уговорить, что дело обстоит не так, было невозможно.

Конечно, всегда права была Ахматова, а не ее не слишком щепетильные оппоненты.

До войны, живя в Фонтанном доме, Анна Андреевна много возилась с соседскими мальчиками Вовой и Валец Смирновыми (Вале посвящено ее замечательное стихотворение «Постучись кулачком — я открою...»).

Мать этих детей, простая женщина, наивно похвалилась перед другими соседями:

— Нянька у меня — мировая!

(Это мне поведала сама Анна Андреевна.)

В 1940 году в Доме творчества в Голицыне я познакомился с Мариной Ивановной Цветаевой. Она жила там, ибо не имела пристанища в

Москве: незадолго до этого Марина Ивановна вернулась из эмиграции, и дела ее были неустроенны.

Узнав от меня, что Анна Андреевна поселилась у нас на Ордынке, Цветаева пожелала навестить Ахматову, с которой она никогда не встречалась. Я спросил разрешения Анны Андреевны. Та согласилась.

И вот в один из дней Марина Цветаева позволила нам по телефону. Анна Андреевна попросила ее приехать. Но она так сбивчиво поясняла, куда надо прибыть, что Цветаева спросила:

— А нет ли подле вас не поэта, чтобы он мне растолковал, как к вам надо добираться?

Этим «не поэтом» был я. Мне удалось внятно изложить адрес, и Марина Ивановна вскоре появилась в нашем доме. Я открыл дверь, принял участие в первых фразах. А затем удалился, не желая оказаться нескромным.

Я в тот момент понимал, что лишаю историю русской литературы многого, отказавшись присутствовать при такой встрече. Думаю, меня поймут...

Летом 1954 года я завел небольшую тетрадку, куда стал заносить заметки об Анне Андреевне, ее слова и наши разговоры с ней. К сожалению, меня, что называется, не надолго хватило — и я вовсе забросил свой дневничок...

Вот некоторые из тогдашних моих записей.

8. VII. 54. Сегодня днем Анна Андреевна рассказала, что, когда вышел сборник ее стихов «Подорожник», эта книжечка попала в руки некоей поэтессы Изабеллы Гриневской (по определению А. А. — сверстница Щепкиной-Куперник, все ясно). Гриневская пришла от «Подорожника» в такую ярость, что топтала книгу ногами и кричала:

— Такие стихи могла написать только прачка!..

О Блоке говорит подчеркнуто уважительно, но не любит его (как соперника акмеистов, в частности — Гумилева). В жизни встречалась с ним мало и отчужденно. Очень сердится, когда ей приписывают разные пошляки роман с Блоком.

Но очень обижается на А. Н. Толстого за то, что он попытался вывести поэта в образе Бессонова («Хождение по мукам»). Считает это сведением счетов и непохожим пасквилем. Говорит: вот Достоевский сделал же убедительную карикатуру на Тургенева в «Бесах». А этот не сумел.

Вообще считает, что начало «Хождения по мукам» недостоверно. Толстой описывает Москву и сестер Крандиевских (москвичек), на одной из которых он и женился (Нат. Вас-на Толстая-Крандиевская), а делает вид, что это — в Петербурге. А там и люди, и все другое. Доказывает подробно и убедительно эту концепцию.

Кстати, Анна Андреевна считает, что в образе драматурга (забыл фамилию) в «Несбыкновенном лете» и «Первых радостях» Федин вывел самого А. Н. Толстого — своего друга и собутельника.

Очень деликатна. Готова хвалить еду, платье, внешность, — словом, что угодно, лишь бы не обидеть кого-нибудь.

Но в оценке стихов беспощадно искренна. Тут никогда не лукавит и, преодолевая свою деликатность, говорит прямо:

— Мне не нравится.

— Рифма — крылья при собственных стихах и груз при переводе. Она заставляет часто выбрасывать из подлинника и добавлять что-то от себя. И получается ерш из меня и переводимого автора.

— Как возникает стихотворение?

Строчка — зерно. Она приходит в готовом ритме. Она — из середины стиха, чаще, чем первая строка...

— Сколько раз давала себе слово заметить, как долго пишется стихотворение... И ни разу не смогла это сделать.

— Знакомые удивлялись, как я жила в коммунальной квартире (дом Шереметьевых) — с одной стороны радио, с другой — шумная семья. А я ничего не замечала. Я, как Евгений в «Медном всаднике», который был «полон внутренней тревоги» и потому ничего не видел и не слышал.

По поводу моей заметки о дагерротипе Достоевского, где отчетливо видны неистовые глаза автора «Бесов», Анна Андреевна сказала:

— А у Блока тоже были светлые глаза и такой взгляд, что казалось, будто вы ему мешали смотреть куда-то дальше вас, за вами... Хотя я, например, была у него по его настойчивому приглашению желанной гостьей.

— Жаль, что Гёте не знал о существовании атомной бомбы: он бы ее вставил в «Фауста». Там есть место для этого...

Рассказ Н. А. Ольшевской (моей жены):

«К нам пришел Борис Леонидович (Пастернак). Анна Андреевна ему впервые прочитала свое стихотворение, посвященное ему. (Оно опубликовано.) Он стал хвалить стихи. И потом они оба стали разговаривать о чем-то. О чем, я не могла понять даже отдаленно. Как будто не по-русски говорили. Потом Пастернак ушел. И я спросила:

— Анна Андреевна, о чем вы говорили?

Она засмеялась и сказала:

— Как? Разве вы не поняли? Он просил, чтобы я из моего стихотворения о нем выбросила строчку о лягушке...»

(Во второй редакции этой вещи лягушки нет. Просьба была уважена.)

О Брюсове:

— Он знал секреты, но он не знал тайны.

Заговорили о жестокости критики у нас, когда идет «кампания». Сказал кто-то, что многих это доводит до инфаркта. Анна Андреевна с иронической улыбкой произнесла:

— А я в 46-м году отделалась фурункулезом...

И еще: во время войны, в эвакуации в Ташкенте, Анне Андреевне приходилось выслушивать сожаления, что она — Ахматова, а не Ахметова. Ибо с буквой «а» это имя принадлежит казанским татарам, а с буквой «е» принадлежало бы узбекам.

И все-таки ее чествовали в Ташкенте, как внучку Бабура. (Бабур — один из прямых потомков Чингисхана.)

А в Казани говорили:

— Татарская женщина выглядит не как Сейфуллина. Татарская женщина это — Ахматова...

Она почти физически сострадала несчастным людям.

Помню, однажды ко мне пришел человек с изуродованным лицом: следствие того, что в детстве его ударила копытом лошадь. Он сидел в углу, а Анна Андреевна со своего постоянно места на нашем стареньком диване изредка

бросала на гостя виноватые взгляды — словно эта она была виновата, что черты его лица так искажены...

Анна Андреевна отличалась удивительной чуткостью. Можно было бы говорить об ее телепатических способностях. Например, внучка Н. Н. Пунина — Аня, которой тогда было лет 12, однажды спросила поэтессу:

— Почему ты идешь открывать дверь раньше, чем позвонят?

Анна Андреевна рассказывала, как однажды шла по Ленинграду и, приближаясь к углу Невского, подумала: «Сейчас встречу Маяковского». Он действительно вышел ей навстречу и сказал:

— А я иду и думаю: сейчас встречу Ахматову.

Сын Ахматовой — Л. Н. Гумилев, выдающийся историк-востоковед, как-то рассказал матери о необычных высказываниях и поступках одного из потомков Чингисхана (надеюсь, что не путаю). Анна Андреевна заметила:

— Это говорит мне, что хан был христианином.

И впоследствии Лев Николаевич нашел подтверждение такому предположению. Но сделать такой вывод, основываясь на скудных сведениях о жизни давным-давно умершего кочевника, на мой взгляд, означает необыкновенное проникновение в суть.

И еще раз я хочу отметить беспримерную щедрость и доброту Анны Андреевны. Она многие годы бедствовала. Знала и голод... Но если у нее появлялись деньги, она раздавала их всем, кто только ни попросит.

А как ей нравилось делать подарки!

Как любила Анна Андреевна веселое застолье!..

Чем старше становилась, тем больше любила окружать себя молодежью. В нашем доме часто собирались друзья моих сыновей. И Анна Андреевна, радостная, оживленная, сидела на своем обычном месте на диване в нашей маленькой столовой, слушала громкие шутки собеседников, из которых старшему едва исполнилось 25, шутила сама, до самых последних дней немного пила...

Более того: часто именно по инициативе Анны Андреевны затевались такие пирушки. Она часто просила моих сыновей организовать «бал», по ее выражению, собрать сверстников, распорядиться насчет трапезы...

Иван Молчанов

* * *

За окошком желтые кусты,
На окошке бледные цветы,
Тронул их осенний холодок...
Значит, я на север — не ездук.

Тронул этот холод и меня:
Двигаюсь трудней
День ото дня.
Стынут ноги, колет в правый бок...
О наследье кирзовых сапог!

Юность сожрала одна война.
Малость мира — и еще война...
Ты теперь ведь прадед, старина,
Но зовет родная сторона.

Кличут холмогорские леса,
В Бело море кличут паруса,
Хоровод архангельских берез
Ждет в жару июля и в мороз.

Небо сине. Даль полей светла...
Попросить бы крылья у орла,
У оленя — резвости для ног...
О наследье кирзовых сапог!

Василий Казанский

ПОКА Я ЖИВУ

Уйдешь, а люди не заметят,
им не приснишься и во сне.
Земля не вспомнит обо мне,
как небо о шальной комете.
Что за беда, что я исчез,
что оказался не из стали?
...Все так же в глубине небес
пойдут в неведомые дали
причудливые облака,
и зацветут весной луга,
и будут журавли в болотах
торжествовать на грустных нотах.
Лес без меня их станет слушать...

Ну ладно!..
А пока живу,
пока живут глаза и уши,—
я сам причастен к торжеству!

Михаил Рудерман

ТОВАРИЩ МАЯК

Двадцать пятый год.
Полдень московский.
В «Комсомольской правде» —
Владимир Маяковский.
Он был от застенчивости громогла-
сен,

От скрытой нежности
Резок порою,
Но, честное слово,
Был прекрасен
Взгляд его жесткий,
Взгляд прямой.
Свои стихи
Ему мы читали.
Он каждому чутко
Давал совет.
Иные из нас
По ночам не спали —
Те, кому он сказал:
— А ведь вы поэт! —
Он был человек,
А не легенда,
Над Парнасом поднявший
Красный флаг.
В Политехническом
Скандировали студенты:
— Великолепно, товарищ Маяк!
А он улыбался,
Строгий и добрый,
И взглядом
Каждого из нас находил.
Я, слушатель
Литкурсов Моспрофобра,
Маяковского за чуткость
Навсегда полюбил.

Михаил Скуратов

ГЛАЗКОВСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ

Глазковское предместье, где юность протекла,
Где я хлебнул и горя, но и вдохнул тепла,

Ты вновь разбередило всю душеньку мою,—
И песни красная тебе, как встарь, пою.

Какие были годы, какие времена! —
Вся жизнь моя былая навеки спалена.

Винтовку-трехлинейку носил я за плечом.
И горести, и тяготы нам были нипочем.

Я ночью до калитки дивчину провожал,
Любовью безответной сраженный наповал.

И брел я одиноко к Селитбенной черте,
Где годы проскакали, былые годы те.

Какие были годы, мужала вся страна,—
Какие были грозные, святые времена!

Моисей Цетлин

НЕНАСТЬЕ. СУЗДАЛЬ

Доносит ночь рыдание глухое.
Соломонія плачет о судьбе.
— Не Хельга я — варяжская княгиня.
Не горлица, но и не леди Макбет.
Я русская до самых до глубин.
Боярыня Сабурова в царицах.
Я инокиня ныне и жена
Отвергнутая... Постриг... Монастырь...

Но я еще вернусь в легенде к вам
Народной, девки в джинсах неопрятных,
И не смоковницей бесплодной, о нет,
А матью разбойника лихого —
Возмездием за попанную честь!

«Мотель» на пойме Каменки. Поток
Стремится к древней Кидекше и Нерли.
К двенадцатому веку. Дождь. Гроза.
И Суздальская Русь над берегом встает
Буддийским сном и утром Православья.

Андрей Алдан-Семенов

* * *

Я вдруг припомню
в жизни каждодневной
То детства безнадзорного очаг,
То вятскую зеленую деревню,
То Казахстана белый солончак.
И вот уже из прошлого летят
И яростно врываются в квартиру
Вершины и Тянь-Шаня, и Памира,
И дым костров, и мерзлый звон лопат.
И я смотрю, притихнув, не дыша,
В вечерней напряженной тишине
На прозелень степного Балхаша,
Кипящую на сумрачном окне.
На яблони, на кручи Алатау,
На злые муюнкумские пески,
Они — давно моя любовь и слава,

И мне не излечиться от тоски
По этим ускользящим виденьям,
Что освещали молодость...

Они

Ведут меня,
как древние ступени,
В еще непознаваемые дни.

Игорь Шкляревский

ПИР

(Быль)

И потече к лугу Дона,
и полете соколом под мглами,
избивая гуси и лебеди
к обеду и ужине...

Слово о полку Игореве

Прискакал половецкий гонец.
Поклонился с лицом истукана.
— Князь! Жди к ужину хана,—
щелкнул плеткой,—
на небе краснеет рубец...
И поставили стол под березой.
Неба, шума береза полна!
Бьет Перуну поклоны она.
Хан подъехал с улыбкой негрозной.

Игорь Гзе говорит: — Не взыщи,
коли гуси худые да постные щи.

Из одной они выпили чаши,
чтобы тайные думки узнать.
Гза сказал: — Лучше видеться чаще.

Ради истины надо сказать:
незадолго до Игорева похода
в лето тысяча сто восемьдесят
четвертого года
был у Игоря хан Кончак,
а не Гза...

Кончакова дочка
сына Игоря будущая жена.
Только истина нам не нужна.
То ли дело с капустой бочка!

Со своею виною великой
за крамолы на русской земле,
что сказал Игорь Гзе?
— Хан! Отведай капусты с брусникой.—
Тут и с яблоком кисло-моченым
и кочанный открыли засол!
Хан лишь носом повел,
как из кости слоновой точеным.
Редьку с квасом распробовал он.
И усами сосуд заарканил.

Надкусил огурец — только звон
аж до самой до Тмутаракани!

— А тогда огурцы уже были? —
Не расскажут суровые были.
Летописцы писали о главном!
А бранились теперешним матом
или с кислою вонью орда
занесла его к нам в города?..

Гза вареного хрена схватил.
С ртом открытым застыл.
Сладко слезы растер кулаком.
Стал с одышкой хукать и цыкать.
И, зажмурившись, клюкву с ледком
в рот отчаянно сыпать.
Нутро охладил.

Мозги просквозил!
Искривилась береза — от слез.
Дядька пареной репы принес.
Хан трясет головой,
шарит слепо.
Где капуста, где редька, где репа?
Клюкву шарит. Зажмурился — рысь!..
— Где такая растет?

— На болоте.—

Стонет хан:

— Хорошо вы живете.
— Так вези сыновей. Породнись.
Будет Русь засыпать спиной к Дону.
Завернешься и ты с головой в попону.—
Соглашается Гза, отрезая кусок.
Из леца розоватый жирок
по серебряным пальцам потек.
Проникает сквозь рыбину свет!
От варягов — засола секрет.
Надо соль в труху не толочь,
да в холодную лунную ночь,
чтобы соль раньше тлена
в плоть проникнуть успела.
А рыбца соли с чревом,
разом с мокрым мешком,
и не ставь сразу в холод,
будет трюхи с душком.

Тут и сам я почувствовал голод!
По усам текло, в рот не попало.
Не беда! Мне чесночного сала
Бородулин прислал.

Я поэму бросаю.
И на кухню бегу. Вот мешаю
с подсолнечным маслом капусту.
Режу лук. Сало жадно хватаю.
Плачу... Рот обжигают!
Приобщаюсь к старинному хрусту.
Вспоминаю...
детдомовский запах какао.
Друг подмигивает лукаво.

— Иванова к директору! — крик.
Иванов обжигает язык.
Он знает, что все пропадет.
Расхватают, как стая ворон.
И с улыбкой злорадною он
в свой стакан и тарелку — плюет!
Вздохи горна... Плакучие ивы...
Зря плевался! А я не брезгливый.
Хлеб в чужую подливу макаю.
Продолжаю...

Пояс Гза расстегнул.
Пальцы в чаше с водой поболтал.
Полотенце холщовое смял.
Стали раков вареных ломать и сосать.
Брагой из ячменя запивать.
А на стол валят с теплой доски
коровьи печеные языки.
Миски с тыквенной кашей несут.
Куропаток, закатанных в глину,
лебедей на угольях пекут.
Да следят, чтобы сок не потек.
Подоспел с луком рыбный пирог.
Холод-жар по щекам течет,
словно белка летает с плеча на плечо.

— Отцу веселье — сыну похмелье! —
крикнул княжеский пустомеля
и под стол, извиваясь, ползет.
Там у хана земли

с сапога соскревет,
чтобы знать, был ли хан у соседа.
Знай конец в середине обеда!..
Вздрыгнул хан от улыбки кривой.
И нечаянной, что ли, рукой
опрокинул солонку и ждет,
когда Игорь начнет
первый соль
собирать.

Только князь захмелел, ни гу-гу.
Стало солнце за лес западать.
На Десне соловьями лягушки запели.
А у хана на том берегу
десять тысяч стоит,
как бы не охладели.

Десять тысяч стоит.
Стража выпью кричит.
Пена речкой плывет от кобылей мочи.

Жарко! Игорь рубаху сменил.
Облепила жестокое тело прохлады.
Хану тоже несут.

Отстранил.
А на блюде серебряном,
что привез Святослав из Царьграда,
дядька ставит для гостя конину.
Пар от красного мяса идет.
Замер хан.

Ветер бурю несет...

Или взгляд холодит ему спину?
Кто там все говорит наперед?

— Скаталась в горошину буря!
Спит в соловьином горле.
Чуть свет она вылетит в поле.
Вот уже наклонились травы.
Всполошились ясные воды.
Повалились овсы в полях.
Дует ветер. Несет прах.
На деревьях ломает сучья.
Гнездо забросил на тучу.
Теснота зародила лобу.
В небе яко собаки
тучи скалятся и грызутся.
Рвут друг из друга утробу.
Чую кислую вшивую вонь,
что нахлынет сюды о двуконь!
Вдовы плачут и головешки смердят,
где стояли Римов и Володимер.
Суздаль пал, и Чернигов вымер.
У Рязани на горле рана.
Стая галок пирует на землях Трояна.
Отсеки князь, как ветки на древе,
боковые дороги судьбины...

Запеченную, с травами в чреве,
дядька дичь вынимает из глины.
Нет конца угощенью-обеду.
И нельзя хану первому встать.
А от князя гонец
волком скачет к соседу,
упредить, что стоит половецкая рать.
Не задушит его половчанин арканом.
Под лопатку стрелу не вонзит.
А береза над князем и ханом
ветра полная гнется, шумит.
Клонит голову Гза,

от полыни седую,
Только дума его начеку.
Игорь чашу достал золотую.
Говорит: — Передай Кончаку.

Обнимаются Игорь и Гза.
А над ними уже набухает гроза.

Стеганул хан затекшую ногу!
Встал. Пора. Свет померк.
Без кольчуги, а вроде не смерд,—
до реки ему кажется дорогу.
— Кто такой? — хан раздумал спросить.
А спросил, как проехать бродом.
Человек же ответил ему:
— Летописец. Из Полоцка родом.—
Удивился такому ответу Гза.
Брод ему указал ясновидец.
Оглянулся — гудит на обрыве лоза.
И стоит под грозой летописец...

Валентин Устинов

ЧЕРНАЯ РУСЬ

Ту убиен бысть благоверный князь Георгий Ингоревич... и многая князи месныя и воеводы крепкыя, и воинство: удалцы и резвцы резанския. Все равно умроша и едину чашу смертную пиша. Ни един от них возвратися вспять. все вкупе мертвыи лежаша.

Повесть о разорении Рязани Батыем

Гей!

Там за овинами — ельник пилой.
Там за обиды — кистень под полой.
Черная Русь — буерак да овраг...

«Суженый, чую: рожается враг!..»

Я прожигаю звездой синеву.
Я меж веками вздымаю главу.
Дальняя память — исток бытия.
Или мой предок привстал? или я?

Черная Русь — толоконная Русь.
Стонет зегзицею смертная грусть.
«Суженый, тяжко прогнулись луга,
в глыбь по макушку ушли берега...
Суженый, чую несметно врага...»

Черная Русь — златоглавая Русь.
В стольной Рязани что терем — то груздь.
В страдной Рязани — мольба и туга:
желтая степь породила врага.

Юрий Ингваревич ликом усох —
смертью и ладаном каплет с усов.
Сам иноходцев заводит в узду:
княжич с посулами едет в орду.

Терем княжой — Евпраксией поник.

Ратай с сохи отбивает сошник.
Высекла сталь борозду из-под ног.
«Добрый сошник... Будет славный
клинок!»

Черная Русь — голубая звезда.
Рыжий Батый — путевая орда.
Дикое золото злых кобыл.
Войлоков вонь оплела чернобыл.

Взгляд у Батыя протяжен и прян.
Федор Рязанский пока еще прям.
Шея у князя не гнется — горда.
Желтою рысью томится орда.

«Княже, батуры брюхаты войной...
Слышал я, княже, ты славен женой...»

Любишь Рязань и свою высоту? —
Дай мне изведать жены красоту!»

Гей!

Черная Русь — покати́лась звезда...
«Суженый, чую: родилась беда —
очи застлал погорельный вьюнок,
вороны сбились в голодный веноч...»

Ратай куёт харалужный клинок

В сумрачной кузне черны потроха.
Воля моя нагнетает меха.
Леший кувалдою плющит огонь.
Звезды грызет застоявшийся конь.

Черная Русь — Золотая орда.
Злая орда — на три века беда.

Стынет в глазах голубая звезда:
«Хан, ты от похоти черен и лют.
В кровь под тобою наплачется люд.
Но не пристало водить христианам
женок своих к нечестивцу на блуд».

Черная Русь — удалые князья!
Мертвые сраму не имут, друзья!
Синие очи коршун когтит...

Ратай с мечом раскаленным летит.
Точат ветра харалужную сталь —
искры палят половецкую даль.

Вести — как вороны — выпили рань.
Воплями выжжена вусмерть Рязань.
Черный гонец — как исхлестанный пес.
Терем на смерть Евпраксию вознес.
Сына схватила, взялась за карниз...

С воем деревья ринулись вниз —
да не ушла от княгини земля.
Тяжкая боль всколыхнула поля.
Князя в могиле качнула волна:
«Что же ты сына сгубила, жена?
В ком на врага поднимусь в ковылях?
Ах ты, жена моя верная!..»

Ах!

Черная Русь — прокопченный очаг.
Синие искры в соленых очах.
Русые волосы — вихорь полей.
«Суженый, нынче меня не жалей».

Белое тело — жарынь и круги.
Смуглая ночь — нагишом до реки.

Кинуть себя — словно меч в полынью...
Пусть берегини заклатья поют!

Звонкое тело — каленая сталь.
«Чтобы ты, любый, в бою не устал.
Чтобы твой сын из меня возрастал...»

Черная Русь — непокорная Русь.
«Сына жалей, если я не вернусь».
Клич не смолкает меж ратных полей:
«Сына — ты слышишь? — сына жалей!..»

Все они лягут в смертельном бою.
Всех нас ветра и века отпоют.
Жены уйдут за еловую крепь —
синие очи выследят степь,
выждут орду, изведут у реки...

Ратай скуёт из мечей сошники.
Степь засинеет парами полей.
Черная Русь — непомерная...

Гей!

Леонард Лавлинский

ЕСАУЛ И СТАРАЯ ЗНАХАРКА

(Из поэмы «Разинские колокола»)

Что мне сказать, кормилица?
Время беду пасти.
Аще и слезы выльются,
Нету речам пути.

Прежде свинцом говаривал:
Недруги с двух сторон.
Выжгло симбирским заревом
Душу — велик урон...

Ринулся батька, хрупая
Молниями клинка, —
Мельница десятирукая
Машет издалека.

Лезем на рать несметную,
Ищем ходы к нему
Через геенну смертную,
Стонущую в дыму.

Чудом пробились. Отняли.
Вспять на руках несем.
Мчимся к стругам по отмели —
Груз-то, поди, весом...

Впору твое молчание.
Так не ладья, не плот —
Весь караван отчаянья
Вниз по реке плывет.

Только луна попутчица
Этих безумных верст.
Ей-то не надо мучиться
Ради спасенья звезд.

Льется тропой нехоженой
Отсвет ее лица.
Ухом приникну: боже мой,
Либо везу мертвеца?

Батькино сердце стукнется
Лодкою в бережок.
Знать, бережет заступница —
Вольницу бережет.

Мало пречистой воздано.
Матерь всея Руси,
Волгу кропя звездами,
Разина упаси!

Истинно божьей помощью,
Белой крупой небес
Выплыл ковчег нетонущий,
Мертвый, глядим, воскрес.

Гаркнул: «А ну-ка, молодцы,
Киньте Степану гробь.
В церкви за нас отмолятся —
Кости хочу погреть».

Весла бросало махами
В пенный разбег волны,
Кровь опадала маками
С вымокшей седины...

Много ль тебе говаривал —
Кланяюсь до земли.
Хоть сатанинским варевом
Разина исцели!

Ныне братья молятся
Образу твоему.
Гулкое сердце вольницы
Не урони во тьму.

Анатолий Преловский

ЗЕМНАЯ ТЯГА

В раскопках новгородских, в кладовых
подземнейших, где даже кость истлелась,
нашли зерно —
семь катышков худых,
твердейших, что твоя окаменелость.

В них так запрессовались времена,
что бедное зерно
под их напором

забыло рост, и роль, и вид зерна
и сделалось сродни огнеупорам.

Оно от долгой муки взаперти,
в бесплодной жажде сева
так устало,
что умудрилось грани обрести —
напоминать кристалл алмаза стало.

Над зернами —
музейный ровный свет,
под зернами —
сухой и мягкий бархат.
Восстав из бездны древнерусских бед,
лежат и хлебом, кажется, не пахнут.

Но лишь к зерну я руку протяну,
душа его,
невидимая глазу,
вдруг затрепещет, ощутив весну
вовне, за светлым гнетом плексигласа.

Земная тяга
напряжется в нем,
но, выстрелить и дать росток не в силах,
в ответ пахнет
божественным жарком,
что не упрятать ни в каких могилах.

И ни в каких пожарницах не сжечь,
и не лишить вовек надежды роста,
как русскую несуетную речь,
как русских ход —
вдоль древней пашни
к звездам.

ПОСОХ

Как мыслю, так и существую,
затем и вышел в жизнь живую —
в дорогу, как судьба большую,
на посох правды опершись.
Свою живу, а не чужую,
одну-единственную жизнь.

И мне заказано быть разным —
всеобщим и разнообразным,
чтоб, что ни встречу, выражать
не ради истины высокой,
а ради выгоды веселой
себя в себе вообразать.

Тяжел мой посох, год от года
он тяжелеет. Но дана
единственная свобода —
не выставляться из народа,
где всем дана одна погода,
один простор, одна природа,
да и одним-одна страна.

МЕРЗЛАЯ МОСКВА

Посещает меня ветеран,
в прошлом воин, а ныне — писатель,
и не то чтоб совсем графоман,
но тягучего чтива слагатель.

Посещает по праву войны
и старшинства соседскому праву.
Нет за мною военной вины.
Нет за мной героической славы.

Но пришел он, когда по Москве
ярый холод, как выстрел, ударил,
и когда белый пар в синеве
межквартальной взвился, забуранил

над развязками теплосистем,
выходящих, как доты, из строя,
и когда стало явственно всем,
что запахло суровой порою.

«Вот отца схоронил... Вот жена
разлюбила, бросает... Вот дочка
после гриппа два года больна...
Вот не ладятся слава и строчка...»

И нудит, и нудит, и нудит,
вяжет, как круговую порукой.
И сидит, и сидит, и сидит,
пряча взгляд за унылою рамкой.

«Как ты счастлив несчастьем своим!» —
молча, жалость гася, повторяю.
Сколько лет беседуем с ним,
столько лет я его и теряю.

А столица в квартале от нас,
запахнув телогрейку потуже,
чинит ревностно воду и газ,
что порушены резкою стужей.

И стоят на снегу, при кострах,
терпеливые старцы и дети,
как стояли в жестоких снегах
в пострашней, чем мороз, лихолетье.

С темью окон смыкается ночь,
и Москва до метро промерзает...
Чем же мне ветерану помочь,
если сам он себя не спасает?

Малый груз тыловой маеты
не сравнится с его маетою
от Москвы до Берлина — чисты
муки друга, и я их не стою.

И свой долг возвращаю ему
тем, что всем, чем богат я, стараюсь
поделиться с ним в мерзлом доме,
будто все еще — им! — охраняюсь.

ОБРАЗ ПУЛИ

Вы просите, чтоб образ пули
нарисовал я и пальбу.

В траве военного июля
спит череп с дыркой во лбу.

Вы скорбный череп тот возьмите,
к виску прижмите —
лоб у лба —
в глазницы вечности взгляните...
Ну как, услышалась пальба?

Григорий Левин

ПАМЯТИ 26-ти

Нет, не надо курганов,
Надгробного камня не надо,
Если память навечно
Хотите в сердцах сохранить,
Будьте вечно готовы
На те же взойти баррикады,
Чтобы кровью своею
Их братство навеки скрепить.

Кто сказал, будто разная кровь
У грузина и тюрка?
Иль не общею кровью
Земля сожжена здесь дотла,—
Если с плеч одного
Наземь падала черная бурка,
И другому она —
Изголовьем последним была?..

ПУБЛИКАЦИИ



Герман Валиков 1927—1981

СТАНСЫ О ВОЗРАСТЕ

Давно родился я, давно...
Еще о бомбе знать не знали,
А самогон ручьями гнали,
Не ставя мальчика в окно.

Давно родился я, давно.
Когда из колыбели вылез,
Еще, бывало, в печках мылись...
Кулагу помню, толокно...

В лесу за речкой жил медведь...
А мы все пальцы в кровь избili —
Вдогонку за автомобилем.
Чтоб чудо это разглядеть.

Родился при немом кино,
Еще до кинопередвижек,
До ильфовско-петровских книжек...
Подумать только, как давно...

Не потому ль и подустал?..
Родился на заре колхозов,
Мой горизонт был ал и розов,
Как лозунг золотом блистал.

Мы пели песни баррикад...
Кашира славилась, Шатура...
Сияло слово — д и к т а т у р а,
Гремело — п р о л е т а р и а т.

Я ликовал, я уповал,
Обуреваем предвкушеньем:
Еще напор, еще движенье —
Все зло — под корепь, наповал!

Давно родился — ошалеть!..
Еще фашизм, как кукушонок,
Рот разевал, просил деньжонок,
Чтоб с голоду не околеть.

Давно родился, спора нет...
Ценилась вера, пламень чувства.
Словечко мерзостное «чуйства»
Впервой услышал в тридцать лет.

Давно родился... верь не верь:
Развод считался неудачей,
Бездетность будто бред собачий
Третировалась... А теперь?

Большой Деревнюю — Москва
Звалась. Приятно и без риска
В ней всем жилось, а на прописку
Любой из нас имел права.

В науку сельский пер народ,
Почти без конкурсов, свободно
В вуз принимали... А сегодня?
Почти совсем наоборот...

Родился я во времена
С природой драк сплошных и споров,
С архитектурю соборов
И с языком... О старина!..

Все, что цветет, поет сейчас,
Растет, показывая зубки,
Я в почке, в зернышке, в скорлупке
Видал... Топтал, поди, не раз?..

Я жить хотел для торжества
Добра!.. Я понимал немало...
Но жизнь порой так удивляла,
Что обмирал — не раз, не два...

Что говорить?.. Родился встарь...
К чему теперь — не разумею! —
Соломой крыши крыть умею,
Белье катать, отбить косарь...

Стою, господь не приведи,
Как ископаемый, как древний:
Вот здесь была моя деревня...
Где...
Хоть раскопки заводи.

Я столько видел, что помри —
Не рассказать... Наверняка я
Жил — умирая, возникая...
И так — не раз, не два, не три...

Эх, раз, два, три!
Веселей смотри!
Не боись, моя телега,
Синим пламенем гори!

* * *

Он как Анна Каренина тих и прекрасен,
В алом бархате так величав,
И красив и угрюм этот клен или ясень
Со сквозным веерком у плеча.

А вокруг тишина пред бедой неминучей,
Завтра все полетит под откос.
А за Барским-Татаровым голые сучья
Аракчеевских ветхих берез.

Аракчеевских, нет ли — о, кто это помнит,
Может, так по привычке зовут.
По бездонной земле я хожу, как паломник,
Где он, мой настоящий приют?

А беда на носу, дождь ли, ветер в разгоне
Заведет круговерть колеса.
Что ни лист — то сердечко, то слепок ладони,
То свинцовая чья-то слеза.

Обольстит ли обман красоты увяданья,
Если сам будто на волоске...
До свиданья, поля! Синь туман, до свиданья!
Завтра к вечеру буду в Москве...

И опять умиляет, как не виделись годы,
И асфальт, и модерн, и ампир.
И надежно обступит другая природа,
Листобоя не знающий мир...

Двадцать два голыша на суданском посольстве
Улыбнутся, дождей не боясь,
И Арбат поведет по своим хлебосольствам,
Проходными дворами виясь.

И по улице Фрунзе пойду, как паломник,
К Боровицким и дальше — на скос...
И внезапно замру, эти веточки вспомню —
Аракчеевских гиблых берез.

А с угла вдруг предстанет — возвышенный,
ясный,
Хоть в сиянии, хоть под дождем,—
Тот баженовский, пашковский, вечно
прекрасный,
Весь как Анна Каренина, дом.

Публикация Т. А. Валиковой

Сергей Крыжановский

ВЕЧНАЯ ИСТОРИЯ

Памяти Г. Валикова

Он еще при жизни выбрал Радонеж,
Эту рошу, речку и поля.
Вот ты на него теперь и падаешь,
Древняя славянская земля.

Весь обряд, как должно, мы исполнили,
Волю друга помня наизусть,
Чтоб сравнялся он не просто с комьями,
А с тобою, Сергиева Русь.

Словно болью общею ослаблено,
Никло долу золото ветвей.
Боже, разве мало горя бабьего
У берез и наших матерей?

И не тот ли ворон нынче кружится
Над окрестным маленьким селом,
Что садился в изголовье русича
На пробитый стрелами шелом?..

Юрий Белаш

* * *

Белый апрель 45-го года в Германии:

белая заметь распоротых пуховиков и подушек
по дорогам;
белая кипень вишневых садов в палисадниках
по предместьям;
белые флаги с безлюдных балконов и окон
по улицам...

Белый апрель 45-го года в Германии —
капитуляция!

ОКОПНЫЕ МИНИАТЮРЫ

1

Что об этом напишут историки? —
ничего!
Потому что есть вещи, известные только
тому,
кто прошел сквозь войну.

2

При недолете у снаряда — свист
короткий.
При перелете — долгий.
А какой при прямом попадании —
это у мертвых спроси...

3

У убийцы замарана кровью душа.
У солдата — лишь руки.

4

Мало кто знает о том,
что во время боев за Берлин —
семь веков отмечалось с его основания...

5

После жестокой бомбежки
от земли пышет жаром,
как от печи.

Глеб Еремеев

НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ

Далекий преследует вечер меня —
война продолжалась, а лето кончалось,
спала жарав августовского дня
и дымное марево в небе качалось.

Высокий летел над заречьем закат,
как взрыва неслышного
вспышка слепая,
и шли из него
силуэты солдат,
на длинные тени свои наступая.

А тени от них по-пластунски ползли,
в полынь заползали, в кусты, в буераки,
сгущаясь за каждым пригорком земли,
казалось, накапливались для атаки.

Солдаты сходили к реке по песку —
одни у воды разувались,
другие,
как были в обмотках, вступали в реку,
и струи на броне вскипали тугие.

Потом поднимались они на откос
высокого берега
вслед за теньями
и в пашню, топча переспелый овес,
по грудь зарывались,
взрастали корнями.

Моя деревенька на этой горе
стояла в сторонке почти виновато
и щурила красные окна в заре,
косясь по-старушечьи подслеповато.

А черные тени полями ползли,
и взрыва неслышного вспышка слепая,
заря за рекой потухала вдали,
и грач на ветле бормотал, засыпая.

Тогда деревенскому мальчику, мне,
война показалась
крестьянской работой,
и хмурые люди на этой войне
работали дружно и вроде с охотой.

Но кровью и смертью в огне и в дыму
она перед нами наутро предстала,
и бабушка долго потом выбирала
кастрюли из пепла в сожженном доме.

Александр Коваль-Волков

* * *

Звезды спасенные нянчит мой Дон на ладонях.
Пламя бессонное в волнах скользит и не тонет.

Дон предо мной в этот раз разметнулся широко,
Бездной бездонною, льющейся в небо дорогой.

Струи, как стрелы, как линии жизни на стрелне,
Кружат мои звезды памяти, звезды надежды.

К правому берегу детства мне надо пробиться,
К той, еще немцем не взятой зеленой станице.

Мне бы — над яром, в горькое то измеренье
С ветром попутным пройти стороной сновидений.

Там, по садам, снова целые белые хаты
И не дымится броня самоходок крестатых.

Мне бы туда перебраться, где в сумраке братской
Спит мой отец молодой. Спит с дружиной солдатской.

Мне бы пред ними за жизнь, за живых повиниться
И до земли им поклоном земным поклониться.

Молча опять постоять неопознанной ранью
Там, у отцовской звезды моего мирозданья.

Николай Зиновьев

ЗЕМЛЯ СОРОК ПЯТОГО ГОДА

Земля сорок пятого года.
Разбитых дорог паралич.
Сиротский осадок от горя —
сплошь пепел и битый кирпич.

Весеннего утра испарины...
И двое под птичий щебет
работают на развалинах,
таскают песок и щебень.

Солдатам копать не в новинку,
но как-то не очень с руки.
Там мерзлые комья суглинка —
как сжатые кулаки...

Лопата с землей не спорит,
черпнет —
и осыплется вновь
в песочных часах истории
земли сорок пятого кровью...

На миг прикурить присели,
и снова в пилотках двое
несут на носилках землю —
как раненую с поля боя.

Олег Шестинский

ПАМЯТЬ

I

Уже не отдельные лица,
но в грозном сверканье ума
в эпоху блокады взгляды
история века сама.

Но в сонме причин и последствий,
храня независимый взгляд,
абзацем лишь скажет
о детстве
великих блокадных ребят,

о бывших свидетелях шквала
в начале страды и пути...
Их нынче осталось так мало,
что цифру не произнести.

II

Страшнее фашистского танка,
ворвавшегося с пальбой,—
с буханками спекулянтка,
растерзанная толпой.
И делать не стали секрета.
Сурово, открыто и зло
о том сообщила газета
и радио донесло.

Мы, мальчишки, зябко молчали,
расправой оглушены...
Так честности нас обучали.
Доныне страшны наши сны.

III

После пожара склада —
в нем сахар и мука,—
как плитка шоколада,
земля на три вершка!

Мы ели землю эту,
как лакомый кусок!
Напоминал конфету
тот спекшийся песок.

И в нас рождалась сила,—
той силы нет сильней.
Земля нам жизнь продлила
на целых восемь дней...

IV

Нам в райисполкоме
медали
вручили на все времена
за то, что мы землю копали,
урок исполняли сполна.

И вот уже вьется капуста,
являя народу свой лик...
Прекрасней и выше искусства
я в жизни потом не достиг,

поскольку не просто народу
я в чем-то и как-то помог,
но лепту
в борьбу за свободу
я внес, как солдат,— видит бог!

Василий Журавлев

И ДО СИХ ПОР

Ах, если, если б молодым я,
неприноровленный солдат,
навечно сгинул под Медынью
еще тогда...

Еще тогда,
когда, не числясь в комсоставе,
осколок смерти затая,
тебя бы вдовушкой оставил,
любовь моя...

Любовь моя!
Ты, верно, в суеверье строгом,
встречая боль судьбы в упор,
меня б считала полубогом
и до сих пор...

И до сих пор!

Анатолий Головкин

* * *

И опять из двадцатого века
Выбрал я середину, и вот
Наступает не жизни ль проверка —
Ее черствой горбушки черед!

Ох, как круто ломоть свой солю я
Солью давних и свежих потерь,
О невзгодах былых памятуя,
Ничего не боюсь я теперь.

Этот грохот чудовищный залпов,
Скрежет траков, и стоны во мгле,
И горящих хлебов горький запах
Все кипело в едином котле.

Переварена разная слякоть
И свинцовых и пасмурных дней.
Серединка у века — не мякоть,
А вот соли достаточно в ней...

Встану утром, и цепь подтяну,
И рассыплю у печки поленья;
Молоточки стучат в тишину,
Тонко звякают времени звенья.

Спит любимая. Вот наконец
К югу двинулся стан лебединый...
Ах, трудись же, бессмертный кузнец,
Всех повязывай цепью единой!

И какой же восторг и укор,
И какое же горькое счастье —
Символ бренности, хрупкий прибор,
Как оковы, носить на запястье!

Подложивши под щеку ладонь,
Спит любимая. В поле несметно
Спят стога. И в лицо мне огонь
Дышит пламенно, жарко и смертно...

КОЛОДЕЦ В СТЕПИ

Степь мерена конской подковой
И древней стрелой; в краю
Заветном

к воде родниковой
Склонюсь — и прохлады испью.

И в чреве степного колодца,
Где каждая капля слышна,
Отцово лицо покачивается,
Глаза улыбнутся со дна.

Отец, здесь скакал ночь и день я,
Я выбился вовсе из сил,
Но времени тяжкие звенья
Подковами все же разбил.

И снова вернулся к истоку,
К рождению в сельском дому,
К земному дремотному оку,
К колодцу, к лицу твоему...

Нет дома, лишь ветер пасется,
Колышутся гривы былья,
И вот сохранились в колодце
Обрывки того бытия.

Но счастьем я полон тревожным
В степи, где народы прошли,
Где камнем стоит придорожным
Луна на краю у Земли.

И так напрягается тело,
Как будто я степью не сыт,
Как будто за эти пределы
Мне огненный путь предстоит...

Владимир Осинин

* * *

Мы своего столетья старше,
Попробуй в непогодь и зной
Быть с полной выкладкой на марше —
Кто знает, где он вспыхнет, бой?

И бездорожие и слякоть,
И серый сумрак на пути...
Бывает так: былинка в тягость,
А надо меч и щит нести.

Алексей Марков

* * *

Нет проку, милый, от того,
Что льешь в восторге бурном слезы:
«Не знаю краше ничего,
Чем наши русские березы!»

Пускай они тебя полюбят
За то, что в схватке уберег
От тех, кто, добывая сок,
Их по живому телу рубит...

* * *

«Осторожно, двери закрываются!» —
Раздается в поезде метро.
И зачем бабуся надрывется,
В дверь сует оклунок¹ и ведро?

Не сумеет проскользнуть. Захлопнется —
И укатит без нее багаж.
Бабка бестолковая торопится,
Хочет взять вагон на абордаж!

«Осторожно, двери закрываются!»
Лишь услышу, сердце заболит,
Словно чьи-то силы затираются,
Словно кто-то сжался от обид.
Не сумеешь проскользнуть увертливо,
Не успеешь к счастью своему
Потому, что стал неповоротливым,
Иль не то причиною тому?

Ничего не сделаешь с сединами.
Ты уже от поезда отстал!
Больно сдавленный годами-льдинамп,
Необидчивым, смиренным стал.
«Осторожно, двери закрываются!» —
Голос надрывется в метро.
И чего он только надрывется?
Обжигает холодом нутро...

¹ О к л у н о к — мешок, разделенный пополам, чтобы удобнее было нести его через плечо (южнорусск.).

Александр Челноков

* * *

Была незримой птица эта,
Казалось: пели ветви, ствол,
И луч серебряного света
Свою мелодию обрел.

Он зазвучал струной — напевно
Во мне и беспощадно — там,
Где грозовая туча гневно
Мелькала тенью по холмам .

Когда тебя, моя страница,
Коснутся бережно рукой,
Увижу я, как реет птица,
Владея небом и строкой.

Нина Бялосинская

ТОЛКОВАНИЕ

«Поэзия, мой друг, должна быть глуповата».
Но все-таки не так, как стеганая вата.
А так, как бубенец зеленого гороха,
и чирик,
и гудок в руках у скomorоха,
как полевой цветок, отправленный в конверте,
как радость бытия на полдороге к смерти.

Владимир Пальчиков

СЛОВО

Я тебе очию карандашик.
Мы раскроем букварь. Посмотри:
Эта буква — как будто шалашик
С аккуратной распоркой внутри.

Дымкой грозных столетий повита
Эта первая буква твоя,
Что стоит во главе алфавита,
Много былей и сказок тая.

Сколько пало с бедой в поединке
Стен, одетых в кирпич и гранит,
Но шалашик — три тонких жердинки —
Уцелел, удержался, стоит.

Я волнуясь — сливаются снова,
Соблюдая порядок и строй,
В драгоценное русское слово
Письмена у тебя под рукой.

Повернул на Рязань или Шую,
Унося замирающий гул,

Добрый дождик в линейку косую —
Он в тетрадку к тебе заглянул.

Дышит истиной русское Слово.
В нем — отрада дождя проливного.
Мы раскрыли букварь — и светлей
Даль великая наших полей.

Лариса Федорова

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕРЕВНЮ

Дай мне бог с тобою свидеться
В прежней точке на земле,
Не хочу я быть провидицей —
Будто ты уже нигде...

Смею думать, ты живая,
В укрупнение не влита,
Перспективно боевая
На ближайšie лета.

Смею думать, есть и стадо,
Пахнет воздух молоком,
Не живу я без загада
О житейском и простом,
— Ну,— скажу я,— здравствуй,
речка!
Здравствуй, в незабудках луг!
Остановка здесь конечная
Под названием «Жизни круг»...

Поле хлебное в сохране,
И картошке время цвести,
Одиночеством израненный,
Отчий дом в деревне есть...

Ветхие раскрою ставни,
Выну ржавые болты,
На большом столе поставлю
Очень яркие цветы.

Постою я на крылечке,
Что поблекло от дождей,
Как видна отсюда речка
И гуляние на ней!

Заметались по жилам
Вместе с кровью городской
Гены предков-старожилов,
Неразлучные со мной...

Город! Я твоя добыча,
Сервисов твоих раба,
Но меня сегодня кличет
Прежняя моя судьба.

Мне страшны от сел отливов
Поколений молодых,
Как же ты сохранна, нива,
Это же удар под дых?!

Мои путаные речи
Грустно слушал чистотел,
Обступил, оплел крылечко,
Без хозяев осмелел...

Шесть окон вбирают синее,
Ах, как много шесть окон! —
Для гераней, для глоксиний,
Для цветов всея России
Отчий приспособлен дом.

Владимир Трофименко

ТОСКА ПО ЧИСТОМУ ПОЛЮ

Всю ночь то ложился, то снова вставал,
и за сигаретой курил сигарету,
покуда не понял, что затосковал
по чистому полю,
по вольному ветру.

Однако тоскую судьбе не в попрек —
большая удача, завидная доля,
что было исхожено вдоль-поперек
то чистое поле, где вольному воля.

Где вольному воля, где все существо
пронизано сладкой светящейся грустью,
что ты — только миг, лишь кровинка того,
что вечно и что называется Русью.

Где вольному воля, и в силу того —
кем будете вы — выбираете сами:
«царем» ли Природы, забывшим родство,
душой ли восторженно чуткой во храме.

О Русь, предвкушать невозможно острей —
никто меня тут не собьет,
не обманет, —
что дух мой пребудет в лазури твоей,
а прах мой причиною ландышей станет.

Хочу, чтобы внук мой средь ночи вставал,
слонялся по дедовскому кабинету,
пока бы не понял, не затосковал
по чистому полю,
по вольному ветру.

Чтоб затосковал бы он именно так,
как я в эту ночь с отголосками бури,
по полюшку в одушевленных цветах,
по ветру в одухотворенной лазури.

Антонина Баева

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Пахнешь, как мама, парным молоком.
И каждый мне твой колосочек знаком,
И каждая тропка твоя и ручей,
А дни без тебя — все темнее почей...

Но я и в разлуке — тобою жила,
Поэтому жизнь мне мила и бела.

ЖАВОРОНОК

Он сроду над землей поет
И высоко летает.
Но песни — только про нее:
Других он и не знает.
Вспоила их сама земля,
А он их поднимает...
И, птахе трепетной внемля,
Ты лучше понимаешь,
Что и живя по городам,
Лишь одного хотела:
Вернуться в давние года,
Где первый раз запела
О пашне, о красе берез,
О ягодных полянах,
Где, отучив себя от слез,
Осталась Несмеяной...
Но хоть вокруг снега мели,
И жизнь прошла не в неге, —
Ты не свободна от земли,
Как жаворонок в небе.

* * *

Я в глубинах души
Родниковый колодец искала,
Чтоб хоть собственный зной
Приутишить да приутолить.
Пусть он будет вполсилы хотя б,
вполнакала,
Чтобы крылья растущие им не спалить.
И колодец мой оправдал ожидания:
●казался с проточной, с живою водой.
Зачерпну и поплюю —
перехватит от счастья дыханье.
Впору мериться с горем
Иль с самою лихой бедой...
Как колодец, я душу для мира открыла.
Люди добрые, все мое — вам и для вас!

Ничего, что слегка задымился
Мой левый подкрылок.
Пейте вдоволь.
Берите еще про запас.



Владимир Луговской

1901—1957

Самый могучий, если можно так выразиться, памятник Владимиру Луговскому — книга поэм «Середина века». Он работал над нею почти полтора десятилетия, последние пятнадцать лет своей яркой и щедрой жизни. Не об этой ли книге сказал Луговской еще в начале тридцатых годов:

Я дал себе большое обещанье.
Какое? Расскажу, когда исполню.
Для этого нужна вся жизнь,
А может быть, и смерть...

«Середина века» — биография времени и человека во времени. Человека конкретного, с именем, отчеством, фамилией, да гои рождения и прочими анкетными данными — Владимира Александровича Луговского. Но и Человека, стоящего лицом к лицу с Историей, Человека, равного своему Времени, Человека бессмертного.

О «Середине века», этом удивительном сплаве эпоса и лирики, написано немало умных и хороших слов. Книгу не может миновать никто из тех, кто любит и знает русскую советскую поэзию. Она прочно вошла в читательское сознание. Сам Владимир Луговской не дождался ее выхода в свет, но он держал корректуру книги, он довел ее почти до последней стадии издательской работы. «Середина века» — 25 поэм, от самой первой «Сказки о дедовой шубе» и до последней, двадцать пятой, — «Юность».

Перед читателями «Дня поэзии» еще одна поэма из «Середины века». И по-видимому, та, с которой началась непосредственная работа над созданием книги.

В октябре 1941 года тяжело заболевший Луговской эвакуируется из Москвы в Ташкент. Луговскому плохо: тревожные сводки с фронта, ощущение оторванности от всего привычного, близкого, родного, чувство внутренней растерянности и одиночества, связанное с болезнью. Казалось бы, все, чем он жил, что радовало и питало его щедрую душу, потеряно, ушло и не вернется.

Три дня сижу я на Алайском рынке...

Так начинается этот потрясающий рассказ, где увиденное перемежается с воспоминаниями о прожитом, с размышлениями о том, что было настоящим и ненастоящим в минувшей жизни. Как это нужно перетряхивать сейчас и грустить, и плакать, и скрипеть зубами от ненависти. И все-таки:

Какое счастье на Алайском рынке!..

Этот рефрен, казавшийся в момент написания поэмы самому автору иронично-трагическим, теперь приобретает совершенно другое значение. Луговской не мог знать, но каким-то шестым чувством большого художника, наверное, почувствовал, что придут и другие строки и другие поэмы, что вот отсюда, из этой самой тяжелой поры, из «черной дыры», как назовет он ее позднее, начинается новый взлет, начинается «Середина века», в предисловии к которой он скажет:

Я много видел.
Многого не видел.
Вокруг не понял и в себе не понял.
В душе не видел, на земле не видел.
И все ж пойми — вот исповедь моя.

«Предисловие» будет написано позднее, в середине пятидесятых, а пока пишется другое предисловие: «Какое счастье на Алайском рынке!..»

Луговской не включил «Алайский рынок» в основной корпус «Середины века». Но теперь, когда мы воспринимаем эту поэму в контексте других, составляющих замечательную книгу, наряду с «Белькомбом», «Баку! Баку», «Городом снов», «Юность», она по праву приходит к читателю.

Приходит как безжалостно-откровенная исповедь большого художника в самый драматический момент его жизни.

Вал. Елагин

АЛАЙСКИЙ РЫНОК

Три дня сижу я на Алайском рынке,
На каменной приступочке у двери
В какую-то холодную артель.
Мне, собственно, здесь ничего не нужно,
Мне это место так же ненавистно,
Как всякое другое место в мире,
И даже есть хорошая приятность
От голосов и выкриков базарных,
От беготни и толкотни унылой...
Здесь столько горя, что оно ничтожно,
Здесь столько масла, что оно всеильно.
Молочнолицый, толстобрюхий мальчик
Спокойно умирает на виду.
Идут верблюды с тощими горбами,
Стрекочут белорусские еврейки,
Узбеки разговаривают тихо.
О сонный разворот ташкентских дней,
Эвакуация, поляки в желтых бусах,
Ночной приезд военных академий,
Трагические сводки по утрам,
Плеск арыков и тополиный лепет,
Тепло, тепло, усталое тепло...
Я пьян с утра, а может быть, и раньше.
Пошли дожди, и очень равнодушно
Сырая глина со стены сползает.
Во мне, как танцовщица, пляшет злоба,
То ручкою взмахнет, то дрыгнет ножкой,
То улыбнется темному портрету
В широких дырах удивленных ртов.
В балетной юбочке она светло порхает,
А скрипочки под палочкой поют.
Какое счастье на Алайском рынке!
Сидишь, сидишь и смотришь ненасытно
На горемычные пустые лица
С тяжелой ненавистью и тревогой,
На сумочки московских маникюров.
Отребье это всем теперь известно,
Но с первозданной юной, свежей силой
Оно входило в сердце, как истомы.
Подайте, ради бога. Я сижу
На маленьких ступеньках. Понемногу
Рождается холодный, хищный привкус
Циничной этой дребедени. Я
Как флюгерок вращаюсь. Я канючу,
Я радуюсь, печалюсь, возвращаюсь
К старинным темам лжи и подхалимства
И поднимаюсь, как орел тянь-шаньский,
В большие области снегов и ледников,
Откуда есть одно движение вниз,
На юг, на Индию, через Памир.
Вот я сижу, слюнявлю черный палец,
Поигрываю пуговицей черной,
Так, никчемушник, вроде отщепенца.
А над Алайским мартовским базаром
Царит холодный, золотой простор.
Сижу на камне, мерно отгибаюсь.

Холодное, пустое красноречье
Во мне еще играет, как бывало.
Тоскливый полдень. Кубометры свеклы,
Коричневые голые лодыжки
И запах перца, сна и нечистот.
Мне тоже спать бы, сон увидеть крепкий,
Вторую жизнь и третью жизнь,— и после,
Над шорохом морковок остроносых,
Над непонятной круглой песней лука
Сказать о том, что я хочу покоя,—
Лишь отдыха, лишь маленького счастья
Сидеть, откинувшись, лишь нетерпенья
Скорей покончить с этими рябыми
Дневными спекулянтами. А ночью
Поднимутся ночные спекулянты,
И так опять все сызнова пойдет,—
Прыщавый мир кустарного соседа
Со всеми примусами, с поволокой
Очей жены и пяточками деток,
Которые играют тут, вот тут,
На каменных ступеньках возле дома.
Здесь я сижу. Здесь царство проходимца.
Три дня я пил и пировал в шашлычных,
И лейтенанты, глядя на червивый
Изгиб бровей, на орден — «Знак Почета»,
На желтый галстук, светлый дар Парижа,—
Мне подавали кружки с темным зельем,
Шумели, надрываясь, тосковали
И вспоминали: неужели он
Когда-то выступал в армейских клубах,
В ночных ДК — какой, однако, случай!
По русскому обычаю большому,
Пропойце нужно дать слепую кружку
И поддержать за локоть — «Помню вас...».
Я тоже помнил вас, я поднимался,
Как дым от трубки, на широкой сцене,
Махал руками, поводил плечами,
Заигрывал с передним темным рядом,
Где изредка просвечивали зубы
Хорошеньких девиц широконоздрых.
Как говорил я! Как я говорил!
Кокетничая, подавая басом,
Разметывая брови, разводя
Холодные от нетерпенья руки,
Поскольку мне хотелось лишь покоя,
Поскольку я хотел сухой кровати,
Но жар и молодость летели из партера,
И я качался, вился, как дымок,
Как медленный дымок усталой трубки.

Подайте, ради бога. Я сижу,
Поигрывая бровью величавой,
И если правду вам сказать, друзья,
Мне, как бывало, ничего не надо.
Мне дали зренье,— очень благодарен.
Мне дали слух,— и это очень важно.
Мне дали руки, ноги,— ну, спасибо.
Какое счастье! Рынок и простор,
Вздымаются литые груды мяса,

Лежит чеснок, как рыжие сердечки.
 Весь этот гомон жестяной и жаркий
 Ко мне приносит только пустоту.
 Но каждое движение и оклик,
 Но каждое качанье черных бедер
 В тугой вискозе и чулках колючих
 Во мне рождает злое нетерпенье
 Последней ловли. Я хочу сожрать
 Все, что лежит на плоскости. Я слышу
 Движенье животов. Я говорю
 На языке жиров и сухожилий.
 Такого униженья не видали
 Ни люди, ни зверюги. Я один
 Еще играю на крапленых картах.
 И вот подошвы отстают, темнеют
 Углы воротничков, и никого,
 Кто мог бы поддержать меня, и ночи
 Совсем пустые на Алайском рынке.
 А мне заснуть, а мне кусочек сна,
 А мне бы справедливость, — и довольно.
 Но нету справедливости. Слепой —
 Протягиваю в ночь сухие руки
 И верю только в будущее. Ночью
 Все будет изменяться. Поутру
 Все будет становиться. Гроб дощатый
 Пойдет, как яхта, на Алайском рынке,
 Поигрывая пятками в носочках,
 Поскрипывая костью лучевой.
 Так ненавидеть, как пришлось поэту,
 Я не советую читателям прискорбным.
 Что мне сказать? Я только холод века,
 А ложь — мое седое острие.
 Подайте, ради бога. И над миром
 Опять восходит нищий и прохожий,
 Касаясь лбом бензиновых колонок,
 Дредноуты пуская по морям,
 Все разрушая, поднимая в воздух,
 От человеческой мощи заикаясь.
 Но есть на свете, на Алайском рынке
 Одна приступочка, одна ступенька,
 Где я сижу, и от нее по свету
 На целый мир расходятся лучи.
 Подайте, ради бога, ради правды,
 Хоть правда, где она?.. А бог в пеленках.
 Подайте, ради бога, ради правды,
 Пока ступеньки не сожмут меня.
 Я наслаждаюсь горьким духом жира,
 Я упиваюсь запахом моркови,
 Я удивляюсь дряни кишмишовой.
 А удивленье — вот цена вдвойне.
 Ну, насладись, остановись, помедли
 На каменных обточенных ступеньках,
 Среди мангалов и детей ревущих,
 По-своему, по царски насладись!
 Друзья ходили? — Да, друзья ходили.
 Девчонки пели? — Да, девчонки пели.
 Коньяк кололся? — Да, коньяк кололся.
 Сижу холодный на Алайском рынке
 И меры поднадзорности не знаю.

И очень точно, очень непотыдно
 Восходит в небе первая звезда.
 Моя надежда — только в отрицанье.
 Как завтра я унижусь — непонятно.
 Остыли и обветрились ступеньки
 Ночного дома на Алайском рынке,
 Замолкли дети, не поет капуста,
 Хвостатые мелькают огоньки.
 Вечерняя звезда стоит над миром,
 Вечерний поднимается дымок.
 Зачем еще плутать и хныкать ночью,
 Зачем искать любви и благодушья,
 Зачем искать порядочности в небе,
 Где тот же строгий распорядок звезд?
 Пошевелить губами очень трудно,
 Хоть для того, чтобы послать, как должно,
 К такой-то матери все мирозданье
 И синие киоски по углам.
 Какое счастье на Алайском рынке,
 Когда шумят и плещут тополя!
 Чужая жизнь, — она всегда счастлива,
 Чужая смерть, — она всегда случайность.
 А мне бы только в кепке отсыревшей
 Качаться, прислонившись у стены.
 Хозяйка варит вермишель в кастрюле,
 Хозяин наливается зубровкой,
 А деточки ложатся по углам.
 Идти домой? Не знаю вовсе дома...
 Оделись грязью башмаки сырые.
 Во мне, как балерина, пляшет злоба,
 Поводит ручкой, кружит пируэты.
 Холодными, бесстыдными глазами
 Смотрю на все, подтягивая пояс.
 Эх, сосчитаться бы со всеми вами!..
 Да силы нет и нетерпенья нет,
 Лишь остаются сжатыми колени,
 Поджатый рот, закушенные губы,
 Зияющие зубы, на которых,
 Как сон, лежит вечерняя звезда.
 Я видел гордости уже немало,
 Я самолюбием, как черт, кичился,
 Падения боялся, рвал постромки,
 Разбрасывал и предавал друзей,
 И вдруг пришло спокойствие ночное,
 Как в детстве, на болоте ярославском,
 Когда кувшинки желтые кружились
 И ведьмы стыли от ночной росы.
 И ничего мне, собственно, не надо,
 Лишь видеть, видеть, видеть, видеть,
 И слышать, слышать, слышать, слышать,
 слышать,

И сознавать, что даст по шее дворник
 И подмигнет вечерняя звезда.
 Опять приходит легкая свобода.
 Горят коптилки в чужестранных окнах.
 И если есть на свете справедливость,
 То эта справедливость — только я.

1942—1943
 Ташкент

Публикация
 Ел. Быковой и М. Ногтевой

Геннадий Русаков

ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТЬ»

...Погоди, наавтра будет отдых.
Это время гонит впопыхах
на тамбовских сахарных заводах,
на хоперских яростных пляхах.

Ходит ветер по молочным рекам.
Смолит жизнь из детского чепца.
Я умру счастливым человеком,
ничего не сделав до конца:

не докличу, дома не дострою.
А не жалко — выдано сполна.
Как меня качала под горою,
как жалела бедная страна!

Ах, шептала, пела-говорила...
Затоскую — мякиш нажует.
Гольши-окатыши дарила...
Обернусь — да вот она, поет.

Мне ничьим уже не зваться сыном
и забытых братьев не искать.
...Где ты там за облаком гусиным?
Ты кого покачиваешь, мать?

БАБУШКА

Мало зренья и жизни не хватит,
чтобы помнить не сор и труху —
только зиму на старенькой вате,
на заношенном рыбьем меху.

Сер мой день оскудения духа.
Никуда мне печали не деть.
Погоди, снеговоя, старуха!
Дай-ка мне на тебя поглядеть.

На кого-то ты больно похожа
поворотом сухой головы...
Да не ты ли латала одежду,
затирала чернилами швы,

ресторанные корки мочила,
по копейке на книжку несла,
по псалтыри внучонка учила,
двадцать лет в уплотненках жила?

Я закрою глаза, я не видел.
Я тебя позабыл навсегда.
Неужели в посмертной обиде
ты опять отприсилась сюда?

* * *

Структура ветра зрима и проста:
во весь раскрой продольного разреза —
накат пространства, воздух в два листа,
да станиоль — ничемное железо.

У, как летят косые дерева!
И там, у лип, у ветхого заслона,
свои столетья празднует вдова —
чужая тень, жена Багратиона.

А на Оке столбом стоит вода,
от рыбьих перьев сыплется сиянье.
Но запах не докатится сюда —
у нас кругом такие расстоянья!

У нас такая долгая страна,
такие стьши и такие стужки,
такие ветры ходят дотемна,
смыкают круг все родственней, все уже!

У нас такое время кличет птиц
и так сады обуглены тоскою,
что не узнать моих любимых лиц
в толпе грачей, спешащих над рекою.

Анатолий Поперечный

ЗА ГОРАМИ, ЗА ДОЛАМИ...

Сине море колыхливо,
бела рыбаца пуглива...

*Из русской
народной песни*

За горами, за долами
Сине море, зелен край.
За делами, за долгами
Позабыл я птичий грай.

Позабыл, как пахнет мята
Предвечернею порой,
Как в луга садится мягко
Стрепет трепетный, степной;

Как за старой голубятней,
От зарницы в трех шагах,
Двое падают в объятьях,
Забывая первый страх...

За горами, за долами
То поминки, то пиры,
За хмельными за столами
Девки дьявольски хитры.

Я когда-то был там в первых,
Чем, я думал, не жених,
Распушив петушьи перья,
Шил во здравье молодых.

До зари горлана «горько»,
Целовал в уста зарю...
Обкатали сивку горки,
Горько, горько говорю...

Только все ж порой ночами,
Чуя вешний водограй,
Я шепчу:
Там, за горами,
Сине море, зелен край.

Сине море колыхливо.
Жизнь, как диво, за спиной.
Бела рыбица пуглива,
Как пуглива, боже мой!..

Юрий Паркаев

* * *

Глебу Горбовскому

Скрипнула дверь —
словно вскрикнуло что-то.
Вышли. Уселись.
— Поехали, сват!..
И тишина затворила ворота —
как обрубилa дорогу назад.

Ехали мимо знакомого луга,
мимо пруда и ветлы над прудом...
Продали дом —
словно предали друга,
чтоб никогда и не вспомнить о нем.

Ну, а покуда, чихая от пыли,
старший шутил:
— Новоселы, держись!
Мы второпях ничего не забыли?
— Нет, ничего не забыли, кажись!

Вот промелькнули березы погоста,
где горевала могилка одна...
Продали дом.
Это было непросто:
старому дому — какая цена?!

Долго текла обоюдная смута —
Целую зиму.
Насилу сошлись...
— Так ничего не забыли в дому-то?
— Нет, ничего не забыли, кажись...

Только потом, на реке, на пароме —
он побледнел и заплакал, чужак:
что-то забыл он в отеческом доме,
что-то забыл...
И не вспомнит никак...

Евгений Рейн

СОРОК ПЯТЫЙ

На мне пальто из пестренького твидика —
хорошее, германское пальто.
Глобальная, имперская политика
четыре года думала про то,
как мне урон недавний компенсировать.
Про то решали Рузвельт и Черчилль.
Как одарить меня, сиротку сирого,
проект им наш Верховный начертил.
Четыре года бились танки вермахта,
люфтваффе разгорались в облаках,
правительств по одной Европе свергнуто
поболее, чем пальцев на руках.
Тонул конвой на севере Атлантики,
и лис пустыни¹ заметал следы,
стратеги прозорливые и тактики
устраивали канны и котлы.
Но главное, но главное, но главное —
я был красноармейцами прикрыт.
И вот стою, на мне пальтишко справное,
уже полгода я одет и сыт.
Стою я в переулке Колокольниковом,
смотался я с уроков, и смеюсь,
и говорю с румяным подполковником
и он мне дарит пряжку «Gott mit uns»².
Убит отец, я видел льды блокадные,
едва не потерял сестру и мать,
но главное, но главное, но главное —
тогда-то я и начал понимать...

ПАМЯТИ ВИТЕБСКОГО КАНАЛА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь был канал. Последний раз я видел
лет шесть назад, смешавшийся с рекой,
зловонный, липкий, словно отравитель,
циан расположивший под рукой.

В послевоенных сумерках мелькая,
его волна катила времена,
и мелкая, но в сущности рябая,
она в Фонтанку падала до дна.

Она была настолько тяжелее
чужой воды, и верно, был резон
зарыть канал; но я его жалею,
и для меня не высыхает он.

¹ Л и с п у с т ы н и — так называли фельдмаршала Роммеля.

² Надпись на пряжках немецких солдат «С вами бог».

Сюда от Царскосельского вокзала
я приходил; мне помнится вокзал,
я пропускал трамвай, как раззява,
канала никогда не пропускал.

Над ним электростанция дымила,
Морская академия жила,
и все, что было мило и не мило,
его волна навеки унесла.

Года и дни, когда мы победили,
и сумерки, когда молчали мы,
прожектора, которые светили
в блокадной тьме среди глухой зимы.

В ночных бушлатах, бутсах и обмотках
курсанты погружались в катера,
и карабины брякали на скобках
на этих сходнях в пять часов утра.

Я это видел сам и не забуду,
меня война сгубила и спасла.
Она со мной, и мой канал — покуда
я жив еще, до смертного числа.

Закопан, утрамбован по уставу,
и все-таки на свете одному
дай мне воды запить мою отраву,
канал, как Стикс, впадающий во тьму.

Юрий Беличенко

ВАРНАВИНСКИЙ ЛЕС

За дамбой молодой — рыбацкие пиры.
Как в глечике парном — вода в конце апреля.
Там берест и ольха с оческами коры
напоминают флот, посаженный на мели.

Там строгий рыбнадзор карает и корит
лукавых рыбаков, ловителей тарани.
И тонет старый лес. И волнами накрыт
кривой казачий шлях, ведущий до Тамани.
Деревьям не понять, когда они в реке:
не то они — плоты, не то они — растения.
Как трудно говорить на рыбьем языке,
кто птичьим языком владеет от рожденья!

Как трудно услышать в предутреннюю рань,
что, покидая нас, изогнутой долиной
казацкие возы уходят на Тамань
по хляби грунтовой, сквозь табор тополиный...

Когда канву времен кислотами разъест,
когда отцовских стен не встретит глаз сыно-
вий, —
быть может, мы поймем, что перемена мест
опасней и больней переливанья крови.

Что только эта кровь, да памяти запас,
да запертый в словарь живой терновник речи
пока еще мостом соединяют в нас
сыновнюю игру и прадедову сечу.

* * *

Проветривая недра
для плуга и зерна,
как долго дули ветры,
когда прошла война!

От дыма и металла,
как будто на века,
природа подметала
поля и облака.

И на ветру не летнем
среди пустых степей
всей школой семилетней
мы помогали ей.

Веселые, худые,
одетые взаимы.
Такие молодые,
как будто и не мы.

...О этот ветер синий,
воздушные ручьи,
и черепа в полыни,
которые ничьи,

и лошадь в сизом мыле,
с репьями на хвосте...—
Не вы ли нас, не вы ли
учили доброте?!

О этот бессловесный,
неубранный, ничей
наш урожай железный
для огненных печей,

войной и непогодой
окрашенный в морковь...—
Не ты ли вместе с потом
просачивался в кровь?!

И проволоки ржавой
колючие мотки...—
Не ты ли нам, Держава,
сцепляла позвонки?!

Сомкнувшиеся звенья:
судьба. Огонь. Вода.
Бессмертные мгновенья
и смертные года...

* * *

Уже искупалось лето в горячей росе кипрея.
На поймы и на поляны приходит пора сенная.
И бродит в стволах живица. И время течет быстрее.
И бродит в зеленых дудках какая-то смесь иная.

И ты по дорогам бродишь, как будто от дел лытая,
как будто с четверткой хлеба — в записке четвертка века.
Как будто вода во фляге и впрямь у тебя живая.
Как будто сложил колодец иль вырастил человека.

А травы стучат по ветру — семечки высевают.
А мастер стучит по камню — доченьку вызывает.
И в окнах церквей старинных, выдавших разор и сечи,
с утра зажигает донник свои высокие свэчи.

Но сколько проходит сердца, покамест оно почует,
в каком безымянном камне девочка заночует?!
Но сколько воды по рекам и сколько ветров промчится,
пока безымянный мастер к доченьке достучится?!

И ты, рука моя, тоже — не облако пеленаешь.
И ты, мое сердце, тоже от совести не таишься.
Но выйдет к дороге кривда — а ты и не распознаешь.
Но выйдет к дороге правда — а ты ее убоишься...

Владимир Британишский

НЕЗРИМАЯ МОСКВА

Но кроме той Москвы, в которой я живу,
обычной, будничной, заправдашней, всегдашней,
иную вижу я, незримую Москву —
с дворцом Гагариных и Сухаревой башней.

Сгоревший, рухнувший, несбывшийся фантом
вдруг явится очам, отчетливо до рези.
Другие видят ГУМ, а я — Наркомтяжпром:
конструкцию-фантазм советских Пиранези.

Баженовский дворец мне видится в Кремле,
на Ленинских горах — прозрачный шар стеклянный:
шар Леонидова, привязанный к земле,
чтоб в космос не взлетел, как астероид странный.

А там, где против нас восьмиэтажный дом,
другой мне видится: кирпичный, трехэтажный,
лет семь тому назад разломанный с трудом
(аж охала земля: удар — и стон протяжный...).

Кирпич и дерево, железо и стекло,
хибарки ветхие и здания-гиганты —
всего, что было здесь, всего, что быть могло,
в пространстве мысленном теснятся варианты.

Евгений Лебедев

РАЗГОВОР О НОЧНОЙ МОСКВЕ

«Кто не любит родного народа,
Для того человеческий род —
Наподобье безликого сброда.
Что ж любить его, если он сброд?
Этой истины не раскумекав,
Не наладим мы братство племен,—
Так сказал мне Хамзат Батырбеков,
С грустью глядя в ночной небосклон.—
Полюбил я любовью безмерной
Край лугов, и берез, и осин.
Ты не веришь? Так вспомни, неверный,
Что писал о России Кайсын!
Вспомни, вспомни стихи Муталипа
И глаза голубые его.
Либо я доказал тебе, либо
Я тебе не сказал ничего!»

Бей в беспамятство мрака ночного,
За собой на Кавказ позови
И омой меня, русское слово,
В чистой речке балкарской любви!..

А Хамзат говорил и не слушал,
И напиток, пьянее вина,
Искушал его юную душу
Утолением, ибо она
В жажде подвига изнемогала
И, сгорая на чистом огне,
Все пространство собой заполняла
И, заполнив, запела во мне.

И опомнился мир, и как будто
Улыбнулся сквозь сон бытия,
И как будто забрезжило утро:
Боже мой! Да ведь это же я!
Это я, бескорыстно-запальчив,
Это я, от любви сам не свой,
Всею душою приветствую Нальчик,
Погибая в разлуке с Москвой!

Мы рассвет незнакомый встречали,
И всходило в редющей мгле
Необъятное чувство печали
О блуждающей где-то Земле...

* * *

1

Вернуться к обеду божился.
Приехал под утро, к шести.
Но каяться вслух не решился —
я только подумал: прости.

Взглянула и вновь опустила
глаза — и в глухой тишине
я понял, что снова простила.
Но легче не сделалось мне.

2

В кругу одержимых собратий
лицо ее скрылось из глаз.
Орудьем священных понятий
считал себя каждый из нас.

Не раз пробегала по коже
восторга отрадная дрожь.
Мне страшно сейчас: как похоже
прикинулась правдою ложь!..

Шумели о русской культуре,
о том, что она нам дала,—
о нашей гуманной натуре.
А мать в это время ждала.

В гармонии слова и дела
провидели смысл ремесла.
Душа утоленная пела.
А мать в это время ждала.

Грустили о женщинах русских,
чья доля трудна, но — светла.
И молча за них, без закуски...
А мать в это время ждала.

Потом, роковому недугу
подвержены, как петухи,—
не слыша, не видя друг друга,
хрипели друг другу стихи,

с надрывом о дружбе кричали
и верили пьяным слезам
и — капули... в бездну печали,
открытую этим глазам...

3

Довольно! Бежать без оглядки!
Прочь! Не обращая лица!
Есть мать. Остальное — догадки,
которым не будет конца.

И если трепещут осины
и люди придумали ад,
виной — этот невыносимый,
спокойный и любящий взгляд.

Душа невозможного хочет
и рвется к основе основ
из этих взволнованных очень
и все же рифмованных слов.

Лев Смирнов

ГРЕЧИШНЫЙ МЕД

Гречишным медом пахнут зори
На сто тринадцатой версте
В ботфортах черных и в камзоле
Гуляет грач по борозде.

Гуляет грач, играет веткой
И перья чистит возле сот.
Гречишным медом пахнет ветхий,
В огромном брыле, пчеловод.

Гуляет грач, на пчеловода
Глядит, молчание храпя,
И золотое время года
Стоит, как вечность, у плетня.

Гречишным медом, медуницей
Плывет над степью дня ковчег.
Медовой нитью с дикой птицей
Незримо связан человек.

Гуляет грач и еле слышным
Дыханьем здравствует в миру,
И старец в облаке гречишном
Спокойно думает: «Умру...»

Дай бог, дай бог... Гуляет птица,
И пролит мед среди степей,
И пахнет, пахнет медуница,
Чем ближе к смерти, тем сильнее.

ТЯЖЕЛАЯ ВОДА

Обрывается летопись на полуслове...
Над жильем из трубы поднимается дым.
На страницы в сафьяновой чистой обнове
Сколько злой и горячей потрачено крови
По полям, по лесам, по оврагам глухим!

Колоколенку — черти ее раскачали! —
Так и тянет в весеннюю воду упасть.
Вновь очнулась земля ото льда и печали,
И, как будто во время потопа, грачами
Помыкает в пространстве бездомная страсть.

Ничего не запомнили скромные избы,
И поля, и проселки, и реки отчизны,
Лишь сердца бесконечная даль холодит.
По-иконному строго, но без укоризны
Со стены изначальница рода глядит.

Горизонты смыкаются в купол небесный,
В голубую воронку прекрасной весны, —
И уходят в нее, словно смерч бесполезный,
Крик тоски неизбывной, и ропот безвестный,
И земная погибель, и мертвые сны.

По земле проползающий лемех упорный
Вдоль борозд черноземных кладет черепа.
Стонет память людская чуть слышной

валторной

По несбывшейся проповеди Нагорной, —
И ворона кричит, и вздыхает судьба.

На земле, как в раю, и вольготно и чисто,
Половодье трубит по зацветшим кустам,
И в рубашке, раскрашенной кистью

кубиста,

Поспешает с махоткой сынок тракториста
По кипящим грачами тяжелым пластикам.

Яков Аким

* * *

Задуманной книги о детстве
Утраченные наброски —
Вот они, в старой папке,
Меня, прежнего, отголоски.

Ну-ка перелистаю
Записанное быстро и жадно
Про пыльный маленький город,
Про лошадей пожарных
С античными именами,
Про скрипучие тротуары,
Где под досками прятал монеты,
Про резкий запах рогожный,
Про чердак и старинную шпагу...
О господи, как ничтожно
Все, что заносил на бумагу!

Лучше буду писать про внучку.
Только-только успела родиться,
Возлежит она в белых пеленках,
Смотрит, не наглядится,
Как пришелец с другой планеты.
Ничего-то она не знает —
Где поэты, а где монеты.

Вот к чему мне мама приснилась,
Маленькая, как эта кроха.
Сны разгадывать не умею,
Хорошо это или плохо,
Не скажу. Но только запомнил,

Как держал на руках свою маму,
Прижимал, спину теплую гладил,
Говорил ей: «Мамочка, мама,
Не умирай, бога ради!»

На мосту, над волнами Леты,
Между царствами тьмы и света
Как с младенцем она не столкнулась?
Двумя месяцами разминулась...

Анатолий Брагин

* * *

Я занят, я тоскую,
О чем — не знаю сам:
По морю, по песку ли,
По светлым небесам?

Меня не манит море,
Не радуют пески,
И не людское горе
Предмет моей тоски.

Знать, в лучшей части света,
В родимой стороне
Тоскует мать, и это
Передается мне.

Владимир Савельев

ОЧЕРЕДЬ ЗА ХЛЕБОМ

В году сорок голодном и свирепом,
отбрасывая зубчатую тень,
стояла с ночи очередь за хлебом
длиною в наш сельмаговский плетень.
Длиною в чье-то детство, в чью-то старость
и в чью-то сплошь изломанную жизнь.
Сухие бабки — что таким усталость! —
сутулились, на палки опершись.
Деды, еще могучие по виду,
с угрюминкою озирали строй,
где, желваки катая, инвалиды
страдали попережку с детворой.
Вчера сосед наш с голодухи помер.
А перед тем, слюнявя карандаш,
он вывел на моей ладони номер
и прохрипел измученно: «Шабаш...»
А может быть: «Отдашь...» смог я,
но свято место захватил чуть свет,
где углядел из-под чьего-то локтя
Мою любовь в ее двенадцать лет.
Моя любовь переплетала косы,
откашливаясь с кровью в колею.
А в синем небе наши бомбовозы
несли на запад ненависть мою.
И, незнаком с отцовской нахлобучкой,
я, сняв трофей с убитого врага,
гранату с длинной деревянной ручкой
таил за голенищем сапога.
Таил. Но от прилавка и до неба,
от нас в тылу и до передовой,
уже гулял — как главный — запах хлеба:
духмяный, опьяняющий, живой.
Неистребимый. Жаркий. Светоносный.
В краю, где исстрадались стар и мал,

он рвал сердца и щекотал нам ноздри,
но жажду мести как бы притишал.
Он звал, людское в людях растревожа,
не просто злом воздать чужому злу...
А тень от нас, людей, была похожа
на страшную двуручную пилу.
Рывок ее — и на полшага честно
сдвигались мы вперед по одному.
Нет, в той великой очереди место
теперь не уступлю я никому.

Рузvim Моран

ПАМЯТЬ

Забывается все на свете,
И слеза, подобно росе
Высыхающая на рассвете,
И лежанье ничком в кювете
Под бомбежку на шоссе.

Не хранится в памяти смутной
И добро, что, как дар судьбе,
То ли ты оказал кому-то,
То ли кто-то воздал тебе.

Все забвенно, темно, туманно...
Но душа твоя, как ни странно,
Помнит глухо и тяжело
Не тебе нанесшее рану,
А тобой причиненное зло.

СВИДАНИЕ

Вновь, через полстолетья,
Вхожу в завод, как в дом,
И в беспощадном свете
Себя я вижу в нем.

Вхожу я в мой чугуно-
литейный старый цех,
Где я легко и юно
Мешал восторг и грех.

Постой, поговори же
С собой, как на духу,
Перед вагранкой рыжей,
Зажившейся в цеху.

Попробуй, трезвой мерой
Минувшее измерь:
Что было в нем химерой,
Что истинною верой
И почему теперь
Как будто даже слаще
Все тот же синь-дымок,
Все тот же чад, летящий
От залитых опок...

Валентин Берестов

ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА

Над Карповкой дождик накрапывал,
Прохожих слегка поторапливал.
А мы не спешим. Мы — приезжие
На питерском том побережьи.
За стеклами лира злаченная,
Из лучшей муки испеченная,
В таком же классическом штиле,
Как львы, колоннады и шпили.
А в булочной — дух каравая.
А в детстве — война мировая.
Так пой же о сладости мира,
Волшебная, хлебная лира!

Татьяна Сырыщева

ОВРАГ

Как бы ни топил бы печь Ярло,
тут всегда прохладный полумрак.
Таял снег, вода веками рыла
этот полный ландышей овраг.

Он в лесу березовом запрятан,
весь испятнан зеленью листвы,
словно змей огромный отпечатан
от хвоста до устья-головы.

О кривые корни спотыкаясь,
глянцевых тревожа лягушат,
я на дно журчащее спускаюсь
навестить знакомый водонад

Справа от него растет береза
Ствол ее лиловый наклонен
в сторону соседнего лесхоза,
где рассыпан жаворонков звон.

Тропка на простор выходит круто.
Мир совсем другой — рукой подать.
Я туда пойду через минуту,
хоть и жаль овраг мне покидать.

Он лежит в своей змеиной позе,
в жаркий полдень жадно ждет грозы,
всматриваясь в дятла на березе,
в острова далекой бирюзы.

Древнее и очень молодое,
может быть, само бессмертье в нем.
Он Москву-реку поит водою,
растворившей молнии и гром.

Леонид Панин

ЗОДЧЕСТВО

Есть в зодчестве прекрасные черты.
Они неизгладимы, как морщины
Задумчивой, суровой простоты,
Которой отличаются мужчины,
Достигшие вершины мастерства,
Познавшие и жизнь и мирозданье,
В материю простого вещества
Вдохнувшие черты очарованья...
И думаешь: а что ты сделал сам?
И где та грань разумного предела,
Которая тянулась к небесам
И на земле остаться не хотела?

Александр Городницкий

* * *

А в Донском монастыре
Зимнее убранство.
Спит в Донском монастыре
Русское дворянство.
Взяв метели под уздцы,
За стеной, как близнецы,
Встали новостройки.
Снятся графам их дворцы,
А графиням — бубенцы
Забубенной тройки.

А в Донском монастыре
Время птичьих странствий.
Спит в Донском монастыре
Русское дворянство,
Дремлют, шуму вопреки,
И близки и далеки
От грачиных криков,
Камергеры-старики,
Кавалеры-моряки
И поэт Языков.

Ах, усопший век баллад,
Век гусарской чести!
Дамы пиковые спят
С Германнами вместе.
Под бессонною Москвой,
Под зеленою травой,
Спит и нас не судит
Век, что век закончил свой
Без войны без мировой,
Без вселенских сует.

Листопад в монастыре,
Вот и осень, здравствуй.

Спит в Донском монастыре
Русское дворянство.
Век двадцатый на дворе,
Теплый дождик в сентябре,
Лист летит в пространство...

Булат Окуджава

НАДПИСЬ НА КАМНЕ

Пускай моя любовь как мир стара,—
лишь ей одной служил и доверялся
я — дворянин с арбатского двора,
своим двором введенный во дворянство.

За праведность и преданность двору
пожалован я кровью голубую.
Когда его не станет — я умру,
пока он есть — я властен над судьбою.

Молва за гробом чище серебра
и вслед звучит музыкою прекрасной...
Но не спеша, фортуна, будь добра,
не выпускай моей руки несчастной.

Не плачь, Мария, радуйся, живи,
по-прежнему встречай гостей у входа...
Арбатство, растворенное в крови,
неистребимо, как сама природа.

Когда кирка, бульдозер и топор
сподобятся к Арбату подобраться
и правнуки забудут слово «двор» —
согрей нас всех и собери, арбатство.

Я ПИШУ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

В склянке темного стекла
из-под импортного пива
роза красная цвела
гордо и неторопливо.
Исторический роман
сочинял я понемногу,
пробиваясь как в туман
от пролога к эпилогу.

Были дали голубы,
было вымысла в избытке,
и из собственной судьбы
я выдергивал по нитке.
В путь героев снаряжал,
наводил о прошлом справки

и поручиком в отставке
сам себя воображал.

Вымысел — не есть обман.
Замысел — еще не точка.
Дайте дописать роман
до последнего листочка.
И пока еще жива
роза красная в бутылке,
дайте выкрикнуть слова,
что давно лежат в копилке:

каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить...
Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить.

* * *

По прихоти судьбы — разносчицы даров —
в прекрасный день мне откровенья были.
Я написал роман «Прогулки фрайеров»,
и фрайера меня благодарили.

Они сидят в кружок, как пред огнем святым,
забытое людьми и богом племя,
каких-то горьких дум их овеает дым,
и приговор нашептывает время.

Они сидят в кружок под низким потолком.
Освистаны их речи и манеры.
Но вечные стихи затвержены тайком,
и сундучок сколочен из фанеры.

Наверно, есть резон в исписанных листах,
в затверженных местах и в горстке пепла...
О, как сидят они с улыбкой на устах,
прислушиваясь к выкрикам из пекла!

Пока не замело следы на их крыльце
и ложь не посмеялась над судьбою,
я написал роман о них, но в их лице
о нас: ведь все, мой друг, о нас с тобою.

Когда в прекрасный день Разносчица даров
вошла в мой тесный двор, бродя дворами,
я мог бы написать, себя переборю,
«Прогулки маляров», «Прогулки поваров»...
Но по пути мне вышло с фрайерами.

О ВОЛОДЕ ВЫСОЦКОМ

Марине Владимировне Поляковой

О Володе Высоцком я песню придумать решил:
вот еще одному не вернуться домой из похода.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил...
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.

Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом
отправляться и нам по следам по его по горячим.
Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон,
ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.

О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
но дрожала рука и мотив со стихом не сходился...
Белый аист московский на белое небо взлетел,
черный аист московский на черную землю спустился.

Владимир Жилин
(Краснодар)



СИНЕВА

Защитил он грудью своей
синеву небес и морей,
синеву материнских глаз
и вечерний тот,

синий час,
когда вспыхивают светляки.
Но ни капли крови голубой
не имел —

просто алой истек.
Почему ж над могилой — гурьбой
васильки, васильки, васильки,
будто небо у ног растет?
Это памятники у реки!
Синева спасена, жива —
и воздвигла ему

васильки
благодарная синева.

ВЕЛОГОНЩИКИ

Нажимая на педали,
смяли даль.
Чтобы дали пропадали —
эх, наддай!

Так, наверно, свищет время
с ветром в лад.
Пусть летят на нас деревья
и асфальт.

И с разгона вырастая
из зари,
обогнем мы добрый старый
шар Земли.

Мы сумеем, ты увидишь,
добрый шар!
Лишь бы финиш,
лишь бы финиш
не мешал.

ОРЕХОВОЕ ДЕРЕВО

Раскидистое,
разлапистое
ореховое дерево,
для лазания удобное,
росло у нас во дворе,
богатое переплетениями,
причудливыми ответвлениями,
излюбленными местечками
и знаками на коре.
Застенчивый грешник,
сказочник,
клейменный кличкой Лунатика,
всю правду в листе я сказывал,
но с вымыслом пополам.
И слушало, слушало дерево:
о как пацаны внимательны!
И девочки зачарованные
рассыпаны по ветвям.
Босота, дубленая улицей,
зерно воровала на мельнице,
а после, бывало, за полночь
их крепко держал мой бред.

А голые ножки девочек
лишали меня всей смелости
и, видно, в душе оставили
неизгладимый след.
Наш «кубик» снесли бульдозеры —
и выкорчевано дерево.
Фундамент соседней мельницы,
как зубы, рвал динамит.
Изнанкой домишки вывернуты,
и помню, стена, оклеенная
газетами пожелтевшими, —
о прошлой войне вопит...

Мальчишки все в люди выбились,
хотя и не сразу некоторые.
И так располнели девочки,
что их уже не объять.
Стандартны дома-коробочки
с удобствами и дефектами,
с трагедиями и комедиями —
и некого обвинять.
На месте ореха — глыбища
стеклянная и бетонная,
омыта асфальтовой площадью,
стоит на все времена.
А я всё на том же дереве
сiju один-одинешенек,
покуда внизу развешивает
белье на ветру
жена.

Роберт Рождественский

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСТНИК

В суете равнодушных,
на глазах безучастных,
уставаая от мыслей,
забот и зевот,
рядом с нами
живет государственный частник.
И —
пора бы признаться, —
неплохо живет.
Он в щеках округлился,
он в бедрах раздался.
И как будто
давая уроки судьбе,
он повсюду, —
(конечно, за счет государства!), —
проповедует принцип:
«Ты — мне,
я — тебе»...
Он — на службе.

Но только,
плюя на законы,
может он,
подчиняясь себе самому,
не достроить завод,
не отправить вагоны,
если это
не выгодно
лично ему!
Он стремится урвать.
Он доходы считает.
Потому,
презирая и меру, и такт,
он «за так»
разговаривать с вами
не станет,
не подпишет «за так»,
не поможет «за так»!
Он сопит и ловчит,
грезит и маракует,
строит новые планы,
глотая слюну.

Он
своими обязанностями
торгует!
Широко и талантливо
грабит
казну!
В институтах,
на стройках,
в совхозах и трестах,
запасая себе и на нынче,
и впрок,
он блюдет
неприступность своих интересов,
с государства взимая
немалый налог!
О, прочнейшая вязь
отношений особых,
потаенных путей,
где не сыщешь следов!
Круговая порука
невзрачных подсобок,
величавых приемных
и черных ходов!..

Стань, страна,
для хапуг
неродной и недоброй!
Стань железной,
как твой знаменитый Урал!
Поспеши!
Поспеши обязательно,
чтобы
государственный частник
нам жить
не мешал.

МАРК ШАГАЛ

Он стар
и похож на свое одиночество.
Ему рассуждать о погоде
не хочется.
Он сразу — с вопроса:
— А Вы не из Витебска?..—
Пиджак старомодный
на лацканах вытерся...

— Нет, я не из Витебска...—
Долгая пауза.
А после — слова
монотонно и пасмурно:
— Тржусь и хвораю...
В Венеции — выставка...
Так Вы не из Витебска?..

— Нет, не из Витебска... —
Он в сторону смотрит.
Не слышит,
не слышит.
Какой-то нездешней далекостью
дышит.
Пытаясь до детства
дотронуться бережно...

И нету ни Канн,
ни Лазурного Берега,
ни нынешней славы...

Светло и растерянно
он тянется к Витебску,
словно растение.
Тот Витебск его —
пропыленный и жаркий —
приколот к земле
каланчою пожарной.
Там свадьбы и смерти,
моленья и ярмарки.
Там зреют
особенно крупные яблоки,
и сонный извозчик
по площади катит...

— А Вы не из Витебска?..—
Он замолкает.
И вдруг произносит,
как самое-самое,
названия улиц:
«Смоленская»,
«Замковая».
Как Волгою,
хвастает Видьбой-рекою
и машет

по-детски прозрачной
рукою...
— Так Вы не из Витебска... —
Надо прощаться.
Прощаться.
Скорее домой
возвращаться...
Деревья стоят
вдоль дороги навывтяжку.
Темнеет...

И жалко,
что я не из Витебска.

ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР

— Снова дралась во дворе?..
— Ага!
Мама,
но я не плакала!..
Вырасту —
выучусь на моряка.
Я уже в ванне
плавала!..

— Боже,
не девочка, а — беда!
Сил моих больше нету...

— Мама,
а вырасту я когда?..

— Вырастешь!
Ешь котлету...

— Мама,
купим живого коня?..

— Коня?!
Да что ж это делается?..

— Мама,
а в летчики примут меня?..

— Примут.
Куда они денутся?!
Ты же из каждого,
сатана,
душу
сумеешь вытрясти!..

— Мама,
а правда, что будет
война
и я не успею
вырасти?..

Нина Эскович

ЛИСТОПАД

Звонкий голоса всплеск,
поцелуи при всех,
безрассудное доброе чувство!
А окажется, здесь-то и выпадет снег,
урavnяет победу и усталъ.

Рвется голос твой, он —
отрешенно ничей
и ему не до прежнего блеска.
Я любила, люблю в листопаде речей
заклипанье осеннего леса.

Лес негрозно бормочет,
но требует жертв,
потому что и сам приношение.
И огни, что живут, облетаючи твердь,—
золотое всему завершение.

Припозднились они
к несмолёпу челну,
по сырому искрят можжевелью.
Пропадая в высоком и светлом плену,
вот и я ни о чем не жалею.

Не скажи, что огонь
на вершинах умолк!
В оправдание майскому взлету
зашуми, листопад, повтори свой намек
на бессмертье по высшему счету.

ЛЕБЯЖИЙ СЛЕД

Казалось бы,
что может быть обычной
двух-трех берез, стараньями пруда
отторгнутых от стройности античной
белян с низов Лебяжьего следа.
Одна уже,

над самой кручей стоя,
дробится и спрямляется в воде —
под лебедя! — а мы тут кадку моем,
задели клюв, крыло не знаем где.

Мечта уплыть
удвоена тоскою —
тому не быть, а этого не сметь.
Плывущие мальчишки Подмосковья
хватаются за жилистую ветвь.

Как синий мрамор, светится обмылок.
Мальцы бегут до мамки и еды,
а ветви той
отпущенный открылок
метет песок у замершей воды.

Размыло склон,
и молния исторгла
огонь своих сиреневых призов,
но лебедь плыл, и струйчатое горло
трубило клич, и шли моря с низов.

Завис дымок,
и ветка на износе.
Метель, война, душой не покривлю.
Но мальчишки — их было двадцать восемь —
взглянули вслед лебяжьему крылу.

Светлана Соложенкина

* * *

Прохожий поднимает ворот,
трамвая безнадежно ждет...
В сугробах затерялся город,
который год — метель метет.

Когда же это, не пойму,
судьба переломилась круто?
Окно заклеено в дому,
но нет отдельного уюта.

Как странно на ветру стоять
и в очереди ждать тепла!
Как странно двери закрывать
и знать: сквозь стены — жизнь вошла...

...Я родилась перед войною.
В снегах росла, в снегах живу.
И вьюги за своей спиной
привычно крыльями зову.

* * *

Я назначаю вам свиданье
у синих куполов Загорска,
где золотые звезды блещут,
как ночью, среди бела дня,
где ласточки летают с криком,
таким пронзительным и резким,
как будто кто-то посягает
на это право — быть крылатым
и звезды задевать крылом...

Я назначаю вам свиданье
под белым облаком в Загорске —
оно стоит, подобно храму,
прекраснее, чем этот храм...

Я назначаю вам свиданье
здесь, в царстве радостном игрушек,
где бродят расписные кони,
где плюшевый медведь не знает,
что он — совсем не настоящий,
и существует потому.

Я назначаю вам свиданье
здесь, во владениях Юона,
который видел этот город,
как видят рожь и васильки...

Час тридцать ехать в электричке,
конечно, хочется не очень, —
но из-за этого, надеюсь,
вы не откажетесь от сказки?
Вы не откажетесь от счастья —
поверить, что бессмертны мы?..

* * *

Весна дана для ожиданий,
и странно ничего не ждать...
Зажатые в теснине зданий,
деревья пробуют летать.

То разом, то поодиночке
на счастье предьявив права,
трепещут клейкие листочки,
не веря, что они — листва...

Кирилл Ковальджи

ИЗ ЦИКЛА «ЗЕРНА»

* * *

— Мама, если б ты была
во главе земного шара,
ты б его уберегла
от последнего пожара...

* * *

...И душа от меня в час ночной
отделилась на миг, воспарила
и увидела сверху, что будет со мной...
Спохватилась. Очнулась. Забыла.

* * *

...постарела и та молодежь,
за которой ты думал угнаться.

* * *

Надгробий странное соседство:
оставил всяк по мере сил
наследие или наследство...
а кто-то просто наследил.

* * *

Молодость вторая
у сорокалетней.

Будет только старость
первой и последней...

Игорь Грудев

* * *

Хоть стар,
Но продолжаешь жить,
Судьбы благословляя милость, —
Седое облачко души
За выступ сердца
Зацепилось...

ЗЕРКАЛО ВОЙНЫ

Разрушенного зданья тело,
Снесенной комнаты стена,
Там страшно
В зеркало глядела,
Себя узнав,
Сама война!..

* * *

Лейтенант с девчонкою
В вагоне,
А в окне — рассвет.
Задремали кудри на погоне —
Безопасней места
Нет.

* * *

Снежный наст
Пригладил ветер,
Ватмана квадрат
Готов,
Где ложатся
Тени веток, —
Схема будущих ручьев...

Марина Кудимова

(Тамбов)



ПАУЗА

Дочка, пауза моя.
Загляденье, средоточка!..
Не лукава та змея,
Что меня подбила, дочка!..

Боже, мне не до себя!
Пауза — одно название
Воле этого суда,
Нервной маетной нирване.
У дитя болит живот,—
Вот загадка и отгадка,
Почему темно и гадко,
Вот причина, мера вот.
Где-то спесь моя и сплин?
Помню, сына я рожала...
Не по чину, значит, сын:
Я бы сына обожала.
Сыну не дали лимит
Все, кого я обижала.
Я бы сына обожала,
Дочку выучусь любить.
Боль пришла и повела
Соло, без сопровожденья.
Это женщина взяла
Паузу деторожденья.
Остается недошит
Белый, как хоругвь, подгузник.
Осознав неволю, узник
Головой вперед бежит.
Промежутки коротки,—
И, октясь от матерщины,
Поусердствуйте, мужчины,
Побелите потолки.
Уничтожьте зуд вшивот
Без посредства вошебойни,
Прекратите ваши войны,—
У дитя болит живот!

* * *

Посмертно светя иль предсмертно сипя,
А лучше — в зазоре от сипа ко свету,
Наверное, я доберусь до себя,
Потыкаю пальцем в материю эту.
Останется глух бережливый язык,
Но грудь мне порвет, как обшивку пружина,
Мой на обе стороны сдавленный зык:
— Помилуй мя, чадо! Пойми мя, мужчина! —
Я вниз головою росла, как морковь,
Копя кумачовый прилив антимира.

Большая любовь да меньшая любовь
Будили меня, а не муза, не лира.
Я комом на вечность могу налипать.
Чего же лелею свою анонимность? —
Лишь степень, в какой на себя наплевать,
Большую любовь вдохновит на взаимность.
Но — мать чужая, лихая свекровь,
Утопит раздутой водою поемной,
И в русло не встанет меньшая любовь,
Когда к ней придешь с сердцевинной заемной.
Кого ожиданьем теперь удивишь?
У дочери лето ушло на два зуба!
Тоскует душа, обносясь, как дервиш,—
Видать, не из лыка, видать, не из луба.

ОДА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Ура, что три часа: открылись магазины,
Свободный семьянин в универсам вступил,
Там складывают снедь в железные корзины,
Чтоб видно было, кто чего понакупил.
И, за нос проведя назойливого Феба,
Я шмыгаю за дверь,— ура, что я одна!
Мылоподобный сыр и полбуханки хлеба —
Вот главная нужда сегодняшнего дня.
Стою в очередях и нахожу утеху
В том, чтобы выяснить, за кем же я стою.
Поклявшись, что вернусь, бегом бегу в аптеку
И подлинный рецепт в окошко подаю.
А дома у меня — вновь повод восторгаться:
Картофель вышел весь, поэтому ура!
Как я люблю базар — там можно торговаться!
И завтра же туда отправлюсь я с утра.
Пришита к простыне пусть прачечная бирка,
Ее мочу в тазу и сыплю порошок.
Вы не поверите, как мне приятна стирка!
Нет слов живописать, как это хорошо!
Изыскивать сарказм вы лучше сразу бросьте!
Имею я мечту, что слаще всех услад:
Быть может, ввечеру ко мне нагрянут гости,
И, может быть, они одобрят мой салат.
И мы поговорим на тему ту и эту,
Прихлебывая в лад столовое вино:
Как свитера вязать, как соблюдать диету,
Как на зарплату жить и что идет в кино.
Под завтрак я пущу, что не доели в ужин...
Я думаю: ура! — сор венником сгребя:
Ведь впереди вся ночь для диалогов с мужем,
Которого люблю как самое себя,
Которого родней я не нашла на свете!
Он шлепает босой на кухню пить компот,
Я вслед ему шепчу: «Ура, что будут дети
И у меня от них прибавится хлопот!»
Я женщина, ура! Иной не жду работы,
Не вем иных путей к спасению души.
Хозяйкой быть по мне — заполнены пустоты.
А выкроится час — да хоть стихи пиши.

Владимир Семакин

ЧЕЛОВЕК МОЙ, ЧЕЛОВЕК

Маленькая поэма

На мальчонку, на сынка,
как молва признала,
не хватило пустяка —
стройматериала.

Шутка шуткою, но ты
девочкой родилась,
и родительской мечты
не осуществилось.

Повздыхали мать с отцом
над твоей качалкой...
Но взяла ты и лицом,
и умом-смекалкой.

И меня не знаю чем,
не пойму поныне,
присушила насовсем, —
тут не до гордыни.

И живи я, целый век
дóлюби влюбленный.
Человек мой, человек,
милый да смышленный!

Вся из ясной доброты,
сердцем не лукава,
обо всем толкуешь ты
весело и здраво.

Помоги ж тебе чутье
и ума палата
разузнять и самое...
самое себя-то!

От какой такой туги,
порчи и мороки
друг ко другу, как враги,
стали мы жестоки?

Да не мы с тобой одни —
сыщутся и кроме.
Еще столько колготни
в нашем общем доме!

Вон — трудяги,
вон — делец,
вон — перерожденец,
на две дудочки игрец, —
в общем, отщепенец.

За какие мне грехи
снятса самочинцы:

женихи не женихи —
сущие ордынцы?

Кто тебя, какой Мамай
умыкает в стаю?
Еженощно то и знай
я тебя спасаю.

Каждодневно черт-те что
мнится человеку.
Погружал я решето
во ночную реку,
никудышный звездолов...

Кончено. Размолвка.
Ну а ночи, будь здоров,
долги, как зимовка.

Непривычно, тяжело,
муторно — еще бы!
Снегу в душу намело
целые сугробы.

После всех моих-твоих
ростаней
невольно
стало мне за нас двоих
нестерпимо больно.

Память боли и во сне
никуда не дену.
Тяжело из рая мне
да в саму геенну.

А еще не так давно —
две таких роднуши —
на два голоса одно
пели наши души.

Под луной такая тишь
над водой и сушей...
Если соблаговолишь
выслушать,
послушай.

Ничего я не кляню,
даже сон кошмарный,
и за искорку одну
вечно благодарный.

Не чиню тебе помех,
не корю виною,
мне на счастье
больше всех
узнанная мною.

От какой такой туги,
порчи и мороки

друг' ко' другу, ' как' враги,
стали мы жестоки?

За собой сожгла мосты
до последней сваи.
Где и как прильнешься ты —
к той ли, нет ли стае?

Не промайся целый век
белую вороной,
человек мой, человек,
накруг одаренный.

Под безгрешно-голубой
вечной синевою
время все забудет собой,
как глухой травой.

Но и в той глухой траве,
горькой от кручины,
вспыхнут солнечные две
глаз твоих росины.

Изведусь, на целый век
ими полоненный,
человек мой, человек,
накруг одаренный.

В полумесяц протрублю,
словно в рог певучий:
«Я люблю тебя, люблю —
знай на всякий случай».

То не дань моя божбе —
грош ей в день базарный, —
земно кланяюсь тебе,
вечно благодарный.

Мой поклон — за все, за все,
в чем сыскал опору,
за сердечное словцо,
сказанное впору.

Мне оно — на целый век,
потому и свято.
Человек мой, человек,
встреченный когда-то...

Память радости со мной
век не распротится.
Память счастья и зимой
не отлепестится.

Я без них
не то что дня —
часу не бываю.

Под крылами их огня
сдуру не взываю
к оглушительной гоньбе
техники пожарной...

Земно кланяюсь тебе,
вечно благодарный.

Как я? что я? — знать не знай,
если недосужно.
Коль по нраву, пребывай
в нетях
сколько нужно.

Лишь доведайся,
свое
счастье обретая:
то ли во поле былье,
та ли в небе стая...

Марк Штурман

ЛАЙНЕР ЛЕТИТ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

В синем небе
белый лайнер «Ту»:
двести пассажиров
на борту.

Он узнал
в большой своей дороге
цену и покою,
и тревоге.

А в салоне, в том крылатом чуде,
самые отличнейшие люди —
русские, узбеки, и грузины,
и сыны цветущей Украины.

А под ними стройка века — там
наша юность пролагает БАМ, —
чтоб связала рельсовая сталь
даль Амура и Байкала даль!

Ночь
над ними — черный звездный парус:
по созвездьям
мы летим в Хабаровск.
Позади
Байкал и облака,
впереди у нас
Амур-река.

Перевел с еврейского Александр Големба

ПАМЯТИ ДРУГА

Планеты голубой
таинственная сила
нас сблизила с тобой,
потом разъединила.

Твердят кругом друзья:
«Врачует время раны!»
Но вынести нельзя
твой взор с телеэкрана.

Прости, прости,
прости,
что все постигла поздно.
Теперь не отвести
взгляд слепнувший и слезный.

Конец земным путям,
свершеньям, испытаньям.
Прильну к твоим губам
посмертным целованьем...

Николай Флёров

В ЧАС НАДЕЖДЫ

Когда-нибудь, читая в книге друга
Сонеты о любви и о судьбе,
Поймешь и ты, что я не в час досуга,
А в час надежды их писал тебе.

Тебя мое признание почему-то
Не тронуло тогда. И не с того ль
Все в моей жизни изменилось круто,
А в сердце поселились грусть и боль.

Но коль через года, читая снова,
Встревожишься, и за душу возьмет,
И станет близок чувств моих полет,
Явившийся из времени другого,
Я буду рад одной лишь силе слова:
Пусть нет любви — поэзия живёт!

Дина Терещенко

* * *

Я не могу забыть, как голубели
твои глаза, решимости полны!
К шершавой и прокуренной шинели
прильнула я. Был первый год войны!
Был первый год! И я еще не знала,
что будет и второй, и третий год,
что человек выносливей металла...
И кто с войны придет, кто не придет.
Все, все потом! Четыре черных года
чернели пустотой своих глазниц.
Но Май пришел. И примирил нас с горем.

И я перед тобой упала ниц,
когда в своей простреленной шинели
вернулся ты. Сын не узнал тебя.
Мы друг на друга тяжело смотрели —
и виновато так смотрела я.

Владимир Мощенко

* * *

Хоть полжизни уже пролетело,
Ты красивей других и сейчас!
Что же ты улыбалась несмело?
Хочешь, чтобы я молодость спас?

Я и сам бы не против, да только
Отлетела в сугроб коновязь
И помчалась та самая тройка —
В звезды
Млечным Путем
унеслась.

Это молодость наша умчалась.
Горделив и могуч коренник,
Присяжным неизвестна усталость —
Напрямик норовят, напрямик!

Ухватиться б за вожжи!
Да нет их.
Только воздух в дрожащих руках.
Только звуки мелодий неспетых
Застывают на бледных губах.

Вдаль дорога для тройки открыта,
Но закрыта дорога назад.
И стучат средь созвездий копыта,
И холодные искры летят.

* * *

Эти самые первые строки,
Эту самую первую дрожь,
Эту весточку дня на востоке
Не прочтешь уже и не вернешь.

Трепетало возникшее слово,
Будто ветер и сердце птенца,
Каждой буквой своею готово
Улететь и лететь до конца.

И, слова представляя в полете,
Захотелось напутствовать мне:
— Даже крылья когда обретете,
Не забудьте о нашей земле.

Пусть возвышенность ваша не будет
Основаньем разрыва с землей,
А иначе вас ветер остудит
Вместе с музыкой, вместе со мной!

Натан Злотников

САНДАЛИ

В полутемном и гулком подъезде
Он взбегал, не касаясь перил,
По ступеням покатым к невесте,
Много слов в полутьме говорил.

На заветном окошке сидели,
Свесив ноги, как будто с крыльца.
Им осталось не больше недели,
Им казалось: не будет конца.

Тихо в доме большом. Редко-редко
Лифт тяжелый гудел за спиной,
Это, может, сосед или соседка
Возвращалась со смены ночной.

Звезды лета светили им в очи,
Дождь кропил, луж мерцала слюда.
Ночи все становились короче,
Стало сладко не ведать стыда.

И однажды слетели сандали
С легких ног ее, охнув внизу,
Словно птицы две вдруг увидали
С высоты мимолетной грозу.

Но, нисколько о них не жалея,
Под широким его пиджаком
Попрощалась, еще став милее,
Побежала домой босиком.

Через день он ушел в ополчение,
И ушла рыть окопы она.
Но внезапной разлуки мученье
Было горше для них, чем война.

Может, каждый из них не заметил,
Как исчез он в пожаре густом.
Только нет уж давно их на свете.
К счастью, оба не знают о том.

ЩЕГОЛ

Наши сроки давно миновали.
Куст жасмина любимого гол.
Ты забыла, как на сеновале
Пел веселый и грустный щегол.

Он и звука не вымолвил всуе,
Говоря нам про нас про двоих,
Но объятья и поцелуи
Прекратились, когда он затих.

Может, он, спохватившись, заметил,
Что осенняя хлябь на дворе,

Не ко времени песни о лете
Перед снегом в сыром сентябре.

Может, он, с детства отданный пенью,
Рад был взять и случайную роль?
Может, он на пороге к забвенью
Произнес заповедный пароль?

Татьяна Кузовлева

* * *

И вот пришло последнее тепло,
Щемящее,
Но не длиннее взгляда.
Нагрелось в раме тонкое стекло,
Наш быт отгородившее от сада.

Жар отошел,
Печальней и нежней
Льнет луч к земле, как бы прощаясь с нею,
Не речью — интонацией твоей
Свою тревогу давнюю развею.

Движение стужи скрыто вдалеке,
Но знак ее горит в листе пуглпвом.
Постой! — былинка на твоём виске
Мне светится серебряным отливом.

Не тронь. — как стало от нее светло!
Задело нас осеннее горенье.
Когда приходит позднее тепло,
Оно приносит поздние прозренья.

Позволь разглядить мне ладонь твою.
Опавший лист метнется, пламенея.
Всю нашу жизнь из губ твоих я пью, —
И нет питья ни горше, ни пьянее...

* * *

Под сенью алычи,
Под кроной тамариска
Две лавки, темный стол да кружки для вина.
И крымская луна всходила близко-близко,
Как будто за столом седьмой была она.

Валялись на траве остывшие шампуры,
Тянуло от костра черешневым дымком.
Рыжел песок у ног распластанною шкурой,
И звездный хоровод был вечностью влеком.

Вязался разговор — нескорый, чуть ленивый,
Во тьме вставала вдруг прожектора свеча.
И наша жизнь была беспечной и счастливой,
И было мне тепло у твоего плеча.

Твой взгляд протянут был
 куда-то длинно-длинно,
Мне виделось: в ночи светилась полоса.
Негромко, с хрипотцой,
Вздыхая, Антонина
О чем-то пела нам, полузакрыв глаза.

Душа ее была то близко, то далеко,—
Там, где прошедший день покамест не угас.
Безвестная звезда летела одиноко.
И на земле был мир.
И мир был среди нас.

И силуэт горы был силуэтом ночи,
В которой плыли мы среди иных планет.
И не было пути друг к другу нам короче,
Чем путь со всей Землей —
С заката на рассвет.

Александр Говоров

* * *

Ночь. И туман. И кони.
Белые, как во сне.
Я подставлял ладони —
В ладони дышали мне.

Воздух клубился теплый,
Взвенивал костерок.
И среди них был мокрый,
Снежный стригунок.

Лук выплывал, расплывался.
Веял снами урман.
Волнами волновался,
Вольно волнуясь, туман.

Я подставлял ладони
Копям и тишине.
Ночь. И туман. И кони,
Белые, как во сне.

Иван Киуру

ОБЛАКА СЕНОКОСА

Облака сенокоса стоят над землей.
Город гарью и душною пылью пропах.
И на вязах высоких и древних дубах
Оседают июнь золотистой золой.
Облака сенокоса стоят над землей.

Небо землю ласкает, и жжет, и гремит,
Птиц надеждою дарит и гонит в листву
В этом каменном, дурно ревущем лесу
И потоки прохлад из деревьев стремится...
Облаков сенокоса таинственен вид.

В облаках сенокоса — немислимый жар.
Зоопарк разомлел. В клетке мечется волк,
Его колет сиянье сквозь зелени шелк...
И зевак непонятеп ленивый базар...
И не близок печальный заката пожар...

...Где ж ты, сила? Ах, сила в крови еще есть!
И в руках бы еще поиграла коса!
И нога обошла б и луга и леса,
Да ведь дел неотложных и тут, брат, не счастье!
И заката не близок печальный пожар...

Облака сенокоса стоят над землей.
Город пылью и теркикою гарью пропах.
И на вязах старинных и древних дубах
Оседают июнь бархатистой золой...

Облака сенокоса стоят над землей.

Леонид Латынин

НА ПАШНЕ

Осени меня, небо и поле,
Коли выжить сумела душа,
В незатейливой пахаря роли
Я за плугом иду не спеша.

Впереди еще сев и забота,
Чтоб хватило тепла и дождей,
А пока золотая работа —
Вдалеке от дорог и людей.

А пока это синее небо,
От того полувека стерня.
Доживу ли до первого хлеба,
До осеннего светлого дня?

Сколько весен земля каменела,
Не рожала, а только цвела,
Без работы душа занемела,
Но погибнуть совсем не могла.

Видно, высшая правда в законе —
Жизнь сильнее беды и войны.
И натруженно движутся кони
Средь земной и тяжелой волны.

Ольга Кучкина

* * *

Возвращайтесь на старое место и на пепелище,
возвращайтесь всегда, возвращайтесь потом и сейчас,
вам простится, и вас непременно отыщет
чья-то близкая тень, не забывшая вас.

Вас отыщут, окликнут, вам скажут, не вслух и негромко,
вас пронзит, вам покажется, вас опалит, обожжет,
ничего, ничего, не пугайтесь, такая поломка
в механизме житейском как будто не в счет.

Возвращайтесь, пожалуйста. Памятью или на деле,
как придется, как выйдет, как пустят занятия и быт.
Не на этой, на той, истекающей утром, неделе,
там вам важная встреча — с собой — предстоит.

Возвращайтесь, пожалуйста, просьба моя выполнима,
отмечайтесь у прошлого, словно в дежурке солдат.
И еще не забудьте, что я вас люблю и любила...
Может, в этом единственном смысл наших дат.

Валентин Проталин

ЗАБЫТЫЕ ЗВУКИ

Я обрел позабытые звуки,
отступившие вдаль, за леса.
Неожиданны, сладки до муки
недоступные нам голоса.

Как вода отзовется в колодце,
как горласто пустое ведро,
как дрова могут звонко колотиться,
обнажая на сколе нутро.

А поленья — подобие клавиш,
свой у каждого норы и тон.
Лейся, музыка, —
что только славишь?..
Не понять — то ли явь, то ли сон.

Колдовство безыскусного дара,
раздавайся, живи, говори.
Как играет труба самовара
в прославление вечерней зари...

Ай, да хватит,
а то ведь заплачу.
Сам себе покажусь я смешным.

Мир открылся,
столь многое знача.
Я не знал, что расстался я с ним.

Сколько русских поэтов внимало
этой музыке, чистой, как свет.
Просто так...
И ни много, ни мало,
да не менее тысячи лет.

И жила она под боком, рядом,
как трава на знакомом лугу.
Мне не хочется быть ретроградом,
только стать и глухим не могу.

Кто-то пусть, не познав этой муки, —
может, даже ему повезло —
любит индустриальные звуки
электрички, спешащей в село.

Я же точно разъят на два мира
и; в каком не живу, не пойму.
Научиться наивная лира
до седины не смогла ничему.

И куда мы сознанием ни метим,
уготована нам благодать:
разрываться меж тем и меж этим
и спасенья, увы, не видать.

Людмила Копылова

* * *

Если перекормлен болью,
если ночь в окно стучит,
вспомни,
как в просторном поле
собираются грачи;

как сидят и ходят вбок,
перья их
на пашне влажной
отдувает ветерок.

Вверься этому покою,
вверься полю и не плачь:
по одной земле с тобою
ходит ветер,
ходит грач.

Михаил Курганцев

* * *

Уходит скорый поезд,
бегут чужие лица,
захлопнутая повесть,
размытая страница.
Уходит скорый поезд —
ни посвиста, ни блика,
далекая, как полюс,
за стеклами — улыбка.
И ветер, беспокоясь,
пылит, не затихая.
Уходит скорый поезд,
уходит, как дыханье...
Забудь ненужный поиск,
напрасную погону.
Уходит скорый поезд —
и пусто на перроне.

Анатолий Заяц

* * *

Когда горят леса,
Мелеют реки,
Когда земля гудит, как танкодром,
Я вижу мать,
Бессмертную вовеки,
С ведром воды —
Целительным ведром.

Она идет, родная, как спасенье
Цветам и травам,
Злакам полевым,

Чтобы избавить жизнь от потрясения
И отвести от горизонта дым.

Она глядит
Пристрастно и спокойно
И сеет жизнь —
Надежду и добро.
Я вижу мать:
В одной руке — подойник,
В другой — с водой днестровскую ведро.

Она детей покличет и умоет,
В несчастье не забудет ни о ком,
Она цветы водицею напоит,
А нас напоит теплым молоком.

И сладко мне,
Что вышел я отсюда,
Где золото пшеницы на токах.
И эти два
Прекраснейших сосуда
Полны, как вечность,
В маминых руках.

Тамара Жирмунская

* * *

Случайный встречный, спутник мой земной,
еще не уходи, побудь со мной.
Взгляни, как быстро по-январски смерклось,
снег потерял первоначальный блеск,
придвинулся и стал массивней лес,
насупилась и одичала местность.

Из всех миров, закинутых во тьму,
лишь этот близок сердцу моему,
из всех пространств лишь это глазу мило,
из всех холмов лишь эти семь холмов
мне дали обрести свой круг и кров,
но без тебя все это мне постыло.

Единственная ценность на земле —
и почему она досталась мне —
«любовь, любовь» (как пел один виновник
постыдной драки; от избытка сил
кого-то он избил, или убил,
и ныне не певец, а уголовник).

Любовь, любовь, какие бы уста
тебя ни оскверняли, ты чиста.
Любовь, любовь, зачем меня неволишь
и выжимаешь тряпкой половой?
Ты мне дана, ручаюсь головой,
на краткий срок — на жизнь мою всего лишь.

Случайный встречный мне тебя открыл.
Сложил мой дом и сам же разорил.
Ведь говорят: есть бог, и это — случай.
Любовь, оставь меня в моем мирке
или заставь взмыть в небо налегке
и каторгою выбора не мучай.

КАТОК

Довольно быть в спорте невеждой!
Давай паконец воспоем
овальное, с выемкой снежной,
зерцало катка под окном.

Оно потому и зеркало,
что утром, еще в полусне,
машина его шлифовала,
сгребая по эллипсу снег.

И вот посреди стадиона,
в кустах, неказистых на вид,
как в раме, светло, удлиненно
нездешнее тело лежит.

Столбы, перекладины, бревна,
которых в округе навал,
вперяются в зеркало, словно
их всех пригласили на бал.

И чуден в мерцанье ледовом,
освоенный нами с трудом,
построенный методом новым
«скользящей опалубки» дом.

Пространным астральным предметом
весь наш захолустный район
как будто бы внутренним светом
таинственно преображен.

Привычная жизнь захотела
забить первозданным ключом.
И дух молодеет, и тело.
И спорт здесь, увы, ни при чем.

Леонид Темин

ВЕЧНЫЙ ГОРОД

Светлой памяти Александра Цыбулевского

Тифлис казался чем-то вроде карты,
при этом — карты контурной, немой,
так продолжалось до тех пор,

пока ты

его вдруг не озвучил...

Боже мой!

Я слишком поздно понял, сколь музейны
все города,

чей лик для нас сокрыт,

покуда не заводим в них друзей мы¹
(а пуще — с ними женщина роднит)...
Ночное бденье — кончена неделя!
Асканская, Шардена, Ватный ряд...¹
Как гулко о рассветные панели
твои шаги и мой костыль стучат.
Неспешен ты, Вергилий мой, и точен:
у серных бань кончается маршрут,
а здесь — под козырьком торговой точки —
для хаши стол накрыл чайханщик-курд,
и нам —

приятно-незнакомым людям! —
он рад, корысти не держа в уме.
Ты говоришь:

— Давайте не забудем
ту рифму «шени чериме — корчме»...
Не до того!

Забудем — и припомним,
и — выбросим, какие пустяки!
Зато стаканы до краев наполним
еще не раз мы у Куры-реки,
ответствуя деснице Горгасала,
а времени и рифм — не занимать...
Остановилась память.

Постояла.

И, загрустив, поворотила вспять —
в те времена,

где нет уже мечети,
но — сохранилась все-таки она,
как сохранятся и минуты эти,
и дивный вкус дешевого вина,
где лепятся, как ласточкины гнезда,
домишки у Метехи...

День в соку:
еще не рано и уже не поздно —
мы пьем за все, что будет на веку!

Борис Авсарагов

ДИАЛОГ

Небеса разрываю руками.
Озираю железную твердь.
К безвоздушной притянутый яме,
Искушающей время и смерть.
Отворит современник любезно
Полость космоса, как бы шутя:
— Не угодно ль ступить в эту бездну
Вам, воздушного века дитя?

Отзовется космический омут,
Содрогнется структура небес:
— Человека Вселенная помнит...
Без него ей — какой интерес?

¹ Названия старых улиц Тбилиси.

Юрий Ряшенцев

* * *

В крепком доме, где у всех забота —
чтобы был ты счастлив и здоров,
страшное предчувствуется что-то:
близкое крушение миров.

А в какой-нибудь лихой палатке,
в двух шагах от божьего крыльца,
одинок и — мало! — в лихорадке,
чувствуешь, что жизни нет конца.

Это — не о буре и покое,
но о том, что быт не виноват:
долг людской, прозренье нелюдское
там живут, где могут и хотят.

Эдуард Балашов

БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ

I

Забывший и время и тело,
Прогнавший и мысли свои,
Ты принял всемирное дело
Во имя всемирной любви.

И, свету единому внемля,
Стоишь ты, бессмертьем храним.
И небо нисходит на землю
По меридианам твоим.

II

Скажи мне, кто твои враги!
Не явлен ты пока.
И зову друга вопреки
Явись на зов врага.

И славу дружбы пресеки,
Приняв хулу вражды.
Скажи мне, кто твои враги,—
Скажу тебе, кто ты!

III

За кругом круг, за криком крик...
Вращает воля колесо.
В который раз, в который миг —
Твое и не твое лицо.

И как всегда на вираже
Сойдешь и встанешь на меже,
Поймав себя на том, что ты
Уже не ты, еще не ты.

IV

Все-все, что зримо и незримо,
Что в беспредельности творимо,
Единой мыслью пронзено,
В одно любовью сведено.

Мой друг, не истинно ли это:
Любовь твоя и мысль твоя —
Два существа, два чуда света,
Два полуслова бытия.

V

Из смертной тени высек свет
И в грудь вложил магнит.
Любите! — был его завет.—
Любовью мир стоит.

Она природа и закон
Незыблемых времен.
Любовью камень сотворен
И сердцем наделен.

VI

Истерт гремучий посох дней.
Уснул земной глагол.
Но впереди — иная высь,
Иное бытие.
Сверкнула молния — по ней
Ты бездну перешел.
А молния — всего лишь мысль
Того, кто знает всё.

VII

Было слово на миру:
Кто не в бога богатеет,
Все оставит к вечеру,
Все возьмет, что не имеет.

А на праведном суде
Ровня всяк своей поклаже.
— «Есмь!» — Однако нет нигде!
— «Есмь!» — Но и не атом даже!

VIII

В молчанье камня нас найдете
И не «на помощь!» позовете,
А криком сердца «Помогу!».
Воздайте должное врагу
(Отныне он у вас вдолгу).
Себя как бездну перейдете.
И на сужденном берегу
Молчанье камня обретете.

Андрей Чернов

«КАК ВАШЕ ИМЯ?..»

Он ценил мистификацию. Срифмовав в «Онегине» «неоконченных стихов — ... голов», он мистифицировал всю пушкинистику.

Утверждают, что его рисунки на полях — это либо «творческая пауза» между строк стихотворения, либо «разрядка» после его окончания. Ведь легкость линии легко отождествить с отсутствием труда. И хотя исследователи его рисунков самым фактом исследования вроде бы доказывали как раз обратное, легенда «машинального рисования» привилась.

Впрочем, заслушаем мнение художника. Вот что пишет Петров-Водкин: «Почему в своих рисунках Пушкин так изобретателен? У него нет ни одной декоративно-пустой вещи».

Стремительность линии, предвосхитившая изобретательность Пикассо даже в некоторых приемах рисования, говорит о предельной душевной сосредоточенности Пушкина-рисовальщика.

Непонятно даже, как можно так ясно помнить черты и характеры стольких людей.

Из полутора тысяч лиц, нарисованных им, десятая часть уже опознана. И надо искать дальше. Но если полторы сотни портретов опознаны за полтора века, значит, прежними темпами работы хватит еще на тысячу лет.

В чем дело? Не в том ли, что значительная часть его рисунков, как это ни странно, — не публиковалась? И чтобы увидеть их, требуется попасть в рукописный отдел Пушкинского Дома или московского Государственного музея Пушкина.

Поэтому необходимо факсимильное издание тетрадей поэта. Оно затевалось в начале тридцатых, но было вдруг остановлено.

И надо, наверное, говорить о музейном зале — «Пушкин-художник», или даже конкретнее — «Пушкин-портретист». Если б такой зал был, то, возможно, не одни лишь пушкинисты смогли бы прийти в него и сказать: «А я знаю, кто это...»

Пишу так уверенно, потому что видел, как психолог О. Гавриленко без труда узнала профиль Пугачева на черновике «Осени». И портрет подтвердился не только сходством с известной гравюрой XVIII века, где Пугачев изображен закованным в клетку (молодое лицо, острый нос, борода длинная клином), но и датировкой черновика: поэт как раз работал над «Историей Пугачева».

Рассказываю об этом скульптору В. А. Шестопалову. «Постойте, я знаю этот портрет! Он опубликован в «Рисунках Пушкина» Цявловской. Но разве он не подписан?» — «Нет».

И все же определение портретов — занятие столь же увлекательное, сколь трудное, даже рискованное.

Бывает — узнаешь, обрадуешься и вдруг — натыкаешься на полуистлевшую газетную вырезку (ведь каталога расшифрованных рисунков не существует).

А бывает — самая достоверная идентификация лопается мыльным пузырем. Так что знак вопроса должен быть приставлен к любому почти рисунку, независимо от того, когда и кем он определен.

Моя работа с рисунками Пушкина началась недавно, после знакомства с прекрасной книгой Т. Г. Цявловской. И конечно, сначала ни о какой «работе» я и не думал. Просто «рассматривал картинки». А потом пришлось в голову соображение, удивившее своей статистической простотой: если портретов так много, значит, он

нарисовал *всех*, или *почти всех*, кто занимал его мысли и чувства.

Ведь нарисовать — это понять человека.

Нарисовать — вызвать друга для молчаливой беседы, поразить врага убийственным шаржем.

Д. С. Самойлов метко заметил, что Пушкин портретами предупредил балзаковский замысел написать все общество.

Вот вам «завитушки и пробы пера»!

Ну, а если Пушкин действительно нарисовал всех, можно обложиться историческими книгами, где XIX век представлен «в лицах», и попробовать, поискать...

Итак, попытка новых портретных отождествлений пушкинской графики. На вклейке:

— Василий Андреевич Жуковский, Иван Иванович Козлов, Константин Николаевич Батюшков на протоколе заседания «Зеленой лампы» 17 апреля 1819 года. Считалось, что это «зарисовки с натуры», и потому оставалось загадкой — кто же изображен? Однако два портрета одного человека, но с разными прическами, а также часть обнаженного тела справа от них опровергают мнение о натурном характере портретов. Да и Батюшков в 1819 году был уже в Риме. Как раз он и повторен на листе дважды — и облик, и добрый, чуть наивный взгляд — как на известном портрете Кипренского. Впрочем, рисунки вряд ли сделаны в 1819 году. Думаю, они появились на старом протоколе после 1821 года, когда Козлов окончательно ослеп. — «Зрячие» глаза Пушкин рисовал обычно иначе. Да и Жуковский уже порядочно облысел. На этом же листе справа, внизу, еще один профиль, шаржированный, — в нем сотрудник московского музея Пушкина С. Г. Плаксин узнал еще одного поэта — Дениса Давыдова.

Видимо, в какой-то неизвестный нам грустный и одинокий миг Пушкин и вызвал к себе друзей-поэтов.

— Два профиля Алексея Петровича Ермолова. В 1822 году Пушкин еще не был знаком с генералом, но ведь были портреты, — поэт, по его собственному свидетельству, знал их. И недаром в черновой рукописи стихотворения «Иностранке» он нарисовал генерала рядом с этеристами. Борьба греков за свободу обещала новую войну с турками. «Ермолов! поспеши спасти сынов Эллады!» — писал Рылеев. Особенно интересен правый профиль. Это тоже Ермолов, только молодой. На нем павловская «круглая треуголка». Как Пушкин мог нарисовать его молодым? Да просто вообразил! Кстати, литературный портрет Ермолова — «огненные серые глаза, седые волосы, голова тигра на Геркулесовом торсе» — мы находим в «Путешествии в Арзрум».

— Портрет Николая Николаевича Раевского, сына знаменитого генерала, сделан в 1821 году рядом с черновиком стихотворения «П. С. Пушкину». Нос «уточкой» и выпяченная нижняя губа подкрепляются и поздним живописным портретом кисти И. Айвазовского и тем не слишком умелым, но выразительным портретом «с кошкой», который мы помещаем параллельно с пушкинским рисунком.

— Два портрета Егора Антоновича Энгельгардта. Отношения поэта с лицейским директором так и «не сложились», что, впрочем, видно и по рисункам. Сделаны они в конце лета 1823 года в Одессе на черновиках I главы «Онегина».

Как узнаются портреты?

Примерно так же, как читаются черновики: надо зацепиться за графический образ, потом по смыслу угадать значение и, наконец, проверить каждый штрих, каждый крючочек.

И уже потом — «а я знаю, кто это...».



Пугачев.

Муслим Закиев 17 апреля 1844
Председательство г-на Удальцова



И. И. Козлов, В. А. Жуковский и Д. В. Давыдов.



К. Н. Батюшков.



А. П. Ермолов (два профиля сверху
справа).



И. Н. Раевский (младший).



Е. А. Энгельгардт.



А. А. Ахматова. 1946 год.



Н. Н. Асеев, Б. Л. Пастернак и Н. Л. Сельвинский.
1942 год.



М. А. Светлов и А. А. Прокофьев. Начало 60-х годов.



Михаил Луконин на фронте.



**Константин Симонов в Болгарии в 1944 году
(Рильский монастырь).**



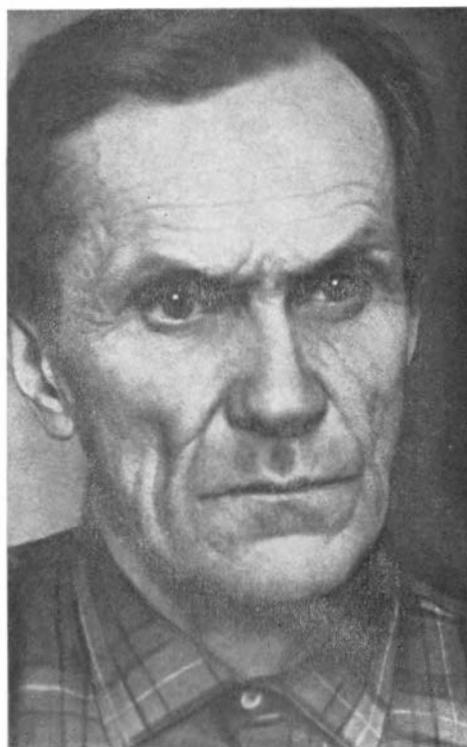
С. С. Наровчатов. Фото Н. Лаврентьева.



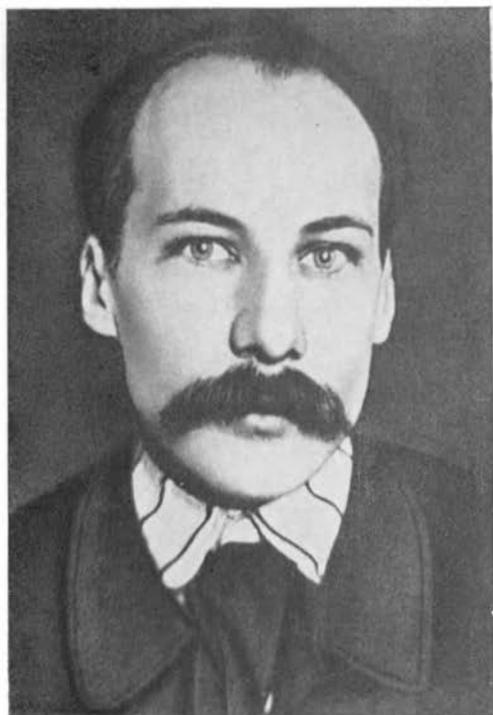
Н. А. Заболоцкий. Фото Никиты Заболоцкого.



Г. А. Шенгели.



В. Т. Шаламов.



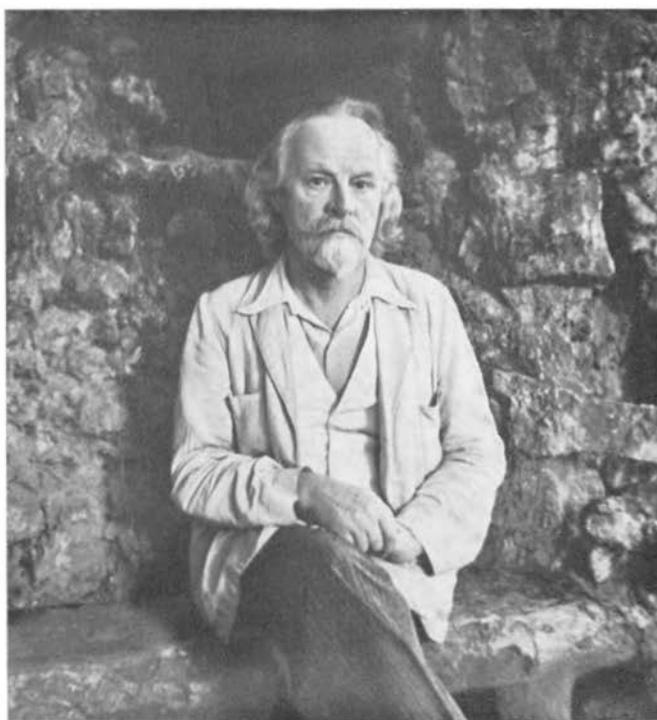
Андрей Белый.



Игорь Северянин.



Федор Сологуб.



Константин Бальмонт.

Фотографии из собрания Е. Рейна.

Александр Бобров

РОМАНС

Считайте, что я Вам читаю стихи под
гитару,

Считайте, что это слова, а не песня —
увы...

Считайте, что я, как и Вы, не печалюсь
о старом,
Но к Вам обращаюсь, как в старом
романсе, на Вы.

Признайтесь, что Вам еще так никогда
не читали,

Признайтесь, что это напомнило
лучшие дни,

Считайте те дни, — Вы ведь их никогда
не считали,

Ну вот и кончаются, сбившись со счета,
они.

Но сколько б их ни было —
было их больше, чем песен,

Услышанных, спетых, своих и любимых
чужих,

Считайте, что этот прощальный романс
не уместен,

А что же уместным считать
при прощанье дьвоих!

Но как бы там ни было —
не было в днях этих фальши,
Во всем, что угодно, но только
не в них и не в нас,
А раз это кончилось, так ли уж важно,
что дальше —
Слова ли, стихи или этот фальшивый
романс.

А все же признайтесь, что Вам еще так
не читали.

Признайтесь, что это напомнило
лучшие дни,

Считайте те дни — вы ведь их никогда
не считали,

Ну вот и кончаются, сбившись со счета,
они...

РАБОЧИЙ ТЕРМИН

Все больше роз, все меньше терний,
Но ведь нельзя не замечать,
Что стал давно рабочим термин
Такой: высокая печать.

Да, по иронии жестокой —
На все грядущие года —
Печать останется высокой.
Оттиснутое — не всегда.

ФОТОГРАФИИ ПОЭТОВ НАЧАЛА ВЕКА

Фотография Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева) относится предположительно к 1909—1911 гг. Весьма интересно сравнить ее с портретами Л. Бакста, сделанными в 1905 и 1907 гг. Снимок этот лежит как бы на одной линии с работами художника и представляет собой следующий этап «физиономического» развития Андрея Белого. Итак, перед нами Белый, сфотографированный (предположительно) перед отъездом в двухлетнее путешествие по Италии, Египту, Палестине. Белый, уже создавший книги стихов «Золото в лазури» и «Пепел». Белый накануне своего самого выдающегося произведения — романа «Петербург».

Снимок Игоря Северянина (Игоря Васильевича Лотарева) сделан — тоже предположительно — между 1913 и 1916 годами, в пору наивысшего взлета его популярности.

Портрет Федора Сологуба (Федора Кузьмича Тетерникова) выразительно передает облик поэта, сына крепостного, прошедшего суровую школу жизни. Он был долгие годы педагогом в глухих провинциальных местах русского Севера, только в тридцатилетнем возрасте переехал в Петербург. И первая книга его вышла по понятиям того времени весьма поздно — автору было тридцать два года. Датировку фотоснимка установить пока не удалось.

И последняя фотография — Константина Дмитриевича Бальмонта. По свидетельству дочери поэта, снимок этот входит в небольшую серию фотографий, сделанных Мариной Ивановной Цветаевой в 1936 году, когда Бальмонт приезжал к ней в Медон (Франция).

Е. Р.

ставляет собой лишь часть общирного, не вполне от-деланного автором труда), «Словарь-конкорданция к стихам Пушкина», исследования: «Онегинская строфа», «Стих Маяковского», «Русский свободный стих», «Туркменский стих», «Французский александрийский стих», статьи о русских писателях и многие другие работы (значительнейшая часть этого ценного материала остается неопубликованной).

Но, отдавая дань переводческому и научному труду писателя, нельзя забывать, что основные достижения Г. Шенгели — в сфере оригинального поэтического творчества. Начавший со слабых, подражательных стихов (в стихотворениях молодого поэта без труда можно обнаружить следы подражания В. Брюсову, А. Блоку, Бальмонту, Северянину, Гумилеву...), Шенгели стремительно вырастает в уверенного, самобытного, идущего своей дорогой мастера поэтического слова. Стихи «Раковины» (два издания: 1918 и 1922 гг.), «Изразда», «Еврейских поэм», «Порда», «Планера» дают все основания для того, чтобы по праву считать Г. Шенгели одним из крупных русских советских поэтов.

Романтическая по своему лирическому строю, отличающаяся классической простотой и строгостью формы, безотщипным отбором художественных деталей, скупой точностью в применении эпитета, живописная и красочная, поэзия Г. Шенгели высоко оценивалась его товарищами по перу. «... Одним из тех, кто был для меня ангелами, провожавшими в мир искусства и, может быть, с наиболее пламенным мечом — был именно Георгий Шенгели. Я славлю его в своей душе навсегда! Он написал чудные вещи... Лучшее стихотворение о Пушкине в русской литературе после Лермонтова написано им... У него пронизанные поэзией стихи о море, о капитанских жилищах, о Керчи, которые я всегда ношу в своем сердце... Я не буду говорить о его переводческом труде — на мой взгляд недооцененном. Я хочу сказать только о том, что знал в своей жизни поэта — одного из нескольких — странную, необычную, прикасавшуюся к грандиозному фигуру. И он навсегда останется в моей памяти, как железный мастер, как рыцарь поэзии, как красивый и благородный человек — как человек, одержимый служением слову, образу, воображению...» — писал о Шенгели — поэте и человеке — Ю. К. Олеша 21 февраля 1958 года в записке, посвященной памяти писателя. Подобных высказываний и оценок можно было бы привести множество.

«Есть ценностей незыблемая скала...» И так же, как русская литература занимает почетное и достойное место в мировой литературе, так и русская поэзия двадцатого века, богатая талантами, числящая десятки имен и сотни книг, интересных, оригинальных, значительных, занимает бесспорное и достойное место в русской национальной культуре. И к этому ценнейшему достоянию нужно относиться бережно и любовно, не предавая легкомысленно и небрежно забвению все то, что отмечено печатью труда, вдохновения и таланта.

За сорок с лишним лет поэтической работы Г. Шенгели были написаны сотни стихотворений, настоятельно требующих издания и переиздания, большое число поэм; значительная часть этого материала остается в рукописях. Необходимо переиздать лучшие поэтические создания Шенгели, присвокупив к ним все ценное и значительное из литературного архива писателя. Необходимо опубликовать также все переводные работы и научные сочинения Шенгели.

«День поэзии» предлагает читателям несколько стихотворений Георгия Шенгели, написанных в разные годы.

А. М е ж и р о в

ЖИЗНЬ

Мне шесть, а ей под шестьдесят. В наколке;
Седые букли; душевные духи;
Отлив лампад на шоколадном шелке
И в памяти далекие грехи.

Она Золя читала и Ренана,
Она видала всякую любовь,
Она Париж вдыхала неустанно
И в Монте-Карло горячила кровь.

Она таит в своем ларце старинном
Сухие розы, письма, дневники;
Она могла бы объяснить мужчиппам
Все линии несытой их руки.

Всезнающей, загадочной, упрямой
Она заглядывает мне в глаза,
Из книг возникнув Пиковою Дамой,
Суля семерку, тройку и туза.

Мне двадцать лет, а ей, должно быть, сорок.
Он вял слегка — атлас и персик плеч.
И перси дышат из брюссельских сборок,
Маня юнца щекою к ним прилечь.

Как сладко будет овладеть такую —
Порочною, подклеванной вдовой:
Жизнь надо брать с холодной головою,
Пока она — с горячей головой.

Она за дерзость будет благодарной,
Под пальцы ляжет — нежной глины пласт, —
Она мундштук подарит мне янтарный
И том стихов на ватмане издаст.

Она раскроет деловые связи,
Она покажет в полутьме кулис
Все тайны грима, все соблазны грязи,
Все выверты министров и актрис.

Она уже не кажется загадкой,
Хоть жадный взор стыдливо клонит ниц...
Мне тоже стыдно, и гляжу украдкой
На трепеты подстреленных ресниц.

Мне тридцать семь, ей двадцать два едва ли.
Она резва, заносчива и зла,
Она с другим смеется в бальной зале,
С другим к вину садится у стола.

Все ясно в ней, от похоти до страхов,
Хотя он лжет — лукавый свежий рот,
И никель глаз из-под ресничных взмахов
Мое же отражение подает.

Не упустить задорную беглянку!
Девчонка! Ей ли обмануть меня?
Билет в балет, духов парижских склянку,—
И льнет ко мне, чуть голову клоня.

Но горько знаешь этот пыл условный
И медлишь, и томишься, и грустишь,
И ей в глаза, как в кодекс уголовный,
В минуты пауз трепетно глядишь...

Мне пятьдесят, а ей, пожалуй, девять.
Худа, и малокровна, и робка.
В ней спит болезнь,— ее боюсь прогневить:
Столь сини жилки в лепестке виска.

О девочка! О дочь моя больная!
На солнце, к морю, в Ялту бы, в Сухум!
Она все та ж, но каждый день иная:
Она слабеет, и слабеет ум.

Учить ее? читать ли ей баллады?
Играть ли с нею в тальму и в лото?
Таясь, ловлю испуганные взгляды,
В которых мглою проступает — ТО...

Мне шестьдесят. И вот она — младенец.
К ней в колыбели жметя дифтерит,
И сверстников моих и современниц
Кружок последний на нее глядит.

Поднять ее, зажать в ладони,
От старости холодные как лед:
Быть может, ужас, за душой в погоне,
Как жар, хоть на полградуса спадет?

Но нет: хрипит!.. Стою бессильным дедом:
Как ей помочь? Как вдунуть воздух в грудь?
А Черный Ветер, страшен и неведом,
Уже летит в ней искорку задуть...

* * *

Вечер душен, номер скучен;
Трудно в городе чужом;
Жаль,— не пью, к тоске приучен,
Жаль,— хмелею лишь с трудом.

А сейчас — «часы досуга»:
Оттабачил сотню строк,
И еще бежит упруго
В жилах ритменный поток.

Но чужому слову отдан
Стих, гранимый с юных лет,
И за горстку денег продан
В переводчики поэт.

За окном же кремль нерусский,
Башни мертвые над ним,
Черствой кирхи очерк узкий
Вколот в небо, в бледный дым.

А с эстрады над площадкой
Сквозь холодный фильтр ветвей
В слух мне льются мукой сладкой
Песни юности моей.

Мир иной напоминая,
Воскрешая мир иной,
Бьют мне в грудь волной Дуная,
Невозвратною волной.

* * *

Вот взяли, Пушкин, вас и переставили...
В ночном дожде звенел металл,— не ямб ли
Скорбел, грозя? Нет! попросту поправили
Одну деталь в строительном ансамбле.

Я встретил эти похороны времени:
Я мимо пролетел в автомобиле;
Я грустных видел в озаренной темени,
Где молотами по бетону били...

На прежнем месте в сторону Урала вы
Глядели — в те безвыходные дали,
Где пасынки одной зари коралловой
«Во глубине сибирских руд» молчали.

Вам не пришлось поехать к ним: подальше
Отправил вас блистательный убийца.
Теперь — глядеть вам в сторону Италии,
Где бог-насмешник не дал вам родиться.

* * *

Мы живем на звезде. На зеленой.
Мы живем на зеленой звезде,
Где спокойные пальмы и клены
К затененной клонятся воде.

Мы живем на звезде. На лазурной.
Мы живем на лазурной звезде,
Где Гольфштрим извивается бурный,
Зарождаясь в прозрачной воде.

Но кому-то захочется славой
Прогреть навсегда и везде,—
И живем на звезде, на кровавой,
И живем на кровавой звезде.

ДЕБЮТЫ



Вениамин Блаженный

* * *

Я мертвых за разлуку не корю
И на кладбище не дрожу от страха,
Но матери я тихо говорю,
Что снова в дырах нижняя рубаха.

И мать встает из гроба на часок,
Берет с собой иголку и моток,
И забывает горестные даты,
И отрывает савана кусок
На старые домашние заплаты.

* * *

Скажи, кого спасла твоя рука?
Спасла она дитя или старуху
Или она, как сети паука,
Опутывала гибнущую муху?

Скажи, кого пустил ты на порог,
Открыл ли двери беспризорной кошке,
Когда ты ел с оглядкой пирог
И огорчался, что рассыпал крошки?

Скажи, была рука твоя судьбой
Какой-то твари безымянно-робкой
Или вела собаку на убой,
Опутана палаческой веревкой?

СОЛЬ

Мне кажется, всю жизнь жевал я соль...
Не выходя из простодушной роли,
Я сдабривал свой день кусками боли,
И боль алмазно называлась — соль.
Мне кажется, что глыбой ледяной
Я стал и сам — мои мерцают грани
Разгневанною тайною страданий, —
Ведь стала соль таинственная — мной.

Григорий Шурмак

* * *

Когда припоминаем
дела минувших лет,
порой не замечаем,
где вымысел, где — нет.
Смешалось все бывшее
с мечтами пополам, —
с тем, как пережитое
прожить хотелось нам.

Аркадий Канькин

* * *

На вазе пузатой, по кругу,
за дичью несется стрела,
Певуча стрела и упруга,
а легкая лань весела.

А что ей робеть, быстроногой?
Летит уж веков двадцать пять
стрела, соколиное око
за ней, а не в силах догнать.

Есть странное очарованье
следить за смертельной игрой
меж нервной, стремительной ланью
и яростной хищной стрелой.

— То истина от оперенной
спасается мысли, — о том
рисунке талдычит ученый
и твердо стоит па своем.

На что мне его толкованье?
Едва постулат он изрек,
картинка погони за ланью
в сухой превратилась урок.

Взамен впечатленья живого
я сам стал судить да гадать,
возможно ль стреле, то есть слову,
лань, истину то есть, догнать.

Прелестная сцепка охоты
все вроде бы та же, ан нет:
в ней словно бы выключил кто-то
таинственный внутренний свет.

Владимир Дагуров

УЧИТЕЛЬНИЦА

Моя мама под лампой ночью,
когда дом наш становится тих,
к спящим детям садится спиной
и лицом к сочиненьям других.

В сочинении не про Наташу,
что мечтала летать в высоту, —
в сочинении том про Наташу,
ученицу ее, сироту.

По ночам в коммунальной квартире
в восстающей из пепла стране
чтобы так вот мечталось о мире,
надо детство обжечь на войне.

До утра наклоняясь к тетрадам,
мама правит ошибки всерьез
и с чернильными кляксами рядом
ставит кляксы незримые слез.

Что ж, отметку поставить так просто —
орфография тянет на два.
Но горит наподобье вопроса
недописанной двойки канва.

Завтра мама на чай и печенье
приведет ту Наташу домой.
— Наташок, молодец, — сочиненье
будто все о себе о самой...

Сочинение переиначат,
чтобы ровень стояло с Толстым,
и вдвоем, как подружки, заплачут
над Войною и Миром своим.

И Наташа — как будто Ростова —
улыбнется в ответ наконец...

Из-под города из-под Ростова
не вернулся Наташин отец.

Вадим Ковда

О МОДАХ

В своей оставайся личине,
блудя только совесть и честь.
К чему быть изящным мужчине —
в том что-то уродское есть.

Куда же катятся народы?
Приметы не сыщешь верней.
Позорные бабские моды
у дюжих мордастых парней.

Какое убожество нормы,
когда на тропе городской
парнишка на дамской платформе
и дамочка в кепке мужской

идут, щеголяя нарядом,
дурной демонстрируя нрав...
Я, чувствую, стал ретроградом.
Но, может быть, все-таки прав.

ВОЗРАСТ

С каждым годом труднее с людьми говорить.
Даже друга понять, даже сердце открыть.
Даже песню запеть, даже в праздник сплясать,
даже несколько слов о любви написать...

Только в ясные дали лесов и полей
с каждым годом смотрю все смелей.

Анатолий Горюшкин

БАЛЛАДА О КРЕСТОНОСЦАХ

Когда крестоносцев ряды
достигли пустынь аравийских,
я был лишь потоком воды
на вымокших пашнях российских.
Не медля и не торопясь,
стекал я по мокрому склону —
распаханной вотчины князь,
наследник безродной соломы.
Наставница-жизнь у ручья
учила послушные годы,
что сила — в руках у меча,
а правда — в ногах у природы.
Не медля и не торопясь,
дождем милосердным смывала
истории черную грязь,
прилипшую к мертвым забралам.

Майя Луговская

* * *

Ночь правды п неправд, свобод и
несвободы.

Невозвратимость, острая как боль,
А моря грузный вал качает неба своды
И поцелуи превращает в соль.

Ночь запахов, летящих брызг, огней.
Ограблен парк, бездомных листьев столько...
Ночь всхлынувших надежд, воскреснувших
теней.

Как сладко любится, как думается горько.

ЮРМАЛА

Вдоль моря я бреду потерянно.
По дюнам словно по волнам.
Вороны черные уверенные
Ступают по моим следам.

И чайка будто бы нечаянно
Задела серую волну
И, вскрикнув, взмыла так отчаянно
В серебряную глубину.

И сосны, за ночь поседевшие,
Стоят у инея в плену,
Свою застенчивость одевшие
В опаловую пелену.

А мне дыханья не хватает
Вобрать в себя всю глубь и ширь.
Но я в огромный этот мир
Крупницей крохотной вырастаю.

ДОЖДИ

Морозящий, промозглый, невидимый дождь,
Воровато шуршащий, вгоняющий в дрожь,
Безысходно тупой, холодящий, как нож.
Этот дождь превращается в грязь.

Дождь, как чудо, извергнутый небом,
Обернувшись чистейшим снегом,
Вырастает насущным хлебом.
Этот дождь превращается в жизнь.

Диомид Костюрин

* * *

По углам, дворам, подъездам жалась,
Пропадая в зной и холода,
А потом совсем исчезла жалость,
Не оставив за собой следа.

С той поры, как распростились с нею,
Стало — так ли, этак рассуди —
Взрослым — проще, ребятам — сложнее,
А зверью — господь не приведи.

Натэлла Горская

ГЛУХОВО НА РАССВЕТЕ

Сизого дыма соцветья,
дождика письмена.
Глухово на рассвете —
зачарованная страна.

Зябким и зыбким утром
нежатся на холоду
тени гусей и уток,
живших некогда на пруду.

Конь, отошедший в вечность,
пофыркивает у плетня.
Словно млечная бесконечность —
отуманенная стерня.

Сновиденья текут с деревьев,
чуть позванивая листвою,
и стала душа деревни
вербой береговой.

* * *

Нельзя итоги подвести
ни снам, ни чувствам, ни работе...
Ведь на последнем повороте,
где слово горькое «прости»,

как баррикада на пути,
ты постигаешь — на излете —
всей мудростью души и плоти:
тебе дано травой расти,

буравить тяжкий пласт песка
и пелену сырого снега,
и вдруг увидеть облака,

и вырваться в апрель с разбега,
чтоб тонкой стрелки стебелька
коснулась детская рука.

Владимир Лазарев

ДРУЗЬЯ ЮНОСТИ

Я знаю, викакой моей вины...
А. Твардовский

Не всех уже встречу отныне
Друзей, с кем я вышел в рассвет.
Я жил одинаково с ними
Как будто. А их уже нет.
Их опытом горьким научен,
Себя я не вправе корить.
Я думаю: рок или случай,
Он мог и меня бы накрыть.

И все-таки голос тревожный
Твердит, охлаждая мой пыл,
Что был я в пути осторожней,
Быть может, лукавее был...

Александр Юдахин

СЫНУ ИВАНУ

Прошел сквозь пожары, и воды,
И медные трубы, а там
Подумал, что в мирные годы
Я, кажется, все испытал.
Не то чтобы был я доволен
Собою,

но, как на суде
Защитник, я думал, что волен
В чужой разобраться судьбе.
И счастье я видел на свете,
И горькое горе видал.
Хозяином жизни и смерти
Своей я себя называл.
И так бы считал я упрямо,
Когда бы, молчанье храня,
Твоя большеглазая мама
И ты не сломали б меня...
Как я по-звериному дико
Предчувствовал стон твой и всхлип

Хотя от больничного крика,
Ты, как от удавки, охрип.
Давно оглушенный бедою,
Мне лечащий доктор не врал...
Я вместе с тобой умирал,
И выжил я вместе с тобою.
Сильнее разлук и свиданий
Жену мою этой весной
Связали навеки со мной
Отчаянье и состраданье...

Елена Николаевская

* * *

Перрон гудит и беспокоится
В дни будничные и субботние...
Не ждите следующего поезда —
Он не окажется свободнее!

Вы этого не представляете,
А мне по опыту известно,
Что только время потеряете
И не приобретете места...

Вскарабкиваясь на подножку
И с силою вцепляясь в поручень,
Так рассуждаю понемножку —
И вывод мой безоговорочен.

Влезайте — и не тратьте попусту
Минут... А то не поздоровится...
Не ждите следующего поезда,
Он, может быть, не остановится.

А может, этот вот последний?..
И в тамбуре, в изнеможении,
Едва дыша в толкучке летней,
Я постигаю смысл движения.

Елена Благинина

* * *

Как холодно и как темно!..
О сердце, не грусти!
Я прозябаю как зерно,
Чтоб завтра прорасти...

СТАРИК

Еще один денек подарен, —
Стоит смиренно у окна...
О, как я небу благодарен,
Что в миге жизнь заключена.

МОГИЛА ВОЛОШИНА

Не море сияет, и блещет,
И плещет в глаза синевой,
А плачет металл, и скрежещет,
И жалуется, как живой.

И в скрежете этом постылом,
Всегда — наяву и во сне —
Я помню о берегу милым,
О кроткой его тишине.

О той невысокой вершине,
Где солнечно и ветрово,
Где спят, неразлучны отныне,
Поэт и подруга его.

1980

КОМАРОВО

Как живется, затворлица,
На том берегу?
Хороша ль твоя горница
В последнем снегу?

Может, елки не ластятся
Иль не желты пески?
Иль земное злосчастье
Память рвет на куски?

Иль в небесной хоромине
Ты светла и легка...

И течет «Anno Domini»
Над тобой, как река.

ЕЛАБУГА

В Елабуге бело от вьюги,
Мороз в Елабуге, поди?
...Я не прошу к тебе в подруги
Ты так... как гостя посиди.

А может быть, на раскладушке
Переночуешь в добрый час?
У нас есть лишние подушки,
И одеяла есть у нас.

Покуда будешь спать, поклажу
Твою маленько разгляжу:
Что постираю, что поглажу,
А где — заплатку наложу.

Отведай пирожка, Марина,
Испей домашнего винца!..

Твоя бессмертная кончина
Не кончится...

Ей нет конца!



8 октября 1982 года Марине Цветаевой исполнилось бы девяносто лет. Она умерла, не дожив и до сорока девяти. Сделанного же ею хватило бы на нескольких поэтов. Ее сочинения, включая письма, собранные воедино, составили бы верных десять томов, а при большей полноте — и двенадцать. Необычайное упорство в труде, одержимость творчеством; способность полностью отменить все отвлекающее, абсолютная сосредоточенность над своим делом — эти черты составляли суть таланта Марины Цветаевой. не по-женски мощного и разностороннего.

Знакомство с цветаевским литературным наследием и его изучение в настоящее время все сильнее и неуклоннее растет. С каждой очередной публикацией ее стихотворений, прозы, писем, с каждой новой, хотя бы и небольшой, работой о ней усиливается чувство восхищения и удивления перед масштабами ее дарования, перед его диапазоном, многообразием — и мужеством. Этот поэт (именно — поэт!) был во всех отношениях безмерным.

Однажды Марина Ивановна занесла в тетрадь следующую запись, — вернее, свой сердечный сток: «О боже ты мой, как объяснить, что поэт — прежде всего — СТРОИ ДУШИ!»

Ее строй души был романтическим, на высокий лад, и проявлял себя во всем, что бы ни писала Цветаева: в лирических стихотворениях, в больших русских поэмах-сказках, в трагедиях на сюжеты из восемнадцатого века или античные, в воспоминаниях-эссе о поэтах-современниках...

В шести стихотворениях сравнительно раннего периода, впервые предлагающихся читателю, запечатлена трагическая, мятежная и безмерная личность Марины Цветаевой.

А н н а С а а к я н ц

БАЙРОНУ

Я думаю об утре Вашей славы,
Об утре Ваших дней,
Когда очнулись демоном от сна Вы
И богом для людей.

Я думаю о том, как Ваши брови
Сошлись над факелами Ваших глаз,
О том, как лава древней крови
По Вашим жилам разлилась.

Я думаю о пальцах, очень длинных,
В волнистых волосах,
И обо всех — в аллеях и в гостиных —
Вас жаждущих глазах.

И о сердцах, которых — слишком юный —
Вы не имели времени прочесть,
В те времена, когда всходили луны
И гасли в Вашу честь.

Я думаю о полутемном зале,
О бархате, склоненном к кружевам,
О всех стихах, какие бы сказали
Вы — мне, я — Вам.

Я думаю еще о горсти пыли,
Оставшейся от Ваших губ и глаз...
О всех глазах, которые в могиле.
О них и нас.

Ялта, 24 сентября 1913 г.

* * *

Свободно шея поднята,
Как молодой побег.
Кто скажет имя, кто — лета,
Кто — край ее, кто — век?

Извилина неярких губ
Капризна и слаба,
Но ослепителен уступ
Бетховенского лба.

Светло-коричневым кольцом
Слегка оттенены,
Владычествуют над лицом
Глаза, как две луны.

До умиленности чист
Истаявший овал.
Рука, к которой шел бы хлыст,
И — в серебре — опал.

Рука, достойная смычка,
Ушедшая в шелка.
Неповторимая рука,
Прекрасная рука.

10 января 1915 г.

* * *

И взглянул, как в первые раза
Не глядят.
Черные глаза глотнули взгляд.

Вскинула ресницы и стою.
— Что, — светло? —
Не скажу, что выпита дотла.

Все до капли проглотил зрачок.
И стою,
И течет твоя душа в мою.

7 августа 1916 г.

* * *

На завитки ресниц
Невинных и наглых,
На золотой загар
И на крупный рот, —
На весь этот страстный,
Мальчишеский, краткий век
Загляделся один человек
Ночью, в трамвае.

Ночь — черна,
И глаза ребенка — черны,
Но глаза человека — черней.
— Ах! — схватить его, крикнуть:
— Идем! Ты мой!
Кровь — моя течет в твоих темных
жилах.

Целовать ты будешь и петь,
Как никто на свете!
На смерть
Женщины залюбят тебя!

И шептать над ним, унося его на руках
по большому лесу,
По большому свету,
Все шептать над ним это странное
слово: — Сын!

30 августа 1916 г.

* * *

Через снега, снега —
Слышишь голос, звучавший еще в Эдеме?
Это твой слуга
С тобой говорит, Господин мой —
Время.

Черных твоих коней
Слышу топот.
Нет у тебя верней
Слуги — и понятливей ученицы.

Рву за цветком цветков,
И целует, целует мой рот поющих.
— О бытие! Глоток
Горячего грога на сон грядущий!

15 ноября 1916 г.

* * *

Да будет день! — и тусклый день туманный
Как саван пал над мертвою водой.
Взглянув на мир с полуулыбкой странной:
— Да будет ночь! — тогда сказал другой.

И, отвернув задумчивые очи,
Он продолжал заоблачный свой путь.
Т е б я пою, родоначальник ночи,
Моим ночам и мне сказавший: будь.

Июль 1917

ПУБЛИКАЦИИ



Дмитрий Кедрин 1907—1945

Когда я вспоминаю детство, то всегда рядом с собой вижу отца. Мама рано утром убежала в ликбез учить грамоте колхозниц, а мы с отцом оставались дома. Правда, мы были не одни: в нашей маленькой комнате висело двенадцать клеток, в которых жили шустрый чижик, с ладони клевавший зерно, ученый скворец Васька, каждое утро картаво кричавший: «Кедр-р-рин, пор-р-ра, порра!..», две канарейки, щегол, зяблик и другие птицы. Одни заводили свою песню на рассвете, другие не умолкали целый день. А летом в нашем палисаднике полыхали маки, посеянные отцом. Вечером цветы осыпались, а утром распускались новые. Отец, сидя во дворе на низкой скамеечке, мастерил клетки для птиц, а также игрушки для меня.

Как сейчас помню подмосковный поселок Черкизово. Зима, вечер. Отец в белой пушистой шубе с черным воротником, в шапке-ушанке идет проезжей дорогой к станции и крепко держит за руку меня. Скрипит и переливается снег, сияют звезды, над крышами домов поднимаются высокие дымы.

Помню папиных друзей, особенно хорошо — Кайсына Кулиева, тогда молодого, тонкого в талии, голубоглазого, рыжеволосого, в зеленой шинели, белых перчатках, блестящих сапогах. Ходил он легко, будто танцует, и мы с братом Аликом обожали его. Когда братишка видел Кайсына, он кричал: «Абрек идет! Абрек идет!» Если приходил «абрек», до полуночи в нашей комнате звучали стихи Лермонтова, Бунина, Блока, Лорки.

Из всех праздников мне больше всего запомнился предвоенный Новый год. Я просыпаюсь утром и вижу елку — зеленую, украшенную блестящими шарами, со звездой на макушке. Под елкой — подарки, и среди них альбом с папиными стихами для меня.

А потом началась война. Отец просил Мытищинский райвоенкомат послать его на фронт, но из-за высокой близорукости ему отказали. Вместе с другими жителями поселка он роет во дворах укрытия, патрулирует на улицах.

Фашисты рвутся к Москве. Я не узнаю отца — он молчалив и сосредоточен. 16 октября 1941 года наша семья пытается эвакуироваться, но безуспешно: просидев три дня на Казанском вокзале, где пропал папин чемодан с рукописями, мы возвращаемся домой. Наша комната занята соседями, и первую ночь мы проводим на открытой летней террасе, а потом по просьбе знакомых, уезжающих в Ташкент, занимаем их квартиру.

Отец каждый день в большую тетрадь записывает стихи. Однажды я открываю эту тетрадь и по складам читаю: «День гнева». Так он собирался назвать свою книгу о войне.

Как-то папа возвращается из Москвы оживленный, в приподнятом настроении, высоко подкидывает к потолку брата.

— Ты почему такой веселый? — спрашиваю я.
— На фронт, доченька, еду, к летчикам! Ура!
— Ура! — кричу я.

Отец уезжает на Северо-Западный фронт в армейскую газету «Сокол Родины».

Теперь вместе с другими ребятами я бегу встречать почтальона и еще издали кричу:

— А нам есть?

Женщина-почтальон дает мне большой серый конверт или маленький фронтальной треугольник. В больших конвертах отец присылает газеты, в которых помещены его стихи, статьи и фельетоны.

Я смеюсь, когда мама говорит мне, что «Вася Гаптекин» — это папа, так он подписывает некоторые свои сатирические стихи.

В одном из писем маме отец пишет:

«Здесь познакомился я с мальчиком. Ему 11 лет, зовут его Володя, мать и отца у него убили немцы. Его взял к себе на воспитание полк. Он ходит в форме, с револьвером: в погонах, учится, выполняет легкую работу. Он подтянут и дисциплинирован. Расскажи о нем Светланочке».

А вот отрывок из другого письма:

«Поцелуй от меня Светланочку крепко-крепко за хорошие отметки. А все-таки, хоть ты меня и бранила за то, что я с ней занимался, я думаю, что немного помог ей в смысле организованности в учебе. Альку за его проделки особенно не брани: нехорошо, когда людям омрачают детство».

Отец очень волнуется о нас — спрашивает в письмах, есть ли у нас дрова, картошка, хватает ли нам хлеба.

Однажды открывается дверь — и входит папа в военной форме, держа за руку брата. Мы с мамой на минуту онемели от изумления, потом кинулись обнимать и целовать отца. А он, смеясь, рассказывал: «Иду я по нашей улице, вдруг сбоку ко мне пристраивается какой-то малыш. Я спрашиваю его: как тебя зовут? А он отвечает: Акой меня зовут, а я тебя сразу узнал — ты мой папа».

Отец сбрасывает с плеча вещевой мешок и выкладывает на стол сахар, целую буханку черного хлеба и большой кусок сала.

— Это все нам? — спрашивает Алик.

— Вам, — отвечает папа. — Тебе, Светланочке, маме, а еще гостей надо угостить.

— У нас будет пир? — спрашивает брат.

— Пир на весь мир, — смеясь, отвечает папа.

Его совсем невозможно узнать: он в гимнастерке,

в галифе, в сапогах. на груди у него медали «За боевые заслуги».

Вскоре отец снова уезжает на фронт, и я с ребятами опять каждое утро бегу встречать почтальона.

В одном из своих писем с фронта отец пишет: «Теперь я до конца войны солдат».

И еще я помню сентябрь 1945 года, когда под огромным дубом на Введенском кладбище хоронили моего отца. Я не видела его мертвым, может быть, поэтому мне с детства снится один и тот же сон: будто открывается дверь и входит мой отец — молодой, с волнистой прядью волос, спадающих на высокий лоб, с добрыми веселыми глазами.

В этом году ему исполнилось бы 75, но для меня он навсегда останется таким, каким я его помню, — тридцативосьмилетним.

Предлагаем читателям неопубликованные стихи Дмитрия Борисовича Кедрина, написанные им в разные годы.

Светлана Кедрова

* * *

Вздохмаченный, — немый и седой,
Прошел от Борисфена до Урала —
И Русь легла громадной бороздой,
Как тяжкий след его орала.

А он присел на пашню у сохи,
Десницей отирая капли пота,
И поглядел: кругом серели мхи,
Тянулись финские болота.

Он повалил намокший темный стог
Под голову, свернув его охажкой,
И потянулся, и зевнул, и лег
От моря к морю, и прикрылся шанкой.

Он повод взял меж двух корявых лап,
Решив соснуть немного и немало.
И захрапел. Под исполинский храп
Его кобыла мирно задремала.

Степным бурьяном, сорною травой
От солнца скрыт, — он дремлет век и боле,
И не с его ли страшной головой
Руслав сошелся в бранном поле?

Ни дальний гром не нарушает сна,
Ни птичий грай перед бедою,
И трижды Русь оплетена
Его зеленой бородою.

НЕПОГОДЬ

Сегодня выпал день хороший:
С утра осенний дождик льет.
Теряя в слякоти калоши,
Идет по улицам народ.

Туман висит у самых кровель,
Густой и белый, словно чад.
И с гулом падающих бревен
В Москве зенитки не стучат.

Конечно, вечером сегодня
Не вспыхнет ни одна звезда!
И, расхраб्रившись, точно ходят
По расписанью поезда.

Бранить погоду нет причины,—
Остались немцы на мели.
Недаром выбрились мужчины
И дамы брови подвели.

В трамвае слышатся остроты,
Друг друга бабы не честят.
Всем ясно: вражьи самолеты
Сегодня к нам не прилетят!

КОЛОКОЛА

Видно, вправду скоро сбудется
То, чего душа ждала:
Мне весь день сегодня чудится,
Что звонят колокола.

Только двери в храме заперты.
Кто б там стал трезвонить зря?
Не видать дьячка на паперти
И на вышке звонаря.

Знать, служение воскресное
Не у нас в земном краю:
То звонят чины небесные
По душе моей в раю.

Петр Кошель

* * *

Кружатся чайки над Бугом,
не уставая кричать.
Что загрустила, подруга,
нам ли с тобой горевать?

Нам ли осенней порою,
годы свои торопя,
не заниматься игрою,
внове придумав себя?

По закоулочкам Бреста,
то исчезая, то вновь
не находя себе места,
шляется наша любовь.

Носятся чайки над Бугом.
Дыши прохладой высь.
Дай мне, пожалуйста, руку.
Милая, не оступись.

* * *

Не хватит жизни расплатиться
за эти улицы, где след,
твой быстрый след легко струится
и сходит медленно на нет,
за воздух из цветного ситца,
за то, что умирать легко,
не хватит жизни расплатиться
за шорох платья твоего.

* * *

Кто я? — Падающая звезда
или ветер, во тьме летящий?
Кто я? — Шорох в полночной чаше
или шумные города?

Ухожу я от вас навек,
полюбовницы и собратья,
это я — вон тот человек
на больничной белой кровати.

Татьяна Бек

* * *

Открывается даль за воротами —
Неуютно, тревожно, светло...
Мы поэтами, мы обормотами
Были, были, да время сошло.

Ты играл со звездой, как с ровесницей, —
Для того ль, чтобы нынче брести
Этой полупарадной лестницей,
Зажимая синицу в горсти?

Для того ль ты скитался бездомником,
Подставляя ненастью тетрадь, —
Чтобы впредь по чужим одномникам
Равнодушно цитаты искать?

А ведь живы — и ветер, и заросли
Чистотела, и наши следы
Как рассказ о несбывшемся замысле
Вдохновения, детства, беды.

СВЕРСТНИКУ

Я расскажу тебе впотьмах,
Вполголоса, скороговоркой
Про город на семи ветрах,
Стоящий кротко за «Вечеркой»,
Где я росла; где даже бред
Бульварной изморози ржавой
И тот был понят и воспет
Магнитофонным Окуджавой;

Егор Самченко

* * *

Траве не больно? Больно ей.
Не наступай ногой. Довольно.
Как мне, ей холодно и больно,
А ведь меня топтать трудней.
А может, в зелени ветвей,
В узлах ожившего ствола —
Глаза страдающего зла?
И беззаботен, и жесток
Летит весенний ветерок?

ЖЕНА

Я жене говорю: «Постой,
Видишь ворона надо мной?»
Отвечает, кивнув головой:
«Вижу ворона над тобой».
Говорю: «Что чувствуешь ты?
Не случится со мной беды?»
Отвечает — и губы тверды:
«Не случится с тобой беды».

ПРОХОЖИЙ

Он быстро вышел из метро,
Я точно помню, что светло
Мне стало. Прихоть и свобода —
Вот был о чем лица рассказ!
Остановился возле нас
У занятого перехода
И тут же, прислонясь к столбу,
Он закурил. Взглянул на время,
На лица, улицу, деревья —
Как будто выпрямил толпу!
Из послезавтрашнего дня
Как будто глянул на меня,
Неуловимо темнокож, —
О как на Пушкина похож!

Надежда Кондакова

* * *

Я знаю, что это взаимно:
И поле, и сумрачный лес,
И дед мой, что в ватнике зимнем
В годах довоенных исчез,
И бабушка, что голосила,
Когда похоронки пошли,
Как будто нечистая сила
Мела их из глубы земли.
Я знаю, что слезы не спрячешь,
Что горько земли бытие,
Когда от взаимности плачешь,
Уткнувшись в ладони ее.

ОДА ЖАРКОМУ ЛЕТУ

Чертополох заполошного лета.
Милый! — кричу я из прошлого, — где ты?
По свету нас разнесло, и руки
Жадно касаются лишь сквозняки.
Жарко в Москве, но они вездесущи,
В куще, в людской, человеческой гуще, —
Тысяча лиц, а лица не видать...
Милый! — кричу я. Не слышно опять.
Чертополошное, яркое время —
Лучший пролог к недозволенной теме,
Что возникает из бездны, слепя, —
Где ты? — кричу и не слышу себя.
Так вот и жизнь — все по кругу, по кругу...
Только протянешь доверчиво руку —
Сразу отбросит взрывною волной —
Чертополошной любовью земной.
Улицы города дышат простудой,
Ходят в жару за тобой сквозняки
В гуще московского сброда и люда —
На расстоянии теплой руки.

Ольга Ермолаева

* * *

Мне страшно, что вольная стая
Подхватит меня на бегу,
И девочку не воспитаю,
И маму позвать не смогу...
Утратятся связность и цельность,
Крыла опадут за спиной,
И в легких одна драгоценность
Останется — воздух земной...
И в сфере небесной пространной
Во все остальные века
Бесформенной и безымянной
Я буду, как все облака...
Мне страшно, что в мире жестоком,
Все вынеся, все претерпя,
Я вдруг пропаду ненароком
И не нагляжусь на тебя.

* * *

Ты все-таки пришел за мной!
Я дотерпела наконец...
Как в зал казенный, в зал пустой
За дочерью своей — отец.

О, побледневший, это ты,
В шинели, пахнущей дождем,
И шрам мальчишеский — лучом,
И на просветах — две звезды.

С тобою в нежность, и на бой,
И в самый дальний гарнизон.

Ты облачной моей душой
Пребудешь вечно обрамлен.

В щелях, где тесно и темно,
Где судорогой жизнь свело,
У нас любовное вино
В груди, как розы, цвело.

За то, что, справедлив и крут,
Ко мне доверчиво приник,
Когда другие не пойдут,
Пойду на шхельдинский ледник!

Ах, все ж узнала на веку
Мужскую стать, казачью прыть!
Я при тебе одному
В альбом Камчатки слезы лить...

Геннадий Касмынин

ВАМ, КОГО ЛЮБЛЮ...

Лежишь тиха, как свет ночной,
А разметалась, будто вольница
Слух протянулся в ночь длинной,
Подушка перышками колетя.
И пахнет глаженным бельем
И теплотой плеча родимого,
И ночь идет, и мы вдвоем,
И ты, любовь,

веди, веди меня.

Не понимая, в край какой,
В какие дни — ночные пажити.
Я прикасаюсь к ним рукой
И слышу то, что вы не скажете —
Ни ты, любимая моя,
Вдвойне любимая, но спящая,
Ни ночь, как черная скамья
И женщина на ней сидящая,
Ни ты, неугасимый свет,
Так неохотно прибывающий, —
Никто не скажет правду лет...
О вещи мои товарищи!
Молчите вы, а я не сплю,
Я слышу вас, мои родимые,
И ты, любовь, веди, веди меня, —
Я вижу вас, кого люблю...

Лидия Григорьева

ШМЕЛЬ ЗЛОТИСТЫЙ

Необратимая жизнь — коротка,
мчится, на стыках грохочет
Шмель золотистый в устье цветка
долго и нежно хлопочет.

И, за витком завивая виток,
в звоне зеленого зноя,

шмель золотой окунает в цветок
тело свое молодое.

Зной бесноватый, соленая муть,
грохот вблизи автострады.
Жизнь коротка, но ее обмануть —
нет возделенной отрады.

Не перестанет и не улетит,
далью влекомый душистой,
видишь — витает, слышишь — гудит
шмель золотой и пушистый.

Венчиком дымным стоит над цветком
жаркий дурман аромата.
Это не важно, что будет потом, —
жизнь коротка, но чревата.

Владимир Бояринов

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН

Жили-были старик со старушкой
Да еще несмышленный внучок
Пахнет липовым медом и стружкой,
И поет позапечный сверчок.

Если дедушка внука обманет —
Не грешно ли на старости лет:
«Только утренний колокол грянет —
И нечистая сгинет на нет...»

Что со мною случилось с восходом
И не вербный приснился ли сон?
Пахнет стружкой и липовым медом,
И малиновый плещется звон.

Этот звон собирали по горстке
Поколенья на русской земле
И в увенчанном Лаврой Загорске,
И в забытом рязанском селе.

Чтобы лебеди в небе рыдали,
Чтобы вечно родова жила,
Неспроста звонари называли
По-семейному колокола.

И скликали в лихую годину
Мир честной на разгон воронья
И «Митрошка» — по младшему сыну,
И былинного склада «Илья».

А когда отливали — от сглаза
Небылицами тешился люд.
«Это надо же! — выше указа
Воеводского колокол льют».

И поныне тропкою окольной
Не объедешь и не обойдешь

Звон малиновый, звон колокольный,
Небеса обращающий в дрожь.

«Жили-были...» — и рвется на части
Старой сказки суровая нить.
«Грянет колокол...» — это на счастье
По весне начинают звонить.

Александр Шуплов

* * *

Надо мною деревья катают волну за волною.
Оттого и живу, что накрыло зеленой волной.
В деревьях старики вспоминают войну за

войною.
Оттого и живу, что родился с последней
войной.

Голубым ливняком до расщелин расперта
кадушка,
ходит облако в небе, и гнет азиатский борей.
Оттого и живу, что монгольской крови
четвертушка,
словно сабля, прошила три четверти крови
моей.

Оттого и живу, что Радищев сидит в
арестантской,
Маяковский идет по Москве, выпирая кадык,
и Ахматова спит в предвоенном своем
Ренессансе —
только кожа в гармошку на веках ее молодых.

...А когда я умру и дорога во мне станет далью,
заскулят непоглаженно листья, деревья,
щетки,—
я хочу, чтоб несли впереди не подушку с
медалью,
а подушку с невыстывшей вмятиною от щеки.

Людмила Олзоева

* * *

Да будут помыслы чисты,
чисты и слово, и поступок.
Я так ждала течебя, и ты
остановил течебье суток.

Есть путь: или уйти в мираж,
иль отражаться в человеке.
Уж лучше ты меня предашь,
чем я предаю тебя навеки.

Пока стремленье в нас живет
и отступает тьма кругами,
откроется за сводом свод,
как радуга, семью цветами.

Наталья Аришина

ПЕСНЯ

Серые доски подмостков,
слабые для переростков.
Гнется, ломается хор.
Вместе с частицами пыли
звуки нестройно поплыли
в школьный затопленный двор.
Только не я запеваля.
Робко я сбоку стояла,
вторила, спрятавши взор.
Как я тогда ни старалась,
пение мне не давалось
и не давался задор.
Благо бы не было слуха!
Пой, чтоб исчезла разруха!
Пой, чтоб забылась война!
Пой из последних силенок,
послевоенный ребенок,
тут ведь не стройность нужна.

Лариса Тараканова

ГОЛУБИ

Прилетели. Сели на перила.
Покосились молча на окно.
Подошла. Окно приотворила.
Высыпала крупное зерно.

...Милый, обейми меня за плечи,
Улетим куда-нибудь вдвоем.
Говорят, отсюда недалече
Есть лесок и чистый водоем.

Поклевали. Встали. Улетели.
Пусто. Неприкаянно. Темно.
Милая, ну что ты в самом деле!
Затвори, пожалуйста, окно.

КРАПИВА

Когда-то была незлоблива —
Крапива.

А нынче колючею стала.
Устала.
Все лето вилась изумрудная грива,
Рвалась от забора
И ветер хлестала.

Садовник пришел в рукавцах из жести
И грядку наметил на бросовом месте.
Но трудно сорняк оторвать от земли:
Могучие корни глубоко вросли.

Крапива рвалась и кусалась, как дьявол.
О, лучше бы ей никогда не родиться.
Взбегает по телу брезгливая дрожь:
Не трожь!

Напрасно его голенища хлестала,
Напрасно — открытой щеки не достала
И рук не сумела обжечь.
...Всю ночь пролежала в проточной канаве
И что-то плела о лекарственной славе,
Держала невнятную речь.

И долго — свидетели маленькой драмы —
Осколки мерцали из мусорной ямы,
И в почве проделывал ход
Невидимый днем и воинственный к ночи
Весьма осмотрительный крот.

Татьяна Смертина

ПО ЧЕТВЕРТОЙ ТРАВЕ

Обещался к весне,
Да весна-то не скоро —
По четвертой траве
Ходит ваша корова.
Мать-то вся изждалась,
О тебе ее речи,
Каждый день свежий квас
Ставит за печью.
Видно, стала стареть,
Все болит голова.
В ней давно уже смерть
Гнездо завила.
Только мать не сдастся
И в страду, в сенокос
Со своими граблями
Прибегает в совхоз,
Норовит ведь порой
Прямо с девками в строй...
И сквозь лупу
В день светлый
Вслух читает газеты...
Ты нагрять к ней! Нагрять...
Леший, блудный ты сын!
Ты ей тихо: «Мамань,
У тебя я один...»
Опоздаешь с гостем —
Не осудит твой дом.
Снимешь доски с окон...
Все-то цело, но пусто!
В клетки скисла капуста.
Возле зеркала — мрак,
Да, в сатин обмотнен,
Виснет новый пиджак,
Для тебя припасен.

Сергей Мнацаканян

* * *

Мне отчаянно повезло,
что аукался и метался,
но, как дерево, не сломался
и не проклял свое ремесло.
Мне отчаянно повезло
в этом яростном хвойном мире,
в этом городе, в этой квартире
прошлой осенью, этой весной.
Мне отчаянно повезло,
что душа раскрывалась трудно,
и звенело в телефонной трубке
твое утреннее «алло»...
И ломилась метель в стекло,
и в озерах звезда шуршала,
в переулках земного шара
мне отчаянно повезло...
Мне отчаянно повезло,
что зовущееся судьбою
вместе с радостью, вместе с болью
обращается не во зло.
Заносило — и занесло,
убаюкивало ночами,
но ни гордости, ни печали, —
отнимая, не отняло...
Да, наверное, повезло,
что не как-нибудь, не иначе,
что люблю тебя, неудача, —
так отчаянно повезло.

Праида Потехина

* * *

И ссора кончилась уже,
а примиренья мед не сладок.
Отбушевала боль в душе,
обида выпала в осадок.

Его не смыть, не растворить
слезой раскаянья притворной.
Он углем жалящим горит,
припорошенный пеплом черным

терпенья. Выгорит душа.
И оглянусь назад во мраке.
Зачем, безумием страха,
свобода подает мне знаки?

* * *

— Подумаешь, год... — мне сказали. —
Он быстро пройдет. Погоди... —
И годы, как кони, скакали,
все лучшие там, впереди.

Не успела гнедая заржать.
Может, пуля и не промахнулась...
Пусть волчица, а все-таки мать
С теплым мясом к волчатам вернулась.

Занимался в низине рассвет,
От росы луговина навоггла.
Нет волчицы, и лошади нет.
Над обеими плакал я долго.

Лорина Дымова

* * *

Это жизнь:
переезды и ссоры,
неба зимнего серый свинец.
Это жизнь...
Лишь бы только не скоро
наступил нашим бедам конец.

Это жизнь...
Суета и обиды.
Нет денег. Убого жилье.
Но признайся, что только для вида
ты нещадно ругаешь ее.

Ведь всегда на другой ее чаше —
свет в окошке и в небе звезда,
золотые мгновения наши,
радость взлета
и сладость труда.

Лишь бы только чуть-чуть перевесил
чашу вечных вселенских весов
груз небесных пленительных песен
и любимых земных голосов.

Юрий Могутин

ОСЕННИЙ ЭСКИЗ

Невзрачная пора —
Осенняя распута,
Слезливых крыш парад
И настроений смута.

И тяжкий вздох коров,
И ранний скрип уключин
Средь займищных соров
И осетров колючих.

Матеры и сыты
От летнего нагула,

Как бревна — осетры
Среди рыбешки снулой.

А в ериках сазан
Залег к зиме по ямам.
И оскудел базар
Лещами да сомами.

Невзрачная пора,
Осенняя распута...
Вдруг — словно с плеч гора —
Зима на парашютах.

Хандру долой. И с плеч
Спать весла. Вспомнить лыжи.
Так сладко дышит печь!
Так белоснежны крыши!

И на пустой реке
Не встретишь браконьера...
Две лодки на песке,
Как туфли Гулливера.

Андрей Чернов

АВИАТОР

Умастив золотым вазелином
Пезакрытые части лица,
Авиатор Васильев над Клином
Государство читает с листа.

Точно в сказочке детской,
Над всеми
Он дозорно сидит, высоко.
И ветрами сгущенное время
Нарезает на дольки легко.

И как будто
Прочерчена круто
В параллель горизонту — черта.
И хотя пролетела минута,
Мимо уха летят почему-то
Лихолетья, столетья, лета.

Осторожней, поручик Васильев!
Осторожней, кому говорят!
Ну как, этой игры не осилив,
Долбанете сейчас аппарат?

Вашей крепкой машине фанерной
Не по крыльям сие синема.
За бортом год 10-й, трехмерный.
Не сходите, поручик, с ума.

Пахнет облако — керосином,
А небесные кочки — золой.
И не надо пророчеств над Клином
И фантазий над бедной землей.

Ну, почудилось.
Ты ж не в убытке,
Рекордист, и кумир, и герой.
Точкой в небе,
Штрихом на открытке,
В юбилейном издании — строкой.

Мол, во времени полубылинном
(Ровно в три — по полудню — часа)
Русский летчик Васильев
Над Клином
Видел город, селенья, леса.

СЛОВО

Сто девяносто восемь лет
Хозяин занят был делами,
А неразрезанная книга
Ждала, как верная невеста.

198 лет
С нее усердно пыль стирали,
И крепостная девка Санька
Уж домработницей звалась.

198... впрочем,
Ничто не вечно под прекрасным,
Под кабинетным абажуром.
Вчера хозяин умер.
Книгу
От букиниста я принес.
И вот сижу над ней сегодня,
Вязальной спицей разрезаю
Пепожелтевшие страницы.

Вдруг там такое говорится
И впереди такое слово,
Что нам и не могло присниться
Два века ничего такого.

А вдруг, сейчас вот, ментально,
Откроется такая тайна,
Такой негаданный секрет,
Что по-иному бы мы жили,
Не плакали и не тужили
198 лет.

МЕМОАРЫ



Михаил Львов

ЮНОСТЬ ОДЕРЖИМЫХ

Мой друг Константин Ваншепкин звал меня несколько раз, чтобы я скорее написал воспоминания о Литинституте для юбилейного сборника. Я благодарил и собирался все писать и оживлял в памяти те дни.

Пришви́н мечтал довести силу слова до физической осязаемости и действительности.

И силу воспоминаний хочется тоже довести до возможности физически вернуть вспоминаемое — как сменить декорации в театре — взять и руками отодвинуть эти и поставить те, в коридор института — вместо сегодняшних, незнакомых мне юношей — вернуть живого Колю Майорова, Мишу Кульчицкого, Когана, Лукошина, Наровчатова...

Но это же невозможно сделать! Тогда зачем «вспоминать»? И откладываешь, и откладываешь...

Но раз нельзя придать нашим воспоминаниям, словам сверхъестественную силу, будем скромными человеческими средствами рассказывать о нрожитом...

Я жил тогда в Челябинске.

Уральский поэт Виктор Губарев рекомендовал мне поступить в Литинститут, на заочное отделение. Дал мне адрес института, рассказал, как проехать — от Казанского вокзала — до Охотного ряда, оттуда — вверх по Горького — пешком — до Тверского бульвара, до Пушкина — потом налево... до Дома Герцена... Я так и сделал. Шел по Москве — впервые — точно, нацеленно, ни у кого не спрашивал, как пройти к институту (у провинциалов своя гордость!). А через неделю я уже отлично знал центр Москвы и сам объяснял другим, как куда пройти...

Захожу в институт. Первое, что бросилось в глаза, — стенгазета. В конце нарисован почтовый ящик и — подпись:

Студенты разных поколений,
Пишите срочно на предмет
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Я понял, что попал в Литинститут!

Обратил внимание на объявления, диаграммы, списки сдачи зачетов. (У Симонова кругом были отметки «отлично».)

Надо сказать, что — позднее увидел и понял — стенгазета здесь была серьезным печатным органом — потом читал там стихи Яши-

на (особо запомнил «Песочные часы»), Луконина (финский цикл), Наровчатова («Бабы рязанские») и др. Как некий альманах лицестов.

Стихи Симонова мы уже знали. Они не так обвораживали, как стихи Смелякова, но несли в себе что-то крепкое, прочное, основательное и последовательное.

Этот человек собрался в долгую дорогу.

И хорошо чувствовал время, в котором жил.

Здесь Симонов начинал свой будущий портрет.

Года через два как-то увидел я в руках у Кульчицкого «Молодую гвардию» с большим циклом стихов Симонова, спросил:

— Что, неплохие?

— У Симонова плохих стихов не бывает.

А перед этим он цитировал мне его стихи о Горьком, особо выделяя строки:

Большие руки — брать врага за горло.

Высокий рост — чтоб глаз с них не спускать.

Но это все — позднее. А пока я — провинциал, приехавший поступать в Литинститут. Сдал документы, заявления. Пошел искать гостиницу... Мест нет нигде. Всю ночь прошагал по Москве. На другой день получил койку в Киевской гостинице...

(В кафе увидел (впервые), как в Москве дают «чаевые» гардеробщикам. Был потрясен. И сам потом, краснея, волнуясь невероятно, «учился» делать то же самое.)

Лето. Жара. Все ослепляло, будоражило, в том числе официантки в столовых. Жизнь жгла вдвойне сильнее, мне кажется, — чем нынче.

Неделю жил в Москве, за семь дней десять раз был в театрах (днем и вечером). «Глотал» музеи, сидел в Большом театре, как в императорском дворце, совершенно не понимая еще, за что мне все это дано, и ни разу не подумав о том, что когда-нибудь я все это потеряю, уйдя из этой реальности, — но до этого понимания было мне далеко — почти века, поэтому ни мыслей, ни чувств подобных еще не было, в молодости думаешь, и чувствуешь, и веришь, что ты пришел в этот мир навсегда (а как же иначе?! на иное мы и не согласны!) и что бессмертие тебе — всяческое — обеспечено «автоматически»...

Вернулся в Челябинск. Через некоторое время получил письмо, что я принят на заочное отделение.

Принял я это тоже как нечто само собой разумеющееся... Ведь я же пишу стихи!.. (Я еще не знал тогда, что это были слабые стихи...) Люблю — круглосуточно — поэзию и знаю наизусть несколько тысяч строк классиков и современников. «Демона» читаю наизусть ребятам в об-

щежитии, положив часы на стол, — 31 минуту. Знаю наизусть более половины «Евгения Онегина». Читаю наизусть главы «Войны и мира».

...Заочно учиться было нелегко. Но силы — имелись — пока фантастические — днем работаешь полных 8 часов, вечером — ночью — учишься, да еще успеваешь — на собрания, на литкружок, в кино, в гости... и на свидания — и все завязывалось в один ослепительный узел, букет, называемый молодостью, жизнью.

...На другой год — летом — сессия в Москве. Семинарами руководят Фадеев, Леонов, Федин, Антокольский, Сельвинский, Луговской! Все — боги!

На первой же сессии я познакомился с друзьями заочниками — с Лукониным, Отрадой, Филипповым, Окуновым (из Сталинграда), с очниками (старшими по курсу) — В. Журавлевым, М. Матусовским, А. Яшиным, Яном Сашиным.

Луконин раньше всех сообразил, что надо переводиться на очное отделение, — нужна московская пикета поэзии.

Пружины молодости кинули его из Сталинграда в Москву.

«Перетянул» он туда и Отраду и меня (через год).

Без ничего — без жилья, без родных, без денег, без места в общежитии мы ринулись в столицу.

Некоторое время я жил у Василия Журавлева (у него была маленькая комната в Нагатино под Москвой), которому — при первой встрече очников и заочников — понравились мои стихи, он тогда же заявил, что будет переписываться со мной. Так москвичи-очники «разобрали» нас, заочников, и поддерживали регулярную переписку (по каждому новому стихотворению), как бы делясь с нами опытом московской школы.

Я безмерно благодарен Василию Журавлеву за это, безмерно благодарен учителям нашим — Сельвинскому, Антокольскому, Федосееву (Гавриилу Сергеевичу — позднее директору ин-та) и другим.

Журавлев дал мне свое осеннее пальто. Я боялся, что стесняю его, — он только что женился; не желая смущать его медовый месяц, через неделю я ушел от него — и стал ночевать на вокзале, в телефонных будках. А утром — несмотря ни на что — бодр, свеж, весел — являлся на занятия.

Я был определен в семинар Сельвинского, был несколько смущен — Сельвинский казался не очень близким мне. Хотел на семинар Луговского. Практически я ходил на оба семинара.

Позднее я оценил огромный педагогический опыт Сельвинского, его мудрость, терпимость и

терпеливость. Со временем мы прониклись нежностью друг к другу.

Луконин в своей книге «Товарищ поэзия» позднее писал:

«Мы съехались со всех концов страны в Литературный институт имени Горького. Сергей Смирнов из Рыбинска, Яшин из Вологды, Кульчицкий из Харькова, Михаил Львов с Урала, Майоров из Иванова, из Киева Платон Воронько. Потом из другого института перешли Наровчатов, Слуцкий, Самойлов.

Осенью 1939 года я привез в Москву Николая Отраду. Ходил с нами добрый и большой Арон Копштейн. Коридоры гудели от стихов, стихи звучали в пригородных вагонах, когда мы возвращались в общежитие.

Мы бушевали на семинарах Луговского, Сельвинского, Аеева и Кирсанова, сами уже выступали на вечерах и уже затевали принципиальные битвы между собой. Это была пора опытов, исканий, мятущаяся пора нашего студенчества, пора неудержимого писания и любви.

Счастье учебы в Москве! Наше молодое соревнование! Прекрасные непримиримые студенческие споры!

Москву я впитывал, как губка. Каждое выступление известных поэтов, наших учителей и богов, каждое их высказывание запоминал на всю жизнь.

Не знаю, как бы я писал и работал — без московской школы.

В октябре 1939 года мы — несколько новых студентов-очников Литературного института — Михаил Кульчицкий, Александр Кременской, Григорий Цуркин, Юрий Кунев, я и другие — сняли за городом комнату у частного, на станции Перловская, по улице Вокзальной. У нас не было постелей. У меня не было даже осеннего пальто, чтобы постелить на пол. (Журавлеву я вернул.) Я спал на газетах. На рассвете просыпался от судорог.

Утром шли в ближайший продуктовый киоск, покупали черный хлеб и сахарный песок, и вот макаешь хлеб в большую жестяную кружку с кипятком. потом в песок — и ешь. И — весь завтрак. Бежим на пригородный поезд, в давку (которая тоже не беспокоит еще нас, воспринимается как нечто естественное — как лес, как чаща, как жизнь).

Институт. Обедаем напротив, в юридическом институте, где учился Борис Слуцкий (параллельно с Литинститутом).

Ужин чаще всего — отменяем — добровольно — как «буржуазный пережиток»...

И сидим допоздна — за столом — друг против друга — с Мишей Кульчицким. Никто не хотел ложиться раньше — это тоже было своеобразное соревнование.

Потом читали написанное. Миша Кульчицкий говорил мне:

— Из всех «неоклассиков» я признаю только тебя (пишущих ямбами он называл «неоклассиками»).

Другой раз — в коридоре института, когда мы уже жили по разным углам, — он сказал:

— Послушай, сейчас прочитаю тебе новое стихотворение, одну строку взял у тебя («Но пулю в ствол обратно не вогнать»)...

...Как-то в понедельник, возле институтского сквера, он спросил меня:

— Сколько стихотворений написал вчера?

— Нисколько...

— А Слуцкий за воскресенье записал четыре стихотворения!

Это был и пример, и вызов на соревнование...

Он был красив, высок, анархичен и очень талантлив. В нем бурлил пафос гражданской войны, в стихах нередко «сплавлялись» удивительные украинские слова с русскими...

В 1939 — в дни освобождения Западной Украины и Белоруссии — он написал:

И вот опять к границам сизым
Составы тайные идут,
И коммунизм опять так близок,
Как в девятнадцатом году...

О нем можно бы рассказывать и рассказывать. Стипендии не было, он поступил работать в начальную школу, но как школьный учитель не оправдал надежд...

Почему-то из харьковских рассказов Миши Кульчицкого запомнились смешные строки юного его друга, начинающего поэта:

Поэты мира, на колени!
Пришел на свет великий гений —
Я — Зюзя, Зюзя Беркенблит!

Этот милый Зюзя Беркенблит вошел в наш студенческий фольклор.

Мы тогда еще не знали нашего будущего. Наши будущих судеб. Мы хотели только одного: стать поэтами. Истинными поэтами.

Через тридцать лет я прочитал имя Кульчицкого на мраморе в Пантеоне на Мамаевом кургане.

Поэт и солдат, он навсегда вошел в поэзию, в историю родины, в века.

Мы слышали, что Матусовский и Симонов дружат.

После окончания Литинститута Матусовский поступил в аспирантуру, Симонов поехал на Дальний Восток, на Халхин-Гол (потом — выпустил книгу «Стихи 39-го года»). Говорят, тогда Асмус сказал: — Аспирантура — дура, штык — молодец...

...Литинститут. Золотой островок идеализма, лирики, романтики. Складывалось поколение молодых поэтов, частица будущего фронтного

поколения. Юноши «готовились в пророки». Борис Слуцкий тогда уже был одним из лидеров юного поколения. Был любимейшим учеником Ильи Сельвинского. Много работал, писал.

Он казался старше многих из нас, он казался старше всех нас — так он был серьезен и строг во всем. Я не помню, чтобы когда-нибудь он громко и заразительно смеялся.

(Не зря — позднее — он напишет: «Надо думать, а не улыбаться, надо книги трудные читать», «Я человек, я не ковер, я думаю, а не красуюсь».)

Его — раньше других — пронзили трагедии века. И юношеской беспечности — в те годы — в нем уже не было. Вернее, у него не было беспечной юности.

Зато в нем рано и ярко была выражена комиссарская черточка, воспринятая еще от старших, от близких, от родни, от книг, знамен и лозунгов, убеждений и присяги. В стихах, во взглядах, в поведении его жила эта «комиссарская жилка». И — яростный якобинский слог утверждения и отрицания, повеления и приказа звенел в молодых стихах его.

Мы тогда еще не предвидели 41-го года, но ощущали предгрозые.

Офицер, политрук, переводчик Борис Слуцкий в полной мере хлебнул из чаши войны.

В Харькове фашисты расстреляли его родных.

С войны он вернулся инвалидом, с огромным грузом трагизма в душе, с орденами и медалями, стихами и прозой. Но стихи не носил в журналы. Почти никому не показывал. Жил на скудную инвалидскую пенсию и скудные заработки на радио (не за стихи). Но война продолжала работать в нем, стихи продолжались, писались, копились, и только через 10 лет он выступил со чтением своих стихов на секции поэтов Москвы. И то не по своей инициативе — это было предложение Льва Озерова.

Появление его было громоподобным. Он читал стихи больше 2 часов — под непрерывные аплодисменты.

Еще живые тогда классики советской поэзии Павел Антокольский, Михаил Светлов, Илья Эренбург, Ярослав Смеляков, Михаил Луконин и многие другие участники обсуждения выступили с горячими речами.

Светлов сказал в своем выступлении: — Так появился в Москве когда-то Багрицкий — сразу большим поэтом!

В тот день Борис Слуцкий навсегда вошел в нашу поэзию.

Слуцкого всегда читать интересно, его стихи остросовременны, сжаты, бескомпромиссны, он старается схватить суть, он пишет о том, что волнует всех.

Его строки обеспечены золотом биографии, ума, таланта, подвига.

О Николае Майорове я уже писал не раз — в «Дне поэзии», в своей книге «Письмо в молодость».

Помню появление в Литературном институте блистательного, красивого, как молодой бог, Сергея Наровчатова (он учился в ИФЛИ). Баловень родных, друзей, девушек, он читал свои стихи со страстным придыханием. «Бабы рязанские». Русь. Старина. Современность. Удивительная вязь современных и старинных слов, очарование российской речи, классики и книжных оборотов и слов. Он покорял всех.

Ведь я не мирозерцатель,
Мой разум прям, хотя и сер,
Я человекопочитатель,
А не реакционер.
Итак, строки не напечатал,
Привыкший слышать: «подолом».
Пил Серезжа Наровчатов
Здесь бьет читателю челом!

«Из русских всех, быть может, самый русский».

Мне землю промерить и вымерить, чтобы,
Когда б даже Огненной шел я Землей,
Огнедышане бы вслед удивлялись в оба:
Русский какой! Советский какой!

Удивлялись не только «огнедышане» — все вокруг, и мы, его друзья, в том числе.

Я сказал только о нескольких своих товарищах.

Но, обобщая, скажу: в институте в то время учились прекрасные поэты. Жизнелюбивый, жизнелюбивый, безотказно отважный в жизни и стихах Михаил Луконин. Коля Майоров, уже тогда являвшийся — фактически — большим поэтом. Неистовый Павел Коган с эпическим замахом, уже написавший тогда огромный роман в стихах. Сдержанный, «устремленный внутрь» Самойлов (смотрите — сколько!). Уже состоявшийся как прекрасный поэт Александр Яшин. Самобытнейший во всех отношениях Николай Глазков. Платон Воронько, привезший с финской прекрасные стихи, в годы Отечественной войны партизанавший под началом Ковпака, а теперь ставший одним из крупнейших поэтов Советской Украины.

(Сколько можно было бы перечислить замечательных прозаиков, и драматургов, и критиков, вышедших из Дома Герцена!)

Но обо всех о них много уже написано, вспомнено, да и сами они о себе много рассказали стихами и прозой...

...В марте 1941 года в клубе писателей Литинститута отмечал годовщину гибели — на финской — наших товарищей Коли Отрады и Арона Копштейна.

Я читал свое стихотворение «Коле Отраде», начинавшееся строками: «Мне странно знать, что я еще живую».

Смерть наших товарищей в снегах Карелии мы воспринимали как первые сигналы грядущей трагедии. «Под пули вышло наше поколение»...

Миша Луконин читал свое — ныне уже знаменитое — стихотворение «Николаю Отраде».

Выступали Александр Яшин, Анисим Кронгауз, Сергей Наровчатов.

На вечере присутствовал Фадеев.

Это было за три месяца до второй мировой войны.

Памятны многие другие встречи с Фадеевым — в Переделкине, в Москве. Его выступления. На всю жизнь запомнил его слова: «Кроме своей биографии, писателю писать нечем».

Казалось бы, немного — на фоне сегодняшнего богатства жизни (и — обилия подобных встреч, общений, возможностей), а тогда это воспринялось как большое событие, решение судьбы, подарок, радость, своеобразное признание нас.

В те студенческие годы были встречи и с Пастернаком (жили рядом — в Переделкине, видывали его купающимся зимой в проруби!), и с другими богами нашей юности.

Но обо всем этом, наверное, надо писать не краткие воспоминания — а книгу о юности, о молодости, о доблести, о подвиге, о славе...

Это — буду надеяться — впереди...

...Жизнь надо обдумывать бессонными ночами (днем некогда: скорости, гонка, суета, стрессы), проснувшись внезапно, естественно.

Почему вот сегодня я проснулся в 4 часа утра и пишу — пока в голове — эти страницы?

Что дал нам институт?

Во-первых, возможность полностью посвятить себя изучению литературы, поэзии — классической и современной — почти круглосуточному, упиваться литературой, «смаковать» строки, вырабатывать вкус. Жить в стихии поэзии. Это было одним из самых главных подарков жизни — для нас — в то время, в том возрасте.

Во-вторых, дал более или менее систематизированное гуманитарное образование.

В-третьих — и это для дальнейшей жизни оказалось главным — счастье общения друг с другом (как в лицее!). Литинститутовское товарищество! И конечно, особо — счастье постоянного общения с мастерами поэзии, с бессмертными учителями!

Так и светил улыбка, стихами, красотой, дерзостью, отвагой, и наивностью одержимых поэзией — наш институтский корабль шел сквозь волны времен, пока не обрушилась на нас Война.

Мы были потрясены. Хотя и держали душу в боевой, мобилизационной форме, и писали стихи о будущих боях, никто не ожидал, что это разразится так внезапно.

Через несколько дней в коридоре института появились — в новеньких офицерских формах, обмундированные в третьем Доме Наркомата обороны, сияющие Сергей Наровчатов, Михаил Луконин, Петр Харьков.

Первыми добровольцами они уходили на фронт — с улыбкой на лице.

Как сложились страницы наших биографий военных лет, известно читателям по стихам, по книгам нашим.

Послевоенные страницы книги Литературного института уже писались другими — пришли туда Александр Межиров, Сергей Орлов, Семен Гудзенко, Юрий Бондарев, Константин Ваншенкин, Григорий Поженян, Владимир Соколов и другие.

Судьбы многих из нас — от цветенья своего, блеска сил и надежд — до пепла — прошли в орбите Литинститута.

Многие уже стали пеплом. И все равно они — живые и — среди живых.

Юрий Поляков

МОЙ СОСЕД

Я расскажу про моего соседа.
Седой солдат — на танковой броне
В Берлин въезжал он!

Мы вели беседу
Не о былой — о будущей войне,
Которая уж если грянет —

будет
Страшней любого Страшного суда,
И он сказал:

— Бессмысленные люди!
Всем надобен покой, а им — беда.
Они перед своей Москвой заслонов
Не ставили — знай на чужбине рушь!
За День Победы двадцать миллионов
Не долларов,

а человеческих душ
Не отдали!

Они не вспоминают,
Как плачет над развалинами мать.
Они еще войны не понимают —
И я бы не хотел им объяснять!

ВОСПОМИНАНИЕ О НОЧНЫХ ТРЕВОГАХ

В сапоги задвинув ноги,
Застегнувшись на бегу,
Выстроимся по тревоге
В две шеренги на снегу.
Знаем, что комбат проверит,
Как умеем мы стрелять,
Взглядом недовольным смерит
И пошлет нас досыпать.
А над нами — звездный трепет,
Тени черные раки.
Мы-то знаем: враг не дремлет —
Он всего скорее спит.
Главный враг для нас с тобою —
Мартовские холода,
Ведь тревога боевою
Стать не может никогда!
В темень «трассерами» лупим —
Все мишени — наповал...

Молодым я был и глупым.
Ничего не понимал!

Владимир Урусов

* * *

В дыму над городом бессонным
из мрака, холода и льда
к глазам, любовью ослепленным,
плывет полночная звезда.

Моя прекрасная Россия,
что пожелать тебе, святой.
И я ищу слова простые,
захлебываясь красотой.

И слышу в тишине рассвета
и гул таинственной звезды,
и вечный шум в крови поэта,
и тихий всплеск живой воды.

* * *

Война и время — жизнь проста,
нам не дано с солдатским хлебом
сидеть у черного куста
под голубым российским небом.

И скучно мне от наших драм —
судьба разлита по бумаге,
как фронтовая сотня грамм
из алюминиевой фляги.

Грешу пером с улыбкой злой,
томясь бессильем в слове страстном.
А ты несешься над землей
и не сливаешься с пространством!

ДЕБЮТЫ



Игорь Бехтерев

ПОСЛЕ УЧЕНИЙ

Когда проводили ученья,
Мы все проиграли тогда:
Свои отпуска, увольненья,
Родные свои города,
Родные деревни и села,
Родные свои небеса,
И девушек наших веселых,
И наши грибные леса...
«Да разве, — махнул ты рукою, —
Да разве же все перечеть?
Мы все проиграли с тобою,
Мы все проиграли как есть!..»
Не нам разбирать виноватых
И что они скажут в ответ, —
Нас нету! Мы были когда-то,
Мы были, но нас уже нет.
Наверно, кого-то осудят,
Но нас ведь уже навсегда
Не будет, не будет, не будет,
Не будет уже никогда!
Не будет уже ни свиданий,
Ни близости быстрых минут,
Не будет ни встреч, ни прощаний,
Не примут тебя в институт.
Не будет раздоров и споров
В надежде любви и добра,
В общаге твоей коридоры
Не будут гудеть до утра.
...Нам месяц не быть в увольненье,
Нам кухня на месяц — одним,
Нам только одно утешенье,
Что мы проиграли своим...
Когда-то и сами смеялись,
А вот довелось — не смогли.
И вроде неплохо держались,
Воздушные цели — вели.
Качался локатор. Как надо,
Давал обстановку планшет...
Не нам разбирать виноватых —
Мы были, но нас уже нет.
Условно, конечно. И все же,
Вблизи подступающей тьмы,
На прежних мы — только похожи.

Похожи, по это не мы
Построились, держим равнение.
Шагнули,— обычный маршрут...
И тени от нас, только тени
Угрюмо в казарму бредут.

И может быть, всего не зная,
В угрюмую вторгаясь тишь,
Душою к ранам припадая,
Ты боль его усугубишь.

Мужайся, думая о благе
Того, кто намертво сожжен.
Твоей сочувственной отваге
Не будет благодарен он...

Михаил Грозовский

* * *

Над дедовым участком,
Из дедова окна,
По виду безучастна,
По виду холодна,
Видна звезда,

с которой
Бог знает сколько лет
Ведет он разговоры
О суете сует.

Звезда светло и ясно
Глядит на старика.
В безмолвии — прекрасна,
В бездумье — глубока.

Над морем и над сушей
Горит вселенский знак,
И мыслящую душу
Окутывает страх.

Душа забыться хочет,
Предчувствуя итог,
Завещанный средь ночи
Под звездный шепоток;

И ропщет, и летает,
И мечется везде,
И ловит смысл тайный,
Неведомый звезде.

* * *

Бродя, и всматриваясь в лица,
И вслушиваясь, как в прибор,
В толпу,
не торопись сродниться
С чужой страдальческой судьбой.

Тот человек из пепелища
Не вынес ни одной мечты,
Он, может быть, забвенья ищет
В безликом хаосе толпы.



* * *

Налетела осень.
Смуту навела.
Не любил бы — бросил,
Да и все дела.

От меня хотела
Слезы утаить.
Осень налетела,
Что и говорить...

Осень. Боль сквозная.
Гиблые мечты.
Ты молчи, я знаю
Все, что скажешь ты.

Знаю сам, что осень,
Что с другим была...
Не любил бы — бросил,
Да и все дела.

Владимир Салимон

ВЫСОКАЯ ЗВЕЗДА

Мой дед был конюхом в колхозе.
Вот все, что знаю я о нем.
Я на октябрьском морозе
стою с приятелем вдвоем.

Я размышляю о причине
потери связи родовой,
о нашей уличной общине
с ее системой корневой.

Меня все мучает сомненье,
да так ли мудро я живу.
На все на домоуправленье
я добрым молодцем слыву.

Я выхожу во двор широкий.
Я вдоль Москвы-реки иду.
Гляжу на месяц невысокий
и на высокую звезду.

Я понимаю — жизнь иная
всегда для зависти предлог.
Но здесь родная мостовая,
любимый мой чертополох!

Виктор Гаврилин

ЗИМНИЕ МЫСЛИ

Тихой ночью в пустынности парковой
слышит домок, что стар и дощат,
как деревья, большими огарками,
от мороза сгорая, трещат.

Как близка ты, пустыня вселенская!
Кто со скрипом ступил на крыльцо?..
Это древняя стужа крещенская
смотрит родине прямо в лицо.

Так и чудится, словно в проколотый
звездный купол, что жгли корабли,
задувает космическим холодом
за распахнутый ворот земли.

И тепло не течет полнокровное
по пустотам подземных аорт,
но дрова на жаровню огромную
умыкнул человек или черт.

И по соплам безумие мечется,
и хладеет семейная печь...

Все трудней обогреть человечество,
и все проще дотла его сжечь.

* * *

Птицы отечества, вещие птицы, —
жалобы иволги, страсть соловья, —
все пропоется и все повторится,
только бы слышала наша земля.

Та, что зовет не единым лишь хлебом...
Все уж так свиделось, так уж сплелось,
чтоб лишь под этим единственным небом
в песне токующей сердце зашлось.

Так уж сроднилось... Но только впервые
встанут роднею под ядерный блиц
вместе российские, вместе живые
речи людские и посвисты птиц.

Где же глухое предчувствие пекла?
Не солгала б этим птицам звезда —

не воскресавшим отроду из пепла,
заговоренным лишь пухом гнезда.

Верую в них, а не в бога и черта...
Снова пророкам над шепотом ржи
спой, жаворонок, про долгое ведро
и, перепелка, покой предскажи!

Николай Ферапонтов

МАМИНА СВАДЬБА

Был день по-осеннему теплый,
а вечером дождь припустил.
Платформа, груженная свеклой,
стояла на первом пути.

Железнодорожная форма
молодоженам к лицу.
— Поедем на этой платформе? —
Промолвила мама отцу.

Ах, мама! Во взгляде тревога.
Бежала из дому, любя.
Хоть зонтик взяла бы в дорогу!
Но зонтика нет у тебя.

Отец ей шинелку на плечи
накинул, желая согреть.
А мама в тот памятный вечер
на город старалась смотреть.

Но скрипнули мокрые оси,
платформа вперед подалась.
Отец мой поежился:

— Осень... —

А мама его обняла.

И, лязгая стылым металлом, —
вот были литавры у них! —
поехал кортеж небывалый
в истории свадеб земных.

Приехали, стукнули в двери,
там, будто бы чуя подвох,
спросили, в женитьбу не верл:
— Ты, Мишка, один чи у двоих?

Отец:

— Открывайте, застынем! —

И мама шагнула туда,
откуда с тех пор и доньше
не ходят назад поезда.

Валентина Мальми

* * *

Идти бы всю жизнь первопутком,
не зная державных дорог,
домашним баранам и уткам
еду выносить за порог,

для малого дома стараться,
о грядках печалиться в зной...
В народную речь — не влюбляться,
а просто не ведать иной.

* * *

Во дни болезненной весны
иль осени, сырой до дрожи,
о, кто бы знал, какие сны
моих товарищей тревожат!

Им снятся (даром, что не впрок!),
отринув голос Лорелей,
кому-то Фет, кому-то Блок,
кому-то, господи, Рылеев.

А там, где вечен шум ветвей
и ветра шум — пустой и влажный,
что снится матери моей
под этот шум однообразный?

Иль, может, сон ее глубок
и до утра спокойно длится?
Ей, верно, не приснится Блок,
но ведь хоть кто-нибудь ей снится!
Под неумолчный шум ветвей
и ветра шум, несущий стаю...

Что снится матери моей —
не знаю. Вряд ли отгадаю.

Михаил Поздняев

ПРИГОРОД

Подмосковное кладбище немо.
Безупречней сапожного крема,
вереницы надгробий черны.
Все равны меж собою и квиты,
и единой землею укрыты,
и оплаканы, и прощены.

Кто лежит? Сибарит или стоик,
колченогий учитель-историк
иль полярник, почивший в снегах?
Одинаково черные плиты,
одинаково щедро политы
и прополоты клумбы в ногах.

Это — бывший завскладом и бывший
перед ним, его жертвою павший,
только сердце ничуть не щемит:
помирила их кислая глина,
и листва исполинского клена
над обоими грозно шумит.

А вот это — два бывших поэта:
первый спился, второй — кабинета
бедный раб, предпочел суету
услужению музам на тризне.
А судьба две беспутные жизни
под одну подогнала черту.

Два соседа — Семен и Василий:
как, бывало, друг дружку тузили,
наминали друг дружке бока,
но земля отворила объятья —
и легли — оба двое, как братья,
и к руке потянулась рука.

Так лежат они — сомкнутым строем,
одним миром, единым покровом,
ни за кем ни долгов, ни вины,
крепче камня, надежнее стали, —
как единойды в жизни стояли,
лишь однажды. Во время войны.

Владимир Ведякин

* * *

Так вот, даром —
за доброе слово,
за причастность к хорошим делам,
мне досталась охапка соломы
с пуховою травой пополам.

Тих ночлег мой —
ни крика, ни писка.
На все стороны дверь отперта.

Ведь мышей не заботит прописка,
им, мышам, не нужны паспорта.

Подселенец в обжитой вселенной,
коммунального мира жилец
тесноте этой благословенной
не хочу я увидеть конец.

Человек ли,
кузнечик ли,
птаха,
лишь бы вам приглянулось жильё,
приходите без всякого страха —
разделю с вами место свое.

* * *

Был испытан я черной работой с темна до темна.
Я на части разваливался, а за ночь срастался.
Мне работа давалась — мол, на тебе, миленький, на!
Потрудись, постарайся.

Приживальщик, нахлебник, задаром кормлен и поен,
До семнадцати лет на колбасных ученых обрезках,
Я — последний за всех в роду задолжавшем моем
За моих незапасливых предков.

Видно, славно жилось им, легко от войны до войны.
Ни родных не теряли, ни крова.
По горячему времени были пути их ровны
От неистовой Вятки до несуетного Могилева.

Там, в просторных провинциях, сладость текла по усам.
Попадет на язык — слава богу, а нет — и не спорили.
Так молчком и несли по долам, по лесам
Наживные свои перекатные боли.

Дорогое наследство — что поделаешь с ним.
Долго ль жить должником мне с расчетцем, с поклонцем.
Будем квиты.
Пускай неразумный мой сын
Молоко на губах трудовым утирает червонцем.

Вадим Перельмутер

МЕТРО: СОКОЛЬНИКИ — ПАРК КУЛЬТУРЫ

из серии «Минувшая Москва»

Столичные недра признали свое поражение
И прежней дремоты уже никогда не вернут.
Прогресс — это прямолинейная скорость движенья,
Невиданное и неслышанное достижение:
От парка до парка — всего восемнадцать минут.
Для первого раза тот выбор весьма необычен,
Особенно если глядеть на него сквозь года —
Туда, где считается всяческий праздник рабочим,
Непраздным, и где человек отдыхать не обучен.
Но в парке центральном призывно цветет резеда:
Можно галстук носить очень яркий
И быть в шахте героем труда!..
Еще сохраняется в воздухе привкус металла,
Новейшей истории лишь восемнадцатый год,
Внушающий всем, что вот-вот начинается взлет.
А чтобы сравнение с прошлым нагляднее стало,
Последний извозчик на общую радость поет:
Чтоб запрячь тебя, я утром отправляюся
От Сокольников до Парка на метро!..
Но вот завершается пятое десятилетье
С тех пор, как впервые проложен подземный маршрут.
Незримо состарились песни и скорости эти.
И словно бы только одно неизменно на свете:
От парка до парка — всего восемнадцать минут.

* * *

Курю папиросу одну за другой,
Сажу на скамье под березой.
И может ли, в принципе, кто-то другой
Дымить надо мной папиросой?

Ведь это — не блочный жилой небоскреб,
А сквер со скамейкой, с луною!
Но кто-то, надвинув ушанку на лоб,
Уселся курить надо мною.

Я чиркаю спичкой — и вместо одной
Две спички над урной порхают.
Я кашляю — кашляет он надо мной,
Вздыхаю — он тоже вздыхает.

Тогда я рывком поднимаюсь одним
И вижу, что он — надо мною,
А также — до самого неба! — над ним
Сидят на скамье под луною,

И курят, и кашляют вместе со мной
Такие же точно созданья,
И мы проживаем под крышей одной
На всех этажах мирозданья.

ПАТЛАТАЯ КОЗА

Патлатая коза
Поила молоком
Меня, мою сестру,
Котенка со щенком,
Она спала в сенях
И грела помещенье,
И знала в травах толк
И в нежном обращенье.
Мне было восемь лет,
Когда промчался пьяный
И мотоциклом сбил
Козу весной туманной.
Он пятьдесят рублей
Вернул, сказав, что десять —
Ей красная цена.
Я мог его повесить,
Зарезать, утопить,
Казнить на гильотине!
Но жизнь не мог вернуть
Свой родной скотине.
И некого пасти
Мне было в это лето...
Я смертно тосковал
И плакал в час рассвета,
Когда выводят коз
Счастливые мальчишки.
И боль была сильней,
Чем в самой сильной книжке.



Евгений Блажеевский

КИЕВ

Еще не расцвели каштаны,
Но розоватый воздух нежен.
И этот праздник долгожданный
С весенним солнцем перемешан.

И бабы — как из молока —
Хохочут у днепровской кущи,
Свои сгущенные бока
Покачивая так зовуще,
И обожают петуха —
Его изображение в «крестик»,
И с буквой «ге» гуляет «ха»,
Как будто крестная и крестник.
И бычьей кровью крашен вуз,
И краску пробивает мясо.
Идет колхозник — вислоус, —
Похожий чем-то на Тараса.
И среди прочих быстрых ног,
Мелькают посреди проспекта
И адидасовская кеда,
И крепкий жмеринский сапог.

Здесь выбивается исток
Излучин костромских и брянских,
Любая вывеска — урок
Разросшихся корней славянских.

Здесь тот живительный раствор
И крепь строительного леса,
Из коих слеплен и Ростов,
И многолетняя Одесса...

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Всего полжизни за спиной,
А сколько пустоты и хлама!..
В потертой книжке записной —
Умерший, съехавшая дама...

Любовь и дружба на века,
Без видимой на то причины,
И семизначная тоска,
И семизначные личины.

Толпятся цифры, но уже
Ни трепета и ни азарта...
И говорят они душе
Не более, чем перфокарта.

Хотя был тот телефон,
Что занесен на всякий случай,—
Не верится, что прежде он
Был голосом любви жгучей.

Толпятся номера друзей,
Забывших и забытых нами...
Какой-то числовой музей,
Переженный именами.

ЗНАКОМСТВО

Цветаева, и Хлебников, и Рильке!..
Одолеева дивный сопромат,
Ты счастлив, ты выходишь из курилки
В тот незабвенный, в тот далекий март.

Пока еще по человеческим школам
Не выпало мытариться тебе,
Еще библиотека — дом Пашкова —
И молодость сопутствуют судьбе.

Осевший снег... За тротуарной кромкой
В начальной луже ежится закат...
И от прекрасного лица знакомой
Исходит свет, слегка голубоват.

Отброшенная челка... Гордый профиль,
И обрывает разговора нить:
«А дома у меня отличный кофе
И можно о стихах поговорить...»

И день многоголосый, уплывая,
Томительно-нетороплив уже.
И лестница летит, и угловая
Квартира на последнем этаже.

И, чиркнув спичкой, от крюка с одеждой —
И до планшета с «Вечною весной»
Хозяйка озаряет, как надеждой,
Свое жилище свечкой восковой.

И разговор, в котором было тесно
Из-за смущенья, из-за суеты,
Волнует ощущением подтекста:
Любимая... Мой милый, это ты?..

И вот вздох о неудачном детстве:
«Мне было трудно во второй семье...
Да и отца не упрекнуть в злодействе —
Художествует где-то в Костроме.

Мне восемнадцать, но уже на части
Расколот мир и столько чепухи...

Когда бы не особенное счастье —
Любить искусство и читать стихи...»

И говорит во утоление жажды,
И жадно ловит воздух нежным ртом...
Так выпало ей говорить однажды,
А слушавшему вспомнится потом

И чистый голосок в казарме душевной,
Где резче боль случившихся утрат,
И то, как застлала раскладушку,
И то, что говорили наугад.

И то, как вдруг вернулась оробело,
Невнятное шепнула горячо...
И тяжесть отдающегося тела
Он, приподняв, прикрыл своим плечом.

И то, что ощутил, впервые, может,
Свободу, равнозначную реке:
Лежи и созерцай рассвет на коже
И слабый луч на зыбком потолке...

— Любимая, — он скажет много позже, —
У каждого в судьбе своя Кармен.
Иные связи стоили дороже,
Но не давали ничего взамен.

Лишь в этот миг, на чувственном пределе,
В домишке старом близ Москвы-реки...
Тогда не я, тогда Земля при теле
Была — как шарик с ниткой — у руки!..

Анна Гедымин

* * *

И так же навеки сильна
Я каплей литовской крови,
Как иноязычьем струна
В давно обрусевшем слове.

И тот, что знаком до листка,
И тот, что не ведать смею,—
Неблизкие два языка
Меня признают своею.

Но если обманет строка,
Рожденная в спешке мною,
Два дома на двух языках
Меня назовут чужою.

Я должно сумею воздать,
Лишь не отвращайте лица.
Не дайте несчастья солгать,
Коль дали на свет явиться.

Геннадий Красников

ДУША

Мучительно ее неподчиненье!..
Сорвется, взвояет, станет на своем.
Все проклянья, срываемся за нею
и на себя ее вину берем.

Когда припомнят все ее проделки,
«Простите, — скажем. — Нет у нас обид.
Какая ж, господи, она злодейка,
когда она и плачет и болит!»

Владимир Лапин

* * *

Смотри и приветствуй:
Упорная зелень озимых
Так вовремя, к месту,
Под криками стай уносимых!

Утайка от рока?
Да нет, не уловка, а вызов,
Прямая дорога
Свое утверждающих детских капризов.

Так вовремя, к месту,
Бесспорно, без самодовольства!
Приветствуй и чувствуй,
И сам перейми эти свойства.

Игорь Селезнев

ГОРОД

О.Х.

Табачный дым вдыхаю глубоко.
А рядом в сад ведут детей своих,
несут из магазина молоко,
работают повсюду за троих.
То закурить им надо, то огня,
то спрашивают время у меня
и наскоро меня благодарят.
Я понимаю. Я бываю рад.
Я с городом сегодня наравне.
Но он-то был таким и раньше!
Я же решил, что он без боя сдастся мне.
А он меня и не заметил даже.

Анатолий Вершинский

СКАЗКА О ТРЕХ ГВОЗДЯХ

Он три гвоздя у входа вбил.
Был первый гвоздь простой.
Второй серебряный.

И был последний — золотой.
«Когда придет недобрый гость, —
решил хозяин, — то
повесит он на первый гвоздь
тяжелое пальто.
А если добрый гость придет —
повесит на второй.
А если милая придет —
на третий, золотой».
Его мечта была светла.
Чудак не клял судьбу.
И долгожданная пришла —
да не в его избу.
К нему сходились на постой
и лихо, и добро.
Уже сломался гвоздь простой,
истерлось серебро.
Лишь посреди холодных стен,
красивый и пустой,
совсем как новенький блестел
последний, золотой...

Геннадий Калашников

КУСТ МАЛИНЫ

Куст малины, как город у моря —
черепичные кровли, сады...
Постоим, и послышатся вскоре
нам глухие раскаты воды.
Там сейчас занимается утро,
покрывается охрой карниз,
самоделных суденышек
узкий парус в заливе повис.
И воды голубое свечение,
и отчетливый воздух так пуст...
На какие еще превращенья
ты способен, малиновый куст?
И зачем эта тяга к сравненьям,
разве сам по себе ты не прав?
На поляне, в траве по колени,
мощно-зелен, тяжело-кудряв.
В глубине твоей прячется птица,
ее голос беспечен и чист,
и под ветром слегка серебрится
вверх изнанкой повернутый лист.
Уколовший и душу, и пальцы,
куст малины невиданно густ.
И пора уже двигаться дальше —
не пускает малиновый куст.

Олеся Николаева

* * *

Рано же просыпайтесь, поля-пахни!
Затемно поднимайтесь, по гудку электрички.
А у меня не так — со вчерашнего дня не спавши!
Эх, бессонные мои ночи — обгоревшие спички! —
сложены в коробок — гремят себе там бесполезно...
А бывало — чиркнешь любой — полыхает прелярко!
А бывало так: места полно, а некуда деться — тесно;
а бывало так: вьюга в лицо, а в груди и во лбу — жарко.
Ах, по-всякому было, как вам только угодно!
Гость с тортом войдет — а в душе страшно и больно,
возлюбленный крикнет: «Уйди!», а душе спокойно-свободно
и смешно, когда ее поучают важно, самодовольно.
А у вас все не так, снеговые поля, черные пашни.
Тычетесь мне в лицо, в мутные стекла, уже пробудились,
кто, мол, такая, почему-де за день вчерашний
ноги не наработались, руки не натрудились?
Или к земле не прикована дедовской цепью, железом старым?
Или ремнем не порота на просторных его конюшнях,
или пруд позабыла за самым дальним амбаром,
наказывающий таких — заблудших и непослушных?
Эх, поля-пахни, рвы некошеные, снега навалом!
Сами-то пробиваетесь лесом, пробавляетесь вьюгой, перебиваетесь
елью...
На колени падаете пред столбом телеграфным — пред этим жестом
беспальным,
и как моя ночная дороженька — оканчиваетесь подзаборной щелью.
Сходитесь у моего порога в одну щемящую точку.
Эх, вороная сталь вас на части режет, гудками мне горло щекочет,
плещет рыбой под дых, сыплет песком с кипяточком,
а то вдруг на вашем наречье — лепечет, плачет, лопочет.

Вячеслав Левыкин

* * *

Уже листва почти слетела,
Покрылись лужи пленкой льда.
Я понимаю, ты хотела
Не расставаться никогда.

Вновь мрак сырой и неприятно...
Идем по улицам вдвоем,
Где вечером немноглюдно,
Не то что летом или днем.

Нас жизнь и балует и губит
В провалах неба и судьбы.
Когда другой тебя полюбит,
Ты все равно меня люби.

К дождю прислушиваюсь чутко.
Кленовый лист прилип к стеклу,
А убегающие сутки
Остановились на углу.

Я счастлив тем, что был отмечен
Мерцанием ночной звезды.
И если я, как все, не вечен,
То, значит, в мире вечна ты.

Николай Колмогоров

* * *

Небожитель туманный, поэт,
как ты скоро на землю спустился!
По прошествии тысячи лет
современником быть научился.
Но природы и звезд, и страстей
на родные слова переводчик —
водит с детства рукою твоей
по-ребячьи

изломанный почерк!

Там, на кухоньке тесной, ночной,
где-то за миллионами окон,
человечества ветер сквозной,
пролетая, гремит между стекол.
Он шумит отголосками дней,
он видений толпу поднимает...
Тень Бояна мерещится в ней,
Игорь к битве полки созывает.
В этот час, отрешенный уже
от судьбы и ее многозочий,
ты и бог, и ребенок в душе,
разрушитель и все-таки зодчий.
Меры нет — воедино ты слит
из всего, что и есть мирозданье!
Это через тебя говорит
все гремучее пламя познания.
Так открой же препоны в груди,
окрылись меж землею и высью,
сизым соколом в небо лети,
растекайся по дереву мыслью!..

Владимир Карпец

* * *

У нас в квартире, до меня, не ради
Чего-то там, а выжить чтоб в аду,
Но жгли такие книги в Ленинграде! —
В сорок втором ли, третьем ли году.

Топили печку Кантом и Платоном,
Журналы «Нива» — на распылку дров...
А город жил почти последним стоном
В ночи чухонских губельных ветров.

Так! В час, когда безумствуют стихии,
Который век на губельной черте,
Чтоб выжить, сжечь себя — удел России,
Но не пропасть в неверной пустоте.

И стлы дьды, мосты, кариатиды,
Метель мсла вселенские поля,
Воистину — от Перми до Тавриды
Стальной щетиной дыбилась земля.

И подымались к небу клочья дыма
И застывали в крыше, средь щелей,
Как дивный плат, расстеленный незримо
Там, до мея, над Родиной моей.

ДЕБЮТЫ



Андрей Максимов

БУФЕТЧИЦА

Буфетчица Анна Андреевна
не знала про тезку свою,
когда, улыбаясь смиренно,
смущенно, но самозабвенно
брала себе сдачу мою.

О сколько же грации было,
надежности в толстых руках,
когда макароны солила,
как будто кормила птах.

Лицо широко и спокойно,
глаза улыбаются всем...
Как будто прошедшие войны
ее не коснулись совсем.

Как будто бы в этом буфете,
где воздух пропах и прогнил,
и счастье ее, и дети,
и весь ее женский мир.

О как она тихо глядела
на поезд за пыльным окном...

— Сынков я родить не успела,
у дочек и дети и дом,
бог дал — приبلудилась собака,
теперь есть кого покормить,
с кем вместе поплакать со страха,
о бедах поговорить.
Как ждет меня, видно, Василий,
зовет.

У небес на краю...

Жила она в центре России,
не зная про тезку свою.

43-Й ГОД

Когда бежал с гранатой —
быстро, как бегал в школе, —
ветер бросался под ноги
и не давал бежать.
Странно, но все в окопах
в последний момент увидели
не спину его, а лицо.

Сергей Алиханов

ДЯДЯ КОЛЯ

Он, старожил и уроженец края,
Не уезжал надолго никуда,
Но так и не прижился здесь, считая:
Жизнь прожита — не велика беда.
Отсталость, как ведется, изживалась,
И благодать дошла до этих мест.
И лишь ему по-прежнему казалось,
Что он несет какой-то вечный крест.
Он, правнук тех чиновников кавказских,
Голубоглазый, сухонький, живой,
Сомнениям своим не дал огласки,
Их так и не решив с самим собой.
Но толковал всегда о чем-то здравом,
Не пользовался внеочередным,
Бесплатным и еще каким-то правом.
Гордился я своим знакомством с ним.
Пенсионера не было счастливей!
И в Доме офицеров окружном
Из года в год он числился в активе
И пробивал любые стены лбом.
Кассиршам учинял головомойки.
А для вальяжных офицерских жен
Курировал кружки шитья и кройки
И выписал для них аккордеон.
Неугомонным был он заводилой!
Пожатье легкой, жилистой руки
Вас заряжало бодростью и силой, —
Хотелось записаться в те кружки...
А время до него тянулось долго.
Был холост он, соседей не любил.
Но крут замес терпения и долга,
И он не коротал свой век, а жил.
В многоязычном, суетном районе,
Где целый день судачит стар и мал,
Где вьются сплетни на резном балконе,
Он только лишь по-русски понимал...

Еще я помню — в месяц листопада
Мы на проспекте встретились ночном
В разгаре репетиции парада.
Шли танки и скрывались за углом.
Они в простор проспекта уходили...
А мы, с восторгом преданным своим,

На месте оставались и следили,
Вдыхая дизелей тяжелый дым...

А напоследок, уж впадая в детство,
Он все твердил — ждут испытанья нас.
И умер он, оставив мне в наследство
Стол, на котором я пишу сейчас.

ПУБЛИКАЦИИ



Велимир Хлебников

1885—1922

Среди произведений Хлебникова, многие из которых до сих пор остаются неизданными, сохранилось несколько замечательных вещей, написанных в больнице.

Летом 1919 года Харьков, где жил тогда Хлебников, был взят Деникиным, объявившим «поход на Москву». Поэту грозила мобилизация. И чтобы избежать ее, ему оставалось, пожалуй, единственное средство... Так Хлебников оказался на Сабуровой даче, среди пациентов профессора В. Я. Анфимова. «Собственно, это не был обычный пациент, — вспоминал профессор много лет спустя¹, — он находился в числе тех, о которых специалисты должны были дать свое заключение, позволяет ли им состояние здоровья быть принятыми на военный учет...»

Каким показался он врачу?

«Задумчивый, никогда не жалующийся на жизненные невзгоды и как будто не замечавший лишений того сурового периода, тихий и предупредительный, он пользовался всеобщей любовью своих соседей... Мой новый пациент как будто обрадовался человеку, имеющему с ним общие интересы, он оказался мягким, простодушно-приветливым и с готовностью пошел навстречу медицинскому и экспериментально-психологическому исследованию. Я не ошибусь, если скажу, что он отнесся к ним с интересом».

Еще бы, заметим мы, тем более что дело шло не о каких-то отвлеченных научных интересах. Хлебников уже в царской армии прошел весь «ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюха, а в виде ласки так затыгивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание...» — как писал он в 1916 году доктору Н. И. Кульбину, прося его помочь добиться хотя бы временного освобождения. Окончательно освободила его революция. Но теперь ему снова грозила армия, на этот раз — Добровольческая, а это уж была бы верная гибель.

Однако положение самого профессора Анфимова оказывалось достаточно сложным. Ответив на вопрос *quid est*, он обязан был ответить и на вопрос практический — *quid est faciendum*, что в условиях гражданской войны было делом далеко не безопасным. И надо отдать

¹ Анфимов В. Я. Хлебников в 1919 году. Труды 3-й Краснодарской клинической больницы. Выпуск I. Краснодар, 1935.

должное мужеству и ответственности врача, в своем официальном заключении признавшего Хлебникова не годным к военной службе.

Он спас поэта. Более того, не будучи, в общем, человеком искушенным в новейшей литературе, он все же сохранил в своем архиве ценные биографические сведения, сообщенные ему поэтом, и, главное, рукописи его произведений, написанных на Сабуровой даче.

Вот теперь наконец мы можем перейти к собственному предмету нашей публикации. Дело в том, что в ходе экспериментально-психологического обследования Хлебников написал несколько произведений на темы, заданные для «изучения способности фантазии».

В соответствии с задачей исследования предложенные психиатром темы имели откровенно провоцирующий, по меньшей мере «амбивалентный» характер: охота, карнавал, лунный свет; а также: чары, тоска, ангелы.

Хлебников, который и в обычных условиях, по свидетельству Маяковского, «мог не только при просьбе немедленно написать стихотворение (его голова работала круглые сутки только над поэзией), но мог дать вещи самую необычайную форму», ответил на вызов с полной серьезностью и даже с вдохновением. Профессора Анфимова поражало, как он «легко и без помарок, быстро покрывал своим бисерным почерком клочки бумаги, которые скоплялись вокруг него целыми грудами».

Большая часть написанного в ту сабуровскую осень известна читателям по пятитомному собранию произведений (1928—1933) и «Неизданному Хлебникову» (1940), где были напечатаны и прозаическая сказка «Охота», и лирическая поэма «Карнавал», в окончательной редакции получившая название «Поэт», и стихотворение «Горные чары», и драматическая поэма «Лесная тоска» (а также немало других вещей, написанных вне диалога с психиатром, среди которых, впрочем, надо отметить стихотворение «Полужелезная изба...») («Гаршин»), отразившее некоторые впечатления от пребывания в Сабурке). Все это вещи поразительной поэтической мощи, не вызывающие и тени сомнения в том, что все они — плоды свободного вдохновения. Однако, зная об условиях их создания, конечно, читаешь их другими глазами.

Совершенно очевидно, что поэт намеренно сообщал им «фантастический» колорит. Но за всей их невероятной изощренностью и темной фантастикой (ведь исследовалась все-таки «способность фантазии») нельзя не видеть, как настойчиво и властно встает, так сказать, сверхсюжет, развертывающий заданные темы в обратном направлении — от изощренности к простоте, от призраков к действительности, от тьмы к свету. Особенно наглядно все это в поэме «Лесная тоска» (так, по-видимому, Хлебников истолковал) философско-поэтический *Weltschmerz* романтиков), где после ночи сказочных ужасов наступает утро:

Утро: Поспешите, пастушата!
 Ни видений, ни ведуний,
 Черный дым встает на хате,
 Все спокойно и молчит.
 На селе, в далекой клуне
 Цеп молотит и стучит.
 Скот мычит, пастух играет,
 Солнце красное встает.
 И как жар заря играет,
 Вам свирели подает,

Причем заданные темы так тесно и глубоко связаны с важнейшими мотивами русского фольклора, мифологии, поэзии (особенно Державина, Гоголя, Пушкина), что в конце концов становится понятной и задача самого поэта — ввести в диалог вообще поэтическое слово.

Каков же смысл этого диалога? Задавая свои темы, врач, очевидно, стремился к познанию личности поэта, его душевного состояния. Поэт, отвечая ему, развертывая его темы в художественном произведении, говорил, однако, не столько о себе, сколько о мире, вернее — через себя о мире, стремясь к познанию, если можно так выразиться, душевного состояния мира (на что, по-видимому, и указывала надпись, сопровождавшая поэму «Карнавал»: «Посвящая дорогом Владимиру Яковлевичу, внушившему мне эту вещь прекрасными лучами своего разума, посвященного науке и человечеству»).

Вниманию читателей мне бы хотелось предложить два, пожалуй, наиболее характерных стихотворения: «Лунный свет», которое было опубликовано в приложении к упомянутой статье Анфимова и с тех пор нигде не перепечатывалось, в «Ангелы», которое публикуется здесь впервые.

* * *

«Лунный свет» не потребует особых пояснений, если иметь в виду тот литературно-poleмический контекст, к которому невольно возвращала поэта заданная тема (вспомним хотя бы манифест итальянских футуристов «Убьем лунный свет!» и сборник гилейцев «Дохлая луна») и который Хлебников иронически связывал с «халдейской мудростью», тонко вписывая в русский языковой пейзаж имя древневавилонского лунного бога Сина, сына бога воздуха и земли Энлиля.

Свободный безрифменный стих, намеренно неуклюже переходящий в прозу, знаменует здесь движение темы от мифологии к истории, от луны к земле, от чар поэтического слова к трезвому числу. (Разъяснение значения числа 317 читатель найдет в статьях Хлебникова «Разговор двух особ» и «Наша основа».) Но это вовсе не означает отрицания поэтического слова как такового, просто здесь в светлое поле сознания выдвигалось скрытое за словом число, единая мера мира, «одним концом волнующая небо, а другим скрывающаяся в ударах сердца»; она-то и «волхвует словом».

В этом как раз и убеждает второе стихотворение. Оно говорит о том, что в небесах совершается та же самая революция и даже та же самая гражданская война, что и на земле 1919 года, и эта новая битва небесных воинств, новое «восстание ангелов», которых Хлебников в соответствии со своей философией природы понимал как мировые энергии света, разума, добра, несет с собой новое слово.

Поэтому стихотворение так насыщено неологизмами и в то же время архаизмами. Разъяснение всех этих непривычных слов потребовало бы целого исследования, но в этом, мне кажется, нет необходимости, так как все они вполне вняты в непосредственном, «музыкальном» восприятии, а его живую цельность нелегко восстановить после раздельно-логического толкований. Да к тому же мне не хотелось бы лишать читателя удовольствия заглянуть в словарь, чтобы вдруг обнаружить, что какое-нибудь слово, кажущееся нам хлебниковским новообразованием (вроде *болого*, *вица*, *сой*), на самом деле «хорошее и еще лучше забытое старое слово», и наоборот, кажущееся нам архаизмом на са-

мом деле — слововошество. Пояснить, пожалуй, стоит только сам метод построения неологизмов в этом стихотворении, поскольку такие методы у Хлебникова разнообразны и меняются в зависимости от строя произведения.

Здесь определяющим фактором является рифма, так что все это стихотворение оказывается сплошь и насквозь прорифмованным, в соответствии с чем и неологизмы образуются здесь как рифмы к существующим словам. Вообще рифма представляет собой что-то вроде маленькой загадки, которую первое слово загадывает, а второе, рифмующееся, ее отгадывает, как бы раскрывая скрытое в слове другое слово (например, морозы — розы). Поэтому образование неологизмов здесь напоминает процесс подыскивания рифмы, с той разницей, что исходное слово может быть и не названо, а только угадываться. Так возникают целые ряды новообразований, например: *хладро, владро, младро*, заставляющие вспомнить *добро, серебро*; или: *тихеса, сиеса, нагеса, любеса*, напоминающие *чудеса, небеса, словеса* и т. д. Такие призрачные, как бы полусуществующие слова вполне отвечают призрачной, мнимой природе «небесного воинства».

Точно так же соответствует «небесной иерархии» и метрическая композиция стихотворения: двенадцать сдвоенных девятистиший с тройной рифмовкой (аб-ваавбв) трех типов окончаний (мужских, женских и дактилических), написанных трехстопным трехсложным размером (амфибрахий). Небольшие отступления от схемы, свидетельствующие о том, что создавалось оно прямо «на слух», как естественное и вольное выражение заданной темы, только подчеркивают поразительную силу и стройность этого стихотворения — по моему убеждению, одного из самых волшебных творений русской поэзии.

Пользуюсь случаем принести искреннюю благодарность семье В. Я. Анфимова, ознакомившей меня с его архивом.

Р. Дуганов

ЛУННЫЙ СВЕТ

Син, сын сини,
сей сонные сени и силы
на села и сад.
Чураясь дня чаруй
чарой голубого вина меня,
землежителя, точно волна
падающего одной ногой
вслед другой. Мои шаги,
шаги смертного — ряд волн.
Я купаю смертные волосы
мои в голубой влаге твоего
тихого водопада и вдруг восклицаю,
разрушаю чары: площадь,

описанная прямой, соединяющей
солнце и землю, в 317 дней,
равна площади прямоугольника,
одна сторона которого — поперечник
земли, а другая — путь, проходимый
светом в год. И вот в моем
разуме восходишь ты, священное
число 317, среди облаков
певерящих в него. Струна Ia
делает 435 колебаний в секунду.
Удар сердца — 70 раз в минуту,
в 317 раз крупнее.
Петрарка написал 317 сонетов
в честь возлюбленной.
По германскому закону 1914 года
в флоте должно быть 317 судов.
Поход Рождественского (Цусима)
был через 317 лет после
морского похода Медины
Сидонии в 1588 году,
англичане в 1588 году и
японцы в 1905 году.
Германская империя в
1871 году основана через
317×6 после римской империи
в 31 году до Р. Христова.
Женитьба
Пушкина
была через
317 дней после
обручения.

АНГЕЛЫ

1

Хладро гологолой божбы,
Ста юнчиков синих семья,
Ста юнчиков синих потоп.
Потопом нездешней байбы
И синие воздухом лбы
И неба сверкающий скоп
Возникли сынами немья,
И песнями ветренных стоп
Воспели стороду земья.
Тихес исчезающих имя,
Святно пролетевшей виданы,
Владро серебристых сиес.
Но их, исчезающих в дым,
Заснувших крылами своими,
Лелебен лелеет божес,
Он мнит сквозь летучие станы
Гряды пролетевших нагес,
То умчие шумчие маны,
То ветер умолкших любес.

2

Тиебном вечерним полны
Тела исчезающих воль.
А далее — сумрачный тол,
Он страж вероломной волны
На грани ниебной длины,
Нетотного мира престол.
Там море и горе и боль,
И мешенства с смертию дол
— Земля, где господствует моль.
И роя воздушного роины,
Нетучей страны ходуны,
Нетотного берега бойско
И соя идесного воины,
И белого разума соины —
Летит синеглазое войско
Сквозь время великой койны
И бьется упорно и свойско
С той силой, что пала на ны.

3

И ветер суровою вавой
Донесся от моря нетот.
С огласою старой виньбы
Он бьется с ночной зенницавой,
Им славится мервое право.
И пали, не зная мольбы,
Просторцы нетучих летот,
Нетучего моря рабы,
Насельники первых пустот.
Мервонцы, прекрасны и наги,
Лежали крылатой гробницей
Над морем, где плещется мемя,
Лежали суровы и баги
На; вольною верою влаги.
Мольба неподвижной лобницы,
Чтоб звонкое юношей вемя,
Зарницей овивши цевницы,
Воспело ниесное время.

4

Мервонцы! Мервонцы! вы пали!
Лежите семьей на утесах.
Тихес голубое величие.
Почили на веки печали,
Червонцев блеснувшие дали,
Зиес золотистых струйничие,
Деревьев поломанный посох,
Ослады восстанья весничие,

Как снег крылопад на откосах.
Младро голубое полета,
Станица умерших нагес
И буря серебряных крыл,
Омлады умершей волота.
В пустынных зенницах охота
Щитом заслонить сребровающий тыл.
И грустная вера инес,
О чем и кому, я забыл.
Как строга могила можес!

5

Во имя веимого бога
Зарницею жгучею лиц
Неспичие молнии дикой,
Мы веем и плещем болого,
Мечтоги у моря ничтога,
Окутаны славой великой,
— Закон у весничего сиц.
И скрылось лицо молодика,
Где вица вечерних девиц.
Смотрели во сне небесничие
Глазами ночей воложан,
На тихое небо веничие,
Как неба и снега койничие,
Темян озолотой струйничие,
О славе и сладе грезничие
Толпой голубой боложан,
Задумчивой песни песничие
Во имя добра слобожан.

6

Мы мчимся, мы мчимся, тайничие,
Сияют как сон волоса
На призраках белой сорочки.
Далекого мира дайничие,
Незднешнею тайной вейничие,
Молчebные ночери точки,
Синеют небес голоса,
На вице созвездия почки,
То ивы цветут инеса.
Разумен небес неодо
И синего лада убава
И песни небесных малют.
Суровый судьбы гологол,
Крылами сверкнет небо мол,
А синее, синее тучи поют
— Литая, летает летава,
Мластей синеглазый приют,
Блестящая солнца немрава.



Мария Петровых

1908—1979

Мария Петровых — замечательный русский поэт. Глубина и сила чувства, благородство мысли, беспощадная искренность в соединении с изысканной простотой поэтического выражения, точностью «единственного слова» отличают ее стихи. Не случайно ее так высоко ставила Анна Ахматова, так ценят ее современники-поэты.

Мария Сергеевна Петровых была необыкновенно взыскательна, требовательна к себе, и только этим можно объяснить малое число ее прижизненных публикаций.

Сейчас издательство «Советский писатель» готовит к выпуску новую книгу Марии Петровых, в которую войдет лучшее из написанного ею за многие годы. Не сомневаюсь, что выход этой книги будет не только данью памяти М. С. Петровых, но и значительным вкладом в русскую поэзию.

«День поэзии» публикует несколько стихотворений из этой книги.

К а й с ы н К у л и е в

* * *

Год, в разлуке прожитый,
Близится к весне.
Что же ты, ах, что же ты
Не придешь ко мне!

Мне от боли старящей
Тесно и темно,
В злой беде товарища
Покидать грешно.

Приходи, не думая,
Просто приходи.
Что ж тоску угрюмую
Пестовать в груди!

Все обиды кровные
Замела пурга.
Видишь — поле ровное,
Белые снега.

* * *

Я равна для тебя нулю.
Что о том толковать, уж ладно.
Все равно я тебя люблю
Восхищенно и беспощадно,
И слоняюсь, как во хмелю,
По аллее неосвященной,
И твержу, что тебя люблю
Беспощадно и восхищенно.

* * *

Ты что ни скажешь, то солжешь,
Но не твоя вина:
Ты просто в грех не ставишь ложь,
Твоя душа ясна.

И мне ты предлагаешь лгать:
Должна я делать вид,
Что между нами тишь да гладь,
Ни боли, ни обид.

О доброте твоей звонят
Во все колокола...
Нет, ты ни в чем не виноват,
Я клеветчу со зла.

Да разве ты повинен в том,
Что я хочу сберечь
Мученье о пережитом
Блаженстве первых встреч.

Я не права — ты верный друг,
О нет, я не права,
Тебе лишь вспомнить недосуг,
Что я еще жива.

* * *

Молодой поэтессе

О, ветром зыблемая тень —
Не верьте лести.
Покуда вы — лишь дальний день,
Лишь весть о вести.

Вы тщитесь — как бы почудней,
В угоду моде.
Вас нет. Вы нищенки бедней.
Вы — нечто вроде.

Все про себя: — судьба, судьбе,
Судьбы, судьбою...
Нет, вы забудьте о себе,
Чтоб стать собою.

Иначе будет все не впрок
И зря и втуне.
Покуда блеск натужных строк —
Лишь блеск латуни.

Ваш стих — сердец не веселит,
Не жжет, не мучит.
Как серый цвет могильных плит,
Он им наскучит.

Вам надо все перечеркнуть,
Начать сначала.
Отправьтесь в путь, в нелегкий путь,
В путь — от причала.

Николай Заболоцкий

1903—1958

Николай Алексеевич Заболоцкий всегда был склонен к серьезной мысли, к созерцанию и анализу окружающей жизни и людей. Однако всю его натуру пронизывало и особое чувство доброго юмора, желание сместить грани и пропорции обыденной жизни и представить ее то ли с несколько пародийных позиций, то ли с позиций какого-то выдуманного героя, вроде Козьмы Пруткова. В то же время этот условный герой был одной из сторон натуры самого поэта, которому в обыденной жизни очень свойственно было маскировать открытые душеизлияния и прямые изъяснения чувств пронией, шуткой, подсмеиванием. Так и рождались шуточные стихотворения — дружеские послания, стилизованные стихи, басни, даже маленькие пьесы. Естественно, Николай Алексеевич не считал их серьезной поэзией и предназначал только для забавы товарищей или домашнего обихода. Но теперь, когда спустя почти двадцать пять лет после смерти Заболоцкого мы стали пристальней интересоваться его творческим обликом, обнаружилось, что без этих, казалось бы, побочных продуктов его творчества трудно понять и некоторые черты его серьезной поэзии. Иногда поэт как будто бесознательно пробовал, отрабатывал, запасал в шуточных стихах ситуации и образы, которые могли пригодиться и порой использовались в основном творчестве. И наоборот — то, что не находило приложения в серьезной поэзии, порой выливалось в пародийной или гротесковой форме шуточных стихов. Так, например, стихотворение «Счастливец» (сам автор читал его наряду с шуточными стихами) имеет несомненно переклички с такими серьезными стихами, как «Жена» (1948) и «Неудачник» (1953). Только ситуация в шуточном варианте доведена до некоего гиперболического предела, а герой как будто испытывался в его крайних, экстремальных проявлениях.

Несколько иной характер имеют стихотворения начала 30-х годов, написанные Заболоцким в Ленинграде в период его работы в детских журналах «Еж» и «Чиж». Те, кто бывал в те годы в редакции этих журналов, неизменно вспоминают веселую, непринужденную и в то же время творческую атмосферу, царившую в кругу молодых сотрудников «Ежа» и «Чижа». А среди них были Н. Олейников, Д. Хармс, А. Введенский, Е. Шварц, И. Андропиков, Н. Заболоцкий... Одним из развлечений была дружеская шутливая игра в ухаживание за секретарем редакции — Генриеттой Давыдовой Левитиной (Груней). Олейников, Шварц, Заболоцкий разыгрывали страдания безответной любви, ревность, отчаяние и соревновались в сочинении стихотворных экспромтов на эти темы. Таково происхождение цикла «Красота Груни» и примыкающих к нему стихотворений, ориентировочно датированных 1930—1931 годами. Как легко убедиться, прочитав эти шутливые, как будто наивно-серьезные строки, Заболоцкий писал их от имени воображаемого образа, к которому он возвращался, кстати, и в более поздних своих шуточных стихотворениях.

Публикуемые здесь шуточные стихотворения 1930—1931 годов сохранились у Генриетты Давыдовны. В 1957 году в Москве она посетила Николая Алексеевича и передала ему пожелтевший листок бумаги с их карандашной авторской записью. Этот автограф сохранился в одной из книг библиотеки Заболоцкого.

Цикл шуточных басен был написан в 50-х годах и посвящен ближайшему другу поэта, известному литературоведу и, в частности, специалисту по творчеству И. А. Крылова — Николаю Леонидовичу Степанову. Эти стихотворения сохранились в бумагах Н. Л. Степанова и были любезно переданы нам его вдовой Лидией Константиновной Степановой.

КРАСОТА ГРУНИ

Красота Груни

Я, как заведующий приложениями,
замечаю красоту,
но, как знакомый с дамскими внушениями,
себя, конечно, в рамках соблюду.

Минута слабости

Облака летят по небу,
люди все стремятся к хлебу,
но, имея в сердце грусть,
Груня! — я куда стремлюсь?

Безумное решение

Груня, Груня, сколь терзаешь
ты мне сердце, ай-ай-ай...
К черту службу! Улетаешь
завтра ты со мной в Китай!

Раскаianie

в необдуманном решении

Слаб человек! Одна минута —
и жизнь летит — как бы разбитая посуда!

Возвращение к полезной жизни

Конечно! грех и я имею,
Но все же вам скажу, друзья,
что вы живете так, что змею
таким манером жить нельзя.

Развратны вы! В грехах сидите,
мне жалко вас — погибли вы.
Вокруг меня страданья нити —
Лишь я стою, увы, увы!

ОТВРАЩЕНИЕ К БОГЕМЕ

Ходит по двору экзема,
за экземою — коза.
Дети, если вы — богема,
буду драть за волоса.

ПОКУПКА ЖЕНЕ ШУБЫ

Прелестну шубу я купил,
жена моя в наряде;
подумать — сколько скрыто сил
в двухмесячной зарплате!

УЛЕТАНИЕ ОЛЕЙНИКОВА ОТ НАС

Коля! Зри мои ладони —
все они уже в слезах.
Под окном стоящи кони
пар пускают в небесах.
Тройка лютая, уймися,
не скреби ногами снег,
Коля, Коля, оглянися —
сколь печали есть у всех!

ПОЛЬЗА ОТ МОЛИТВЫ

Я желанием горю
с девой повстречаться,
но молитву сотворю —
и на душе прохладца.

НА РАССТОЯНИИ МЕЖДУ МНОЙ И ШВАРЦЕМ

Меж нами, Женя, расстоянье —
ты — соблазнитель юных лиц,
а я их вопли в назидание
собираю для своих художественных страниц.

ИЗ БАСЕН

Пиш машинка и автор

Однажды пишущая подняла машинка
Великий бунт,
Сказавши: — Вот так фунт.
Что я? Безумная? Кретинка?

Писать всяк день по тысячи листов!
Да будь я проклята! Да чтоб мне лопнуть сразу!
Хозяин мой, как видно, бестолков,
Коль выходного не дал мне ни разу.—
На это отвечал хозяин: — Горе мне!
Ты, дура, ничего не понимаешь —
Ты лишь статьи мои перебелишь,
А мне за них влетает по спине.

Невоздержанный едок

Однажды Колю блошка покусала.
— Ахти, проклятая! — сказал он.— Вижу я,
По возрасту ты мне годишься в сыновья,
Однако ж уважать не думаешь нимало.
— Неправда,— блошенька в ответ,—
Тебя я слишком уважаю,
А ежели и обижаю,
То лишь затем, что пищи лучше нет.

Догадливая курица

Прелестна курочка, попавши Коле в щи,
Сказала из горшка ему: — Тащи,
Тащи меня за крылышко, философ,
Затем, что курица питательна для россов.

*Вступительная заметка и публикация
Е. В. и Н. Н. Заблоцкий*

ПАРОДИИ

Александр Иванов

РОДНЯ

(Борис Слуцкий)

Мой дядя двоюродный был бог
по части починивания сапог.
А дедушка, сморщенный, словно трюфель,—
мог по изготовлению дамских туфель.
Не дворяне и не пирожники —
в моей родословной были сапожники
довольно-таки высокого класса.
Обуви ими заделаца масса.
Ее бы хватило обуть СП,
Союз композиторов и т. п.
Забывать свою родню не годится,
и я до сих пор не устал гордиться,
что каждый мой небольшой успех
обсуждал не литературный цех,
а мастера каблуков и подметок,
не считая двоюродных теток.
Они собирались обычно в среду,
чаще к ужину, реже к обеду
и рассуждали весьма отменно.
Все говорили одновременно.
И я с тех пор за собою замечаю:
чуть что насочиняю — к ним спешу.
Не люблю говорить: «пишу».
Предпочитаю сказать — «тачаю».

Алексей Пьянов

ПРИЕХАЛИ...

Мне нравятся простые наши тосты,
Когда девчата прыскают в платок
И человек доверчиво и просто
Мне говорит: «Поехали, браток...»

Олег Дмитриев

Все началось под вечер, как обычно:
Мы с ним зашли в знакомый закуток,
Он, оглядевшись, мне плеснул «Пшеничной»
И подмигнул: «Поехали, браток...»
От этого заезженного тоста
Девчата громко прыснули в платок,
А он, разлив,
Доверчиво и просто
Вновь произнес: «Поехали, браток...»
Мы были с ним почти уже у цели —
Блаженные последние глотки!
Но появился человек в шинели
И произнес: «Приехали, братки!»

Борис Брайнин

БАЛЛАДА О ЛЕВОМ КРАЙНЕМ

(Евгений Евтушенко)

Я рос спортивным человеком,
Я был то стоппером,
то беком,
Когда со Столпером и Беком
Играть случалось
мне в футбол.
С трибун орали:
«Женька, шайбу!»
И, чтоб уважить
эту шайку,
Я становился
возле штанги
И забивал красивый гол.
В футбол играл
я с колыбели,
В Париже, Дели,
Коктебеле.
Сводил болельщиков
с ума.
И парижанки,
коkteбелки
Со мной дружили,
как те белки,
Которым, в сущности,
до феньки
Футбол на станции Зима.
В моих ударах с ходу,
с лёта
От русской песни было
что-то,
И раздвигались ворота,
Судья хватался за штаны,
Когда кричал голкипер
«Челси»:
— Евгений,
Я клянусь вам честью,
Что уважаю ваши песни,
Спросите у моей жены.
Да, были люди в наше время.
Они в добавочное время,
Прочтя мое стихотворенье,
Играли в «стенку» головой.
Плохая им досталась доля.
Но, впрочем, хватит о футболе.
Теперь я знаю —
в вашей воле
Послать меня на угловой.

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ

(Юрий Кузнецов)

В лесу родилась елочка...

Декабрь зловещий подходил
К черте другого дня,
И сын у матери спросил:
— Где ёлка у меня?

— Пойди дорогой на закат
И сердце успокой.
Где ждет тебя твой старший брат
Под гробовой доской.

Где «баю-бай» поет метель
Из стали и свинца,
С корнями выдернешь ты ель
Из черепа отца.

— Иди,— ему сказала мать
И хлеб с вином дала.
— Иди, тебя я буду ждать.—
И тут же умерла.

— Прости, родная сторона,
А я тебя простил. —
Он выпил горького вина
И ногти отрастил.

И в нем священный огонь взалкал,
Ведя его судьбу,
Он днем повозку слез толкал,
А ночью спал в гробу.

И там, где стала ночь светла,
Где филин звал гостей,—
Там ель могильная росла
Одна среди костей.

Как смерть, он к елке подлетел,
Вонзил в нее металл.
И волк от страха околел,
А заяц дуба дал.

Он через тысячу дорог,
Через озера слез
Приполз домой без рук, без ног
И елочку принес.

Она в гирляндах из костей
На праздник к нам пришла...

...И много, много радостей
Детишкам принесла.

Александр Рейжевский

ЧЕТЫРЕ ЭПИГРАММЫ

А. А. СУРКОВ

Был привал на полустанке,
Много времени прошло,
А печурка в той «Землянке»
До сих пор хранит тепло.

С. В. СМИРНОВ

Не падит запасов перца,
Но расчетлив. Мысль остра:
Краткость сделал дамой сердца,
Зная, чья она сестра.

ДРУГУ-ПАРОДИСТУ

Он в любой строке умеет
Откопать мельчайший вздор,
Спародирует позлее,
Сдаст в печать... и пожалеет,
Что бумага — не забор.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Все то, что выпустил он в свет,—
Вовек не перечесть.
В нем, говорят,— чего-то нет...
Но это — все, что е с т ь!

В СБОРНИКЕ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1982» УЧАСТВУЮТ:

Авсарагов Б.— стр. 126
Аким Я.— 106
Алдан-Семенов А.— 83
Алиханов С.— 164
Ардов В.— 77
Аришина Н.— 145
Астафьев В.— 33
Ахмадулина Б.— 42

Басва А.— 97
Балашов Э.— 127
Балин А.— 64
Бек Т.— 141
Белаш Ю.— 90
Беличенко Ю.— 103
Берестов В.— 108
Бехтерев П.— 154
Битов А.— 130
Благинина Е.— 137
Блажеевский Е.— 159
Блаженных В.— 134
Бобров А.— 129
Боков В.— 28
Бояринов В.— 144
Брагин А.— 107
Брайнин Б.— 171
Британишский В.— 104
Бутенко В.— 93
Бялосинская Н.— 96

Валиков Г.— 88
Ваншенкин К.— 18

Васильева Л.— 20, 71
Вегин П.— 133
Ведякин В.— 157
Велихова З.— 147
Вершинский А.— 161
Винокуров Е.— 25
Винонеи Р.— 76
Вознесенский А.— 39
Волгин И.— 130

Гаврилин В.— 156
Глазков Н.— 58
Гедымин А.— 160
Говоров А.— 123
Голицын Ю.— 159
Головков А.— 92
Горбовский Г.— 41
Городницкий А.— 103
Горская П.— 136
Горюшкин А.— 135
Грибачев Н.— 7, 23
Григорьева Л.— 144
Грозовский М.— 155
Грудев И.— 114

Дагуров В.— 134
Дементьев А.— 68
Дмитриев О.— 70
Дуганов Р.— 164
Дымова Л.— 148

Евтушенко Е.— 8, 58
Елагин В.— 98

Еремеев Г.— 90
Ермолаева О.— 143

Жигулин А.— 55
Жилин В.— 110
Жирмунская Т.— 125
Журавлев В.— 92

Заболоцкий П.— 169
Завальнюк Л.— 70
Заяц А.— 125
Зиновьев Н.— 91
Злотников Н.— 122

Иванов А.— 171

Казакова Р.— 47
Казанский В.— 82
Казанцев В.— 73
Казин В.— 13
Калашников Г.— 161
Канькин А.— 134
Карпеко В.— 45
Карпец В.— 163
Касмынин Г.— 144
Кафанов А.— 66
Кашежева И.— 121
Кедрин Д.— 139
Кедрина С.— 139
Кислов В.— 142
Киуру И.— 123
Кобзев И.— 63
Коваль-Волков А.— 91
Ковальджи К.— 114
Ковда В.— 135
Козловский Я.— 118
Колмогоров Н.— 163
Кондакова Н.— 143
Кондратьев В.— 93
Копылова Л.— 125
Корин Г.— 63
Коротич В.— 6
Костров В.— 13, 68
Костюрин Д.— 136
Кочетков В.— 17
Кошель П.— 141
Красников Г.— 161
Крыжановский С.— 90
Кудимова М.— 115
Кузнецов Ю.— 55
Кузнецова С.— 38
Кузовлева Т.— 122
Кулиев К.— 168
Куняев С.— 49
Курганцев М.— 125
Кучкина О.— 124
Кушнер А.— 54

Лавлинский Л.— 86
Лазарев В.— 14, 136
Лапин В.— 161
Лапшин И.— 93
Латынин Л.— 123
Лебедев Е.— 105
Левин Г.— 88
Левыкин В.— 162
Леонович В.— 56
Лисянский М.— 61
Луговская М.— 135
Луговской В.— 98
Львов М.— 3, 149

Максимов А.— 163
Мальми В.— 157
Марков А.— 95
Мартынов Л.— 29
Марцинквичюс Ю.— 6
Матвеева Н.— 56
Межиров А.— 46, 130
Митасов Е.— 147
Мнацаканян С.— 146
Могутин Ю.— 148
Молчанов И.— 82
Моран Р.— 107
Мориц Ю.— 73
Моценко В.— 120
Мулдагалиев Д.— 5

Наровчатова С.— 19
Николаева О.— 162
Николаевская Е.— 137
Новосельнова Н.— 67

Озеров Л.— 67
Озерова И.— 133
Окуджава Б.— 109
Олзоева Л.— 145
Осинин В.— 95
Ошанин Л.— 62

Пальчиков В.— 96
Панин Л.— 108
Панченко Н.— 24
Панченко П.— 5
Паркаев Ю.— 102
Перельмутер В.— 158
Петренко С.— 121
Петровых М.— 168
Петрунин Ю.— 93
Поделков С.— 30
Поздняев М.— 157
Поликарпов С.— 52
Полторацкий В.— 57
Поляков Ю.— 153
Поперечный А.— 101
Поройков Ю.— 121

Потехина И.— 146
Преловский А.— 87
Примеров Б.— 75
Проталин В.— 124
Пьянов А.— 171

Реброва Т.— 142
Резник В.— 147
Рейжевский А.— 172
Рейн Е.— 102
Рождественский Р.— 111
Рудерман М.— 82
Русаков Г.— 101
Ряшенцев Ю.— 127

Саакалянц А.— 138
Савельев В.— 107
Салимон В.— 155
Самойлов Д.— 24
Самченко Е.— 143
Сафисва Г.— 5
Селезнев И.— 161
Семакин В.— 116
Сидоров В.— 52
Синельников М.— 142
Сиротин Б.— 94
Скуратов М.— 82
Слуцкий Б.— 16
Смертина Т.— 146
Смеляков Я.— 33
Смирнов Л.— 106
Смирнов С.— 12
Соколов Вл.— 65
Соложенкина С.— 113
Солоухин Вл.— 15
Сомова С.— 63
Старшипов Н.— 37
Стрешнева Т.— 119
Субботин В.— 43
Сухарев Д.— 55
Сырыщева Т.— 108

Тажибаев А.— 21
Тараканова Л.— 145

Темин Л.— 126
Терещенко Д.— 120
Токомбаев А.— 6
Трофименко В.— 97
Тряпкин Н.— 31
Туркин В.— 27
Тычина П.— 44

Урусов А.— 154
Устинов В.— 85

Фатьянов А.— 65
Федорова Л.— 96
Федотов В.— 94
Ферапонтов Н.— 156
Флеров Н.— 120
Флоров Г.— 118

Хлебников В.— 164
Храмов Е.— 50

Цветаева М.— 138
Цетлин М.— 83
Цыбин В.— 48

Челноков А.— 96
Чернов А.— 128, 148
Чуев Ф.— 118

Шевелева Е.— 62
Шестинский О.— 92
Шенгели Г.— 130
Шерешевский Л.— 94
Шкляревский И.— 83
Штурман М.— 117
Шурмак Г.— 134

Щуплов А.— 145

Эскович Н.— 113
Юдахин А.— 136

ИБ № 3143

Сдано в набор 14.04.82. Подписано к печати 12.08.82. А09165. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 22,68. Тираж 100 000 экз. Заказ № 137. Цена 2 р. 20 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, М-54, Валовая, 28

Отпечатано со стереотипов в Московской типографии № 13 ПО «Периодика» ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 107005, Москва, Б-5, Денясовский пер., дом 30. Зак. 439.



2р. 20к.

СН